

КОШЕЦКАЯ БИБЛИОТЕКА

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ







Данте

Фрагмент фрески работы Джотто

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ

Данте Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт, мыслитель и ученый, гениальный провозвестник эпохи Возрождения. Вершиной его творчества стала поэма «Комедия», названная потомками «Божественной», в которой изображается странствие поэта по загробному миру. Руководимый великим Вергилием, символизирующим Земной разум, Данте, воплощаящий собой греховное человечество, спускается в подземную воронку Ада (мир осуждения), затем поднимается на гору Чистилища (мир искупления) и наконец, в сопровождении Беатриче, символизирующей Божественный разум, возносится в Рай (мир блаженства и познания абсолютной истины).

Перевод с итальянского
М. Лозинского

В оформлении использованы иллюстрации
Боттичелли

Д $\frac{4703010100-7}{M152(03)-94}$ 94

ISBN 5-7625-0380-1

© Издательство «Пермская книга»,
1994

АД

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несусь!

Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но, благо в нем обретши навсегда,
Скажу про всё, что видел в этой чаще.

Не помню сам, как я вошел туда,
Настолько сон меня опутал ложью,
Когда я сбился с верного следа.

Но к холмному приблизившись подножью,
Которым замыкался этот дол,
Мне сжавший сердце ужасом и дрожью,

Я увидал, едва глаза возвел,
Что свет планеты, всюду путеводной,
Уже на плечи горные сошел.

Тогда вздохнула более свободной
И долгий страх превозмогла душа,
Измученная ночью безысходной.

И словно тот, кто, тяжело дыша,
На берег выйдя из пучины пенной,
Глядит назад, где волны бьют, страша,

Так и мой дух, бегущий и смятенный,
Вспять обернулся, озирая путь,
Всех уводящий к смерти предреченной.

Когда я телу дал передохнуть,
Я вверх пошел, и мне была опора
В стопе, давившей на земную грудь.

И вот, внизу крутого косогора,
Проворная и вьющаяся рысь,
Вся в ярких пятнах пестрого узора.

Она, кружа, мне преграждала высь,
И я не раз на крутизне опасной
Возвратным следом помышлял спастись.

Был ранний час, и солнце в тверди ясной
Сопровождали те же звезды гновь,
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный

Божественная двинула Любовь.
Доверясь часу и поре счастливой,
Уже не так сжималась в сердце кровь

При виде зверя с шерстью прихотливой;
Но, ужасом опять его стесня,
Навстречу вышел лев с подъятой гривой.

Он наступал как будто на меня,
От голода рыча осwirепело
И самый воздух страхом цепеня.

И с ним волчица, чье худое тело,
Казалось, все алчбы в себе несет;
Немало душ из-за нее скорбело.

Меня сковал такой тяжелый гнет
Перед ее стремящим ужас взглядом,
Что я утратил чаянье высот.

И как скупец, копивший клад за кладом,
Когда приблизится пора утрат,
Скорбит и плачет по былым отрадам,

Так был и я смятением объят,
За шагом шаг волчицей неумемой
Туда теснимый, где лучи молчат ¹.

Пока к долине я свергался темной,
Какой-то муж явился предо мной,
От долгого безмолвья словно томный.

Его узрев среди пустыни той:
«Спаси,— воззвал я голосом унылым,—
Будь призрак ты, будь человек живой!»

Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвою мой род,
И Мантуя была их краем милым.

Рожден *sub Julio* ², хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью,
Когда еще кумиры чтит народ.

Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью.

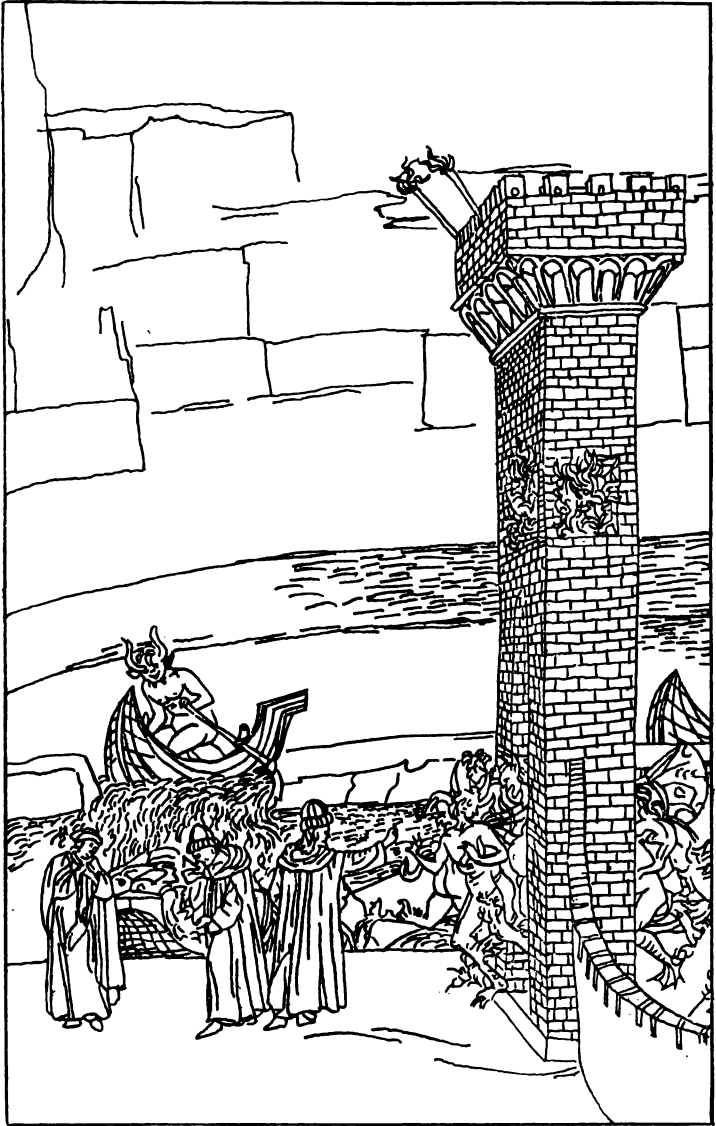
Но что же к муке ты спешишь назад?
Что не восходишь к выси озаренной,
Началу и причине всех отрад?»

«Так ты Вергилий ³, ты родник бездонный,
Откуда песни миру потекли? —
Ответил я, склоняя лик смущенный.—

¹ Три зверя, препятствующие восхождению на холм спасения, символизируют: *рысь* — сладострастие, *лев* — гордость, *волчица* — корыстолюбие.

² При Юлии Цезаре (*лат.*).

³ *Вергилий* (70—19 гг. до н. э.) — знаменитый рим. поэт, автор «Энеиды»; в «Божественной комедии» Вергилий, ведущий поэта через Ад и Чистилище к Земному Раю,— символ разума.





О честь и светоч всех певцов земли,
Уважь любовь и труд неутомимый,
Что в свиток твой мне вникнуть помогли!

Ты мой учитель, мой пример любимый;
Лишь ты один в наследье мне вручил
Прекрасный слог, везде перевозносимый.

Смотри, как этот зверь меня стеснил!
О вещий муж, приди мне на подмогу,
Я трепещу до сокровенных жил!»

«Ты должен выбрать новую дорогу,—
Он отвечал мне, увидав мой страх,—
И к дикому не возвращаться логу;

Волчица, от которой ты в слезах,
Всех восходящих гонит, утесняя,
И убивает на своих путях;

Она такая лютая и злая,
Что ненасытно будет голодна,
Вслед за едой еще сильней алкая.

Со всяческою тварью случена,
Она премногих соблазнит, но славный
Нагрянет Пес, и кончится она.

Не прах земной и не металл двусплавный,
А честь, любовь и мудрость он вкусит,
Меж войлоком и войлоком державный.

Италии он будет верный щит,
Той, для которой умерла Камилла,
И Эвриал, и Турн, и Нис¹ убит.

Свой бег волчица где бы ни стремилась,
Ее, нагнав, он заточит в Аду,
Откуда зависть хищницу взманила.

И я тебе скажу в свою чреду:
Иди за мной, и в вечные селенья
Из этих мест тебя я приведу,

¹ Герон «Энеиды».

И ты услышишь вопли иступленья
И древних духов, бедствующих там,
О новой смерти тщетные моленья;

Потом увидишь тех, кто чужд скорбям
Среди огня, в надежде приобщиться
Когда-нибудь к блаженным племенам.

Но если выше ты захочешь взвиться,
Тебя душа достойнейшая ждет:
С ней ты пойдешь, а мы должны проститься;

Царь горних высей, возбраня вход
В свой город мне, врагу его устава,
Тех не впускает, кто со мной идет.

Он всюду царь, но там его держава;
Там град его, и там его престол;
Блажен, кому открыта эта слава!»

«О мой поэт,— ему я речь повел,—
Молю Творцом, чьей правды ты не ведал:
Чтоб я от зла и гибели ушел,

Яви мне путь, о коем ты поведал,
Дай врат Петровых мне увидеть свет
И тех, кто душу вечной муке предал».

Он двинулся, и я ему вослед.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

День уходил, и неба воздух темный
Земные твари уводил ко сну
От их трудов; лишь я один, бездомный,

Приготовлялся выдержать войну
И с тягостным путем, и с состраданьем,
Которую неложно вспомяну.

О Музы, к вам я обращаюсь с воззваньем!
О благородный разум, гений свой
Запечатлей моим повествованьем!

Я начал так: «Поэт, вожатый мой,
Достаточно ли мощный я свершитель,
Чтобы меня на подвиг звать такой?»

Ты говоришь, что Сильвиев родитель,
Еще плотских не отрешась оков,
Сходил живым в бессмертную обитель.

Но если поборатель всех грехов
К нему был благ, то, рассудив о славе
Его судеб, и кто он, и каков,

Его почесть достойным всякий вправе:
Он, избран в небе света и добра,
Стал предком Риму и его державе,

А тот и та, когда пришла пора,
Святой престол воздвигли в мире этом
Преемнику верховного Петра.

Он на своем пути, тобой воспетом,
Был вдохновлен свершить победный труд,
И папский посох ныне правит светом.

Там, вслед за ним, Избранный был Сосуд,
Дабы другие укрепились в вере,
Которую к спасению идут.

А я? На чем я оснуюсь примере?
Я не апостол Павел, не Эней,
Я не достоин ни в малейшей мере.

И если я сойду в страну теней,
Боюсь, безумен буду я, не боле.
Ты мудр; ты видишь это всё ясней».

И словно тот, кто, чужд недавней воле
И, передумав в тайной глубине,
Бросает то, что замышлял дотоле,

Таков был я на темной крутизне,
И мысль, меня прельстившую сначала,
Я, поразмыслив, истребил во мне.

«Когда правдиво речь твоя звучала,
Ты дал смутиться духу своему,—
Возвышенная тень мне отвечала,—

Нельзя, чтоб страх повелевал уму;
Иначе мы отходим от свершений,
Как зверь, когда мерещится ему.

Чтоб разрешить тебя от опасений,
Скажу тебе, как я узнал о том,
Что ты моих достоин сожалений.

Из сонма тех, кто меж добром и злом,
Я женщиной был призван столь прекрасной,
Что обязался ей служить во всем.

Был взор ее звезде подобен ясной;
Ее рассказ струился не спеша,
Как ангельские речи, сладкогласный:

«О, мантуанца чистая душа,
Чья слава целый мир объемлет кругом
И не исчезнет, вечно в нем дыша,

Мой друг, который счастьем не был другом,
В пустыне горной верный путь обрести
Отчаялся и оттеснен испугом.

Такую в небе слышала я весть;
Боюсь, не поздно ль я помочь готова,
И бедствия он мог не перенести.

Иди к нему и, красотой слова
И всем, чем только можно, пособя,
Спаси его, и я утешусь снова.

Я Беатриче, та, кто шлет тебя;
Меня сюда из милого мне края
Свела любовь; я говорю любя.

Тебя не раз, хваля и величая,
Пред Господом мой голос назовет».
Я начал так, умолкшей отвечая:

«Единственная ты, кем смертный род
Возвышенной, чем всякое творенье,
Вмещаемое в малый небосвод,

Тебе служить — такое утешенье,
Что я, свершив, заслуги не приму;
Мне нужно лишь узнать твое веленье.

Но как без страха сходишь ты во тьму
Земного недра, алча вновь подняться
К высокому простору твоему?»

«Когда ты хочешь в точности дознаться,
Тебе скажу я, — был ее ответ, —
Зачем сюда не страшно мне спускаться.

Бояться должно лишь того, в чем вред
Для ближнего таится сокровенный;
Иного, что страшило бы, и нет.

Меня такую создал царь вселенной,
Что вашей мукой я не смущена
И в это пламя нисхожу нетленной.

Есть в небе благодатная жена;
Скорбя о том, кто страдает так сурово,
Судью склонила к милости она.

Потом к Лючии обратила слово
И молвила: — Твой верный — в путях зла,
Пошли ему пособника благого. —

Лючия, враг жестоких, подошла
Ко мне, сидевшей с древнею Рахилью,
Сказать: — Господня чистая хвала,

О Беатриче, помоги усилью
Того, который из любви к тебе
Возвысился над повседневной былью.

Или не внемлешь ты его мольбе?
Не видишь, как поток, грознее моря,
Уносит изнемогшего в борьбе? —

Никто поспешней не бежал от горя
И не стремился к радости быстрей,
Чем я, такому слову сердцем вторя,

Сошла сюда с блаженных ступеней,
Твоей вверяясь речи достохвальной,
Дарящей честь тебе и внявшим ей».

Так молвила, и взор ее печальный,
Вверх обратясь, сквозь слезы мне светил
И торопил меня к дороге дальней.

Покорный ей, к тебе я поспешил;
От зверя спас тебя, когда к вершине
Короткий путь тебе он преградил.

Так что ж? Зачем, зачем ты медлишь ныне?
Зачем постыдной робостью смущен?
Зачем не светел смелою гордыней,

Когда у трех благословенных жен
Ты в небесах обрел слова защиты
И дивный путь тебе предвозвещен?»

Как дольный цвет, сомкнутый и побитый
Ночным морозом,— чуть блеснет заря,
Возносится на стебле, весь раскрытый,

Так я воспрянул, мужеством горя;
Решимостью был в сердце страх раздавлен,
И я ответил, смело говоря:

«О, милостива та, кем я избавлен!
И ты сколь благ, не пожелавший ждать,
Ее правдивой повестью наставлен!

Я так был рад словам твоим внимать
И так стремлюсь продолжить путь начатый,
Что прежней воли полон я опять.

Иди, одним желаньем мы объаты:
Ты мой учитель, вождь и господин!»
Так молвил я; и двинулся вожатый,

И я за ним среди глухих стремнин.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Я УВОЖУ К ОТВЕРЖЕННЫМ СЕЛЕНЬЯМ,
Я УВОЖУ СКВОЗЬ ВЕКОВЕЧНЫЙ СТОН,
Я УВОЖУ К ПОГИБШИМ ПОКОЛЕНЬЯМ.

БЫЛ ПРАВДОЮ МОЙ ЗОДЧИЙ ВДОХНОВЛЕН:
Я ВЫСШЕЙ СИЛОЙ, ПОЛНОТОЙ ВСЕЗНАНЬЯ
И ПЕРВОЮ ЛЮБОВЬЮ СОТВОРЕН.

ДРЕВНЕЙ МЕНЯ ЛИШЬ ВЕЧНЫЕ СОЗДАНИЯ,
И С ВЕЧНОСТЬЮ ПРЕБУДУ НАРАВНЕ,
ВХОДЯЩИЕ, ОСТАВЬТЕ УПОВАНИЯ¹.

Я, прочитав над входом, в вышине,
Такие знаки сумрачного цвета,
Сказал: «Учитель, смысл их страшен мне».

Он, прозорливый, отвечал на это:
«Здесь нужно, чтоб душа была тверда;
Здесь страх не должен подавать совета.

Я обещал, что мы придем туда,
Где ты увидишь, как томятся тени,
Свет разума утратив навсегда».

Дав руку мне, чтоб я не знал сомнений,
И обернув ко мне спокойный лик,
Он ввел меня в таинственные сени.

Там вздохи, плач и иступленный крик
Во тьме беззвездной были так велики,
Что поначалу я в слезах поник.

Обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и жалобы, и вскрики

Сливались в гул, без времени, в веках,
Кружащийся во мгле неозаренной,
Как бурным вихрем возмущенный прах.

¹ Надпись на вратах Ада.

И я, с главою, ужасом стесненной:
«Чей это крик? — едва спросить посмел.—
Какой толпы, страданьем побежденной?»

И вождь в ответ: «То горестный удел
Тех жалких душ, что прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел.

И с ними ангелов дурная стая,
Что, не восстав, была и не верна
Всевышнему, средину соблюдая.

Их свергло небо, не терпя пятна;
И пропасть Ада их не принимает,
Иначе возгордилась бы вина».

И я: «Учитель, что их так терзает
И понуждает к жалобам таким?»
А он: «Ответ недолгий подобает.

И смертный час для них недостижим,
И эта жизнь настолько нестерпима,
Что всё другое было б легче им.

Их память на земле невоскресима;
От них и суд, и милость отошли.
Они не стоят слов: взгляни — и мимо!»

И я, взглянув, увидел стяг вдали,
Бежавший кругом, словно злая сила
Гнала его в крутящейся пыли;

А вслед за ним столь длинная спешила
Чреда людей, что верилось с трудом,
Ужели смерть столь многих истребила.

Признав иных, я вслед за тем в одном
Узнал того, кто от великой доли
Отрекся в малодушии своем.

И понял я, что здесь вопят от боли
Ничтожные, которых не возьмут
Ни Бог, ни супостаты Божьей воли.

Вовек не живший, этот жалкий люд
Бежал нагим, кусаемый слепнями
И осами, роившимися тут.

Кровь, между слез, с их лиц текла струями,
И мерзостные скопища червей
Ее глотали тут же под ногами.

Взглянув подальше, я толпу людей
Увидел у широкого потока.
«Учитель,— я сказал,— тебе ясней,

Кто эти там и власть какого рока
Их словно гонит и теснит к волнам,
Как может показаться издавека».

И он ответил: «Ты увидишь сам,
Когда мы шаг приблизим к Ахерону¹
И подойдем к печальным берегам».

Смущенный взор склонив к земному лону,
Боясь докучным быть, я шел вперед,
Безмолвствуя, к береговому склону.

И вот в ладье навстречу нам плывет
Старик, поросший древней сединою,
Крича: «О, горе вам, проклятый род!

Забудьте небо, встретившись со мною!
В моей ладье готовьтесь переплыть
К извечной тьме, и холоду, и зною.

А ты уйди, тебе нельзя тут быть,
Живой душе, средь мертвых!» И добавил,
Чтобы меня от прочих отстранить:

«Ты не туда свои шаги направил:
Челнок полегче должен ты найти,
Чтобы тебя он к пристани доставил».

¹ *Ахерон* (греч. река скорби) опоясывает первый круг Ада; затем, стекая вниз, он становится болотом *Стикса* (ненавистный), в котором казнятся гневливые, еще ниже — *Флегетоном* (жгучий) — рекой кипящей крови, куда погружены насильники; потом, в виде кровавого ручья, пересекает лес самоубийц и шумным водопадом свергается вниз, превращаясь в центре земли в ледяное озеро *Коцит* (плач).

А вождь ему: «Харон¹, гнев укроти.
Того хотят — там, где исполнить властны
То, что хотят. И речи прекрати».

Недвижен стал шерстистый лик ужасный
У лодочника сумрачной реки,
Но вокруг очей змеился пламень красный.

Нагие души, слабы и легки,
Вняв приговор, не знающий изъятья,
Стуча зубами, бледны от тоски,

Выкрикивали Господу проклятья,
Хулили род людской, и день, и час,
И край, и семя своего зачатья.

Потом, рыдая, двинулись зараз
К реке, чьи волны, в муках безутешных,
Увидят все, в ком Божий страх угас.

А бес Харон сзывает стаю грешных,
Вращая взор, как уголья в золе,
И гонит их и бьет веслом неспешных.

Как листья сыплются в осенней мгле,
За строем строй, и ясень оголенный
Свои одежды видит на земле,—

Так сев Адама, на беду рожденный,
Кидался вниз, один, за ним другой,
Подобно птице, в сети приманенной.

И вот плывут над темной глубиной;
Но не успели кончить переправы,
Как новый сонм собрался над рекой.

«Мой сын,— сказал учитель величавый,—
Все те, кто умер, Бога прогневив,
Спешат сюда, все страны и державы;

И минуть реку всякий тороплив,
Так утесненный правосудьем Бога,
Что самый страх преображен в призыв.

¹ Харон — в ант. миф. перевозчик душ через реки преисподней; Данте превращает его в беса.

Для добрых душ другая есть дорога;
И ты поймешь, что разумел Харон,
Когда с тобою говорил так строго».

Чуть он умолк, простор со всех сторон
Сотрясся так, что, в страхе вспоминая,
Я и поныне потом орошен.

Дохнула ветром глубина земная,
Пустыня скорби вспыхнула кругом,
Багровым блеском чувства ослепляя;

И я упал, как тот, кто схвачен сном.

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Ворвался в глубь моей дремоты сонной
Тяжелый гул, и я очнулся вдруг,
Как человек, насильно пробужденный.

Я отдохнувший взгляд обвел вокруг,
Встав на ноги и пристально взирая,
Чтоб осмотреться в этом царстве мук.

Мы были возле пропасти ¹, у края,
И страшный срыв гудел у наших ног,
Бесчисленные крики извергая.

Он был так темен, смутен и глубок,
Что я над ним склонился по-пустому
И ничего в нем различить не мог.

«Теперь мы к миру спустимся слепому,—
Так начал, смертно побледнев, поэт.—
Мне первому идти, тебе — второму».

И я сказал, заметив этот цвет:
«Как я пойду, когда вождем и другом
Владеет страх, и мне опоры нет?»

¹ Данте изображает Ад как подземную пропасть, которая, сужаясь, достигает центра земли, ее склоны опоясаны концентрическими кругами — кругами Ада.

«Печаль о тех, кто скован ближним кругом,—
Он отвечал,— мне на лицо легла,
И состраданье ты почел испугом.

Пора идти, дорога не мала».
Так он сошел, и я за ним спустился,
Вниз, в первый круг, идущий вокруг жерла.

Сквозь тьму не плач до слуха доносился,
А только вздох взлетал со всех сторон
И в вековечном воздухе струился.

Он был безбольной скорбью порожден,
Которою казались объята
Толпы младенцев, и мужей, и жен.

«Что ж ты не спросишь,— молвил мой вожатый,—
Какие духи здесь нашли приют?
Знай, прежде чем продолжить путь начатый,

Что эти не грешили; не спасут
Одни заслуги, если нет крещения,
Которым к вере истинной идут;

Кто жил до христианского ученья,
Тот Бога чтил не так, как мы должны.
Таков и я. За эти упущенья,

Не за иное, мы осуждены,
И здесь, по приговору высшей воли,
Мы жаждем и надежды лишены».

Стеснилась грудь моя от тяжелой боли
При вести, сколь достойные мужи
Вкушают в Лимбе горечь этой доли.

«Учитель мой, мой господин, скажи,—
Спросил я, алча веры несомненной,
Которая превыше всякой лжи,—

Взошел ли кто отсюда в свет блаженный,
Своей иль чьей-то правдой искуплен?»
Поняв значенье речи сокровенной,

«Я был здесь внове,— мне ответил он,—
Когда, при мне, сюда сошел Властитель,
Хоругвью победы осенен.

Им изведен был первый прародитель;
И Авель, чистый сын его, и Ной,
И Моисей, уставщик и служитель;

И царь Давид, и Авраам седой;
Израиль, и отец его, и дети;
Рахиль, великой взятая ценой;

И много тех, кто ныне в горнем свете.
Других спасенных не было до них,
И первыми блаженны стали эти».

Он говорил, но шаг наш не затих,
И мы всё время шли великой чашей,
Я разумею — чашей душ людских.

И в области, невдале отстоящей
От места сна, предстал моим глазам
Огонь, под полушарьем тьмы горящий.

Хоть этот свет и не был близок к нам,
Я видеть мог, что некий многочестный
И высший сонм уединился там.

«Искусств и знаний образец всеместный,
Скажи, кто эти, не в пример другим
Почтённые среди толпы окрестной?»

И он ответил: «Именем своим
Они гремят земле, и слава эта
Угодна небу, благостному к ним».

«Почтите высочайшего поэта! —
Раздался в это время чей-то зов.—
Вот тень его подходит к месту света».

И я увидел после этих слов,
Что четверо к нам держат шаг державный;
Их облик был ни весел, ни суров.

«Взгляни,— промолвил мой учитель славный.—
С мечом в руке, величьем осиян,
Трем остальным предшествует, как главный,

Гомер, превысший из певцов всех стран;
Второй — Гораций, бичевавший нравы;
Овидий — третий, и за ним — Лукан¹.

Нас связывает титул величавый,
Здесь прозвучавший, чуть я подошел;
Почтив его, они, конечно, правы».

Так я узрел славнейшую из школ,
Чьи песнопенья вознеслись над светом
И реют над другими, как орел.

Мой вождь их встретил, и ко мне с приветом
Семья певцов приблизилась сама;
Учитель улыбнулся мне при этом.

И эта честь умножилась весьма,
Когда я приобщен был к их собору
И стал шестым среди столького ума.

Мы шли к лучам, предавшись разговору,
Который лишний здесь и в этот миг,
Насколько там он к месту был и в пору.

Высокий замок предо мной возник,
Семь раз обвитый стройными стенами;
Кругом бежал приветливый родник.

Мы, как земель, прошли его волнами;
Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела;
Зеленый луг открылся перед нами.

Там были люди с важностью чела,
С неторопливым и спокойным взглядом;
Их речь звучна и медленна была.

¹ Среди величайших поэтов древности Данте выделяет четырех: грека Гомера, автора «Илиады» и «Одиссеи» и римлян — Горация (65—8 гг. до н. э.), автора сатир и од, Овидия (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.), автора «Метаморфоз», и Лукана (39—65 гг. н. э.), автора «Фарсалии».

Мы поднялись на холм, который рядом,
В открытом месте, светел, величав,
Господствовал над этим свежим садом.

На зеленеющей финифти трав
Предстали взорам доблестные тени,
И я ликую сердцем, их видав.

Я зрел Электру в сонме поколений,
Меж коих были Гектор, и Эней,
И хищноокий Цезарь, друг сражений.

Пентесилея и Камилла с ней
Сидели возле, и с отцом — Лавина;
Брут, первый консул, был в кругу теней;

Дочь Цезаря, супруга Коллатина,
И Гракхов мать, и та, чей муж Катон;
Поодаль я заметил Саладина.

Потом, взглянув на невысокий склон,
Я увидал: учитель тех, кто знает,
Семьей мудролюбивой окружен.

К нему Сократ всех ближе восседает
И с ним Платон; весь сонм всеведца чтит;
Здесь тот, кто мир случайным полагает,

Философ знаменитый Демокрит;
Здесь Диоген, Фалес с Анаксагором,
Зенон, и Эмпедокл, и Гераклит;

Диоскорид, прославленный разбором
Целебных качеств; Сенека, Орфей,
Лин, Туллий; дальше представляли взорам

Там — геометр Эвклид, там — Птолемей,
Там — Гиппократ, Гален и Авиценна,
Аверроис, толковник новых дней.

Я всех назвать не в силах поименно¹;
Мне нужно быстро молвить обо всем,
И часто речь моя несовершенна.

¹ Данте перечисляет легендарных предков рим. славы, а также величайших ученых, философов, поэтов разных времен и народов.

Синклит шести распался, мы вдвоем;
Из тихой сени в воздух потрясенный
Уже иным мы движемся путем,

И я — во тьме, ничем не озаренной.

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

Так я сошел, покинув круг начальный,
Вниз во второй; он менее, чем тот,
Но бóльших мук в нем слышен стон печальный.

Здесь ждет Минос¹, оскалив страшный рот;
Допрос и суд свершает у порога
И взмахами хвоста на муку шлет.

Едва душа, отпавшая от Бога,
Пред ним предстанет с повестью своей,
Он, согрешенья различая строго,

Обитель Ада назначает ей,
Хвост обвивая столько раз вокруг тела,
На сколько ей спуститься ступеней.

Всегда толпа у грозного предела,
Подходят души чередой на суд:
Промолвила, вяла и вглубь слетела.

«О ты, пришедший в бедственный приют,—
Вскричал Минос, меня окинув взглядом
И прерывая свой жестокий труд,—

Зачем ты здесь, и кто с тобою рядом?
Не обольщайся, что легко войти!»
И вождь в ответ: «Тому, кто сходит Адом,

Не преграждай сужденного пути.
Того хотят — там, где исполнить властны
То, что хотят. И речи прекрати».

¹ *Минос* — в ант. миф. справедливый царь, ставший после смерти судьей загробного мира; здесь это бес, назначающий наказание грешникам.

И вот я начал различать неясный
И дальний стон; вот я пришел туда,
Где плач в меня ударил многогласный.

Я там, где свет немотствует всегда
И словно воеет глубина морская,
Когда двух вихрей злобствует вражда.

То адский ветер, отдыха не зная,
Мчит сонмы душ среди окрестной мглы
И мучит их, крутя и истязая.

Когда они стремятся вдоль скалы,
Взлетают крики, жалобы и пени,
На Господа ужасные хулы.

И я узнал, что это круг мучений
Для тех, кого земная плоть звала,
Кто предал разум власти вожделений.

И как скворцов уносят их крыла,
В дни холода, густым и длинным строем,
Так эта буря кружит духов зла

Туда, сюда, вниз, вверх, огромным роем;
Им нет надежды на смягченье мук
Или на миг, овеянный покоем.

Как журавлиный клин летит на юг
С унылой песнью в высоте надгорной,
Так предо мной, стеная, несся круг

Теней, гонимых вьюгой необорной,
И я сказал: «Учитель, кто они,
Которых так терзает воздух черный?»

Он отвечал: «Вот первая, взгляни:
Ее державе многие языки
В минувшие покорствовали дни.

Она вдалась в такой разврат великий,
Что вольность всем была разрешена,
Дабы народ не осуждал владыки.

То Нинова венчанная жена,
Семирамида, древняя царица;
Ее земля Султану отдана.

Вот нежной страсти горестная жрица,
Которой прах Сихея оскорблен;
Вот Клеопатра, грешная блудница.

А там Елена, тягостных времен
Виновница; Ахилл, гроза сражений,
Который был любовью побежден;

Парис, Тристан». Бесчисленные тени
Он назвал мне и указал рукой,
Погубленные жаждой наслаждений.

Внял имена прославленных молвой
Воителей и жен из уст поэта,
Я смутен стал, и дух затмился мой.

Я начал так: «Я бы хотел ответа
От этих двух¹, которых вместе вьет
И так легко уносит буря эта».

И мне мой вождь: «Пусть ветер их пригнет
Поближе к нам; и пусть любовью молит
Их оклик твой; они прервут полет».

Увидев, что их ветер к нам неволит,
«О души скорби! — я воззвал. — Сюда!
И отзовитесь, если Тот позволит!»

Как голуби на сладкий зов гнезда,
Поддержанные волею несущей,
Раскинув крылья, мчатся без труда,

Так и они, паря во мгле гнетущей,
Покинули Дидоны скорбный рой
На возглас мой, приветливо зовущий.

¹ Речь идет о *Франческа* и *Паоло*: юная Франческа, выданная замуж за безобразного и хромого Джанчотто Малатеста, стала возлюбленной его младшего брата Паоло, за что муж убил обоих.

«О ласковый и благостный живой,
Ты, посетивший в тьме неизреченной
Нас, обагривших кровью мир земной;

Когда бы нам был другом царь вселенной,
Мы бы молились, чтоб тебя он спас,
Сочувственного к муке сокровенной.

И если к нам беседа есть у вас,
Мы рады говорить и слушать сами,
Пока безмолвен вихрь, как здесь сейчас.

Я родилась над теми берегами,
Где волны, как усталого гонца,
Встречают По с попутными реками.

Любовь сжигает нежные сердца,
И он пленился телом несравнимым,
Погубленным так страшно в час конца.

Любовь, любить велящая любимым,
Меня к нему так властно привлекла,
Что этот плен ты видишь нерушимым.

Любовь вдвоем на гибель нас вела;
В Каине будет наших дней гаситель».
Такая речь из уст у них текла.

Скорбящих теней сокрушенный зритель,
Я голову в тоске склонил на грудь.
«О чем ты думаешь?» — спросил учитель.

Я начал так: «О, знал ли кто-нибудь,
Какая нега и мечта какая
Их привела на этот горький путь!»

Потом, к умолкшим слово обращая,
Сказал: «Франческа, жалобе твоей
Я со слезами внемлю, сострадая.

Но расскажи: меж вздохов нежных дней,
Что было вам любовною наукой,
Раскрывшей слуху тайный зов страстей?»

И мне она: «Тот страждет высшей мукой,
Кто радостные помнит времена
В несчастьи; твой вождь тому порукой.

Но если знать до первого зерна
Злосчастную любовь ты полон жажды,
Слова и слезы расточу сполна.

В досужий час читали мы однажды
О Ланчелоте сладостный рассказ ¹;
Одни мы были, был беспечен каждый.

Над книгой взоры встретились не раз,
И мы бледнели с тайным содроганьем;
Но дальше повесть победила нас.

Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем
Прильнул к улыбке дорогого рта,
Тот, с кем навек я скована терзаньем,

Поцеловал, дрожа, мои уста.
И книга стала нашим Галеотом!
Никто из нас не дочитал листа».

Дух говорил, томимый страшным гнетом,
Другой рыдал, и мука их сердец
Мое чело покрыла смертным по́том;

И я упал, как падает мертвец.

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

Едва ко мне вернулся ясный разум,
Который был не в силах устоять
Пред горестным виденьем и рассказом,—

Уже средь новых пыток я опять,
Средь новых жертв, куда ни обратиться,
Куда ни посмотреть, куда ни стать.

¹ Фр. роман XIII в. о рыцаре *Ланселоте* и его любви к жене короля Артура; их сближению способствовал рыцарь *Галеот*, уговоривший королеву поцеловать застенчивого героя.

Я в третьем круге, там, где дождь струится,
Проклятый, вечный, грузный, ледяной;
Всегда такой же, он всё так же длится.

Тяжелый град, и снег, и мокрый гной
Пронизывают воздух непроглядный;
Земля смердит под жидкой пеленой.

Трехзевый Цербер¹, хищный и громадный,
Собачьим лаем лает на народ,
Который вязнет в этой топи смрадной.

Его глаза багровы, вздут живот,
Жир в черной бороде, когтисты руки;
Он мучит души, кожу с мясом рвет.

А те под ливнем воют, словно суки;
Прикрыть стараясь верхним нижний бок,
Ворочаются в иступленье муки.

Завидя нас, разинул рты, как мог,
Червь гнусный, Цербер, и спокойной части
В нем не было от головы до ног.

Мой вождь нагнулся, простирая пясти,
И, взяв земли два полных кулака,
Метнул ее в прожорливые пасти.

Как пес, который с лаем ждал куска,
Смолкает, в кость вгрызаясь с жадной силой,
И занят только тем, что жрет пока,—

Так смолк и демон Цербер грязнорылый,
Чей лай настолько душам омерзел,
Что глухота казалась бы им милой.

Меж призраков, которыми владел
Тяжелый дождь, мы шли вперед, ступая
По пустоте, имевшей облик тел.

¹ *Цербер* — в ант. миф. трехглавый пес, охраняющий вход в царство мертвых; здесь это бес с чертами пса и человека, терзающий чревоугодников.

Лежала плоско их гряда густая,
И лишь один, чуть нас заметил он,
Привстал и сел, глаза на нас вздымая.

«О ты, который в этот Ад сведен,—
Сказал он,— ты меня, наверно, знаешь;
Ты был уже, когда я выбыл вон».

И я: «Ты вид столь жалостный являешь,
Что кажешься чужим в глазах моих
И вряд ли мне кого напоминаешь.

Скажи мне, кто ты, жертва этих злых
И скорбных мест и казни ежечасной,
Не горше, но противней всех других».

И он: «Твой город, зависти ужасной
Столь полный, что уже трещит квашня,
Был и моим когда-то в жизни ясной.

Прозвали Чакко граждане меня.
За то, что я обжорству предавался,
Я истлеваю, под дождем стена.

И, бедная душа, я оказался
Не одинок: их всех карают тут
За тот же грех». Его рассказ прервался.

Я молвил: «Чакко, слезы грудь мне жмут
Тоской о бедствии твоём загробном.
Но я прошу: скажи, к чему придут

Враждующие в городе усобном;
И кто в нем праведен; и чем раздор
Зажжен в народе этом многозлом?»

И он ответил: «После долгих ссор
Прольется кровь и власть лесным доставит,
А их врагам — изгнанье и позор¹.

¹ Здесь предсказывается ближайшее будущее Флоренции, раздираемой враждой между партиями Черных гвельфов, выразивших интересы феодалов, и Белых гвельфов, выразивших интересы горожан.

Когда же солнце трижды лик свой явит,
Они падут, а тем поможет встать
Рука того, кто в наши дни лукавит.

Они придавят их и будут знать,
Что вновь чело на долгий срок подъямлют,
Судив сраженным плакать и роптать.

Есть двое праведных, но им не внемлют.
Гордыня, зависть, алчность — вот в сердцах
Три жгучих искры, что вовек не дремлют».

Он смолк на этих горестных словах.
И я ему: «Из бездны злополучий
Вручи мне дар и будь щедрей в речах.

Теггьяйо, Фарината, дух могучий,
Все те, чей разум правдой был богат,
Арриго, Моска или Рустикуччи,—

Где все они, я их увидеть рад;
Мне сердце жжет узнать судьбу славнейших:
Их нежит небо или травит Ад?»

И он: «Они средь душ еще чернейших:
Их тянет книзу бремя грешных лет;
Ты можешь встретить их в кругах дальнейших.

Но я прошу: вернувшись в милый свет,
Напомни людям, что я жил меж ними.
Вот мой последний сказ и мой ответ».

Взглянув глазами, от тоски косыми,
Он наклонился и, лицо тая,
Повергся ниц меж прочими слепыми.

И мне сказал вожатый: «Здесь гния,
Он до трубы архангела не встанет.
Когда придет враждебный судия,

К своей могиле скорбной каждый прянет
И, в прежний образ снова воплотясь,
Услышит то, что вечным громом грянет».

Мы тихо шли сквозь смешанную грязь
Теней и ливня, в разные сужденья
О вековечной жизни углубясь.

Я так спросил: «Учитель, их мученья,
По грозном приговоре, как — сильней
Иль меньше будут, иль без измененья?»

И он: «Наукой сказано твоей,
Что, чем природа совершенней в сущем,
Тем слаще нега в нем, и боль больней.

Хотя проклятым людям, здесь живущим,
К прямому совершенству не прийти,
Их ждет полнее бытие в грядущем».

Мы шли кругом по этому пути;
Я всей беседы нашей не отмечу;
И там, где к бездне начал спуск вести,

Нам Плутос ¹, враг великий, встал навстречу.

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ

«Pарè Satàn, parè Satàn aлерре!» ² —
Хриплоголосый Плутос закричал.
«Хотя бы он и вдвое был свирепей,—

Меня мудрец, всё знавший, ободрял,—
Не поддавайся страху: что могло бы
Нам помешать спуститься с этих скал?»

И этой роже, вздувшейся от злобы,
Он молвил так: «Молчи, проклятый волк!
Сгинь в клочкотаньи собственной утробы!

Мы сходим в тьму, и надо, чтоб ты смолк;
Так хочет тот, кто мщенье Михаила
Обрушил в небе на мятежный полк».

¹ *Плутос* — в ант. миф. бог богатства; здесь это звероподобный демон четвертого круга Ада, где казнятся скупцы и расточители.

² Эти загадочные слова выражают ярость и угрозу.

Как падают надутые ветрила,
Свиваясь, если щегла рухнет вдруг,
Так рухнул зверь, и в нем исчезла сила.

И мы, спускаясь побережьем мук,
Объемлющим всю скверну мироздания,
Из третьего сошли в четвертый круг.

О правосудье Божье! Кто страдания,
Все те, что я увидел, перечтет?
Почто такие за вину терзання?

Как над Харибдой вал бежит вперед
И вспять отхлынет, прегражденный встречным,
Так люди здесь водили хоровод.

Их множество казалось бесконечным;
Два сонмища шагали, рать на рать,
Толкая грудью грузы, с воплем вечным;

Потом они сшибались и опять
С трудом брели назад, крича друг другу:
«Чего копить?» или «Чего швырять?» —

И, двигаясь по сумрачному кругу,
Шли к супротивной точке с двух сторон,
По-прежнему ругаясь сквозь натугу;

И вновь назад, едва был завершен
Их полукруг такой же дракой хмурой.
И я промолвил, сердцем сокрушен:

«Мой вождь, что это за народ понурый?
Ужель всё это клирики, весь ряд
От нас налево, эти там, с тонзурой?»

И он: «Все те, кого здесь видит взгляд,
Умом настолько в жизни были кривы,
Что в меру не умели делать трат.

Об этом лает голос их сварливый,
Когда они стоят к лицу лицом,
Наперекор друг другу нечестивы.

Те — клирики, с пробритым гуменцом;
Здесь встретишь папу, встретишь кардинала,
Не превзойденных ни одним скупцом».

И я: «Учитель, я бы здесь немало
Узнал из тех, кого не так давно
Подобное нечестие пятнало».

И он: «Тебе узнать их не дано:
На них такая грязь от жизни гадкой,
Что разуму обличье их темно.

Им вечно так шагать, кончая схваткой;
Они восстанут из своих могил,
Те — сжав кулак, а эти — с плешью гладкой.

Кто недостойно тратил и копил,
Лишен блаженств и занят этой бучей;
Ее и без меня ты оценил.

Ты видишь, сын, какой обман летучий
Даяния Фортуны, род земной
Исполнившие ненависти жгучей:

Всё золото, что блещет под луной
Иль было встарь, из этих теней бедных
Не успокоило бы ни одной».

И я: «Учитель таин заповедных!
Что есть Фортуна, счастье всех племен
Держащая в когтях своих победных?»

«О глупые созданья,— молвил он,—
Какая тьма ваш разум обуяла!
Так будь же наставленьем утолен.

Тот, чья премудрость правит изначала,
Воздвигнув тверди, создал им вождей,
Чтоб каждой части часть своя сияла,

Распространяя ровный свет лучей;
Мирской же блеск он предал в полновластье
Правительнице судеб, чтобы ей

Перемещать, в свой час, пустое счастье
Из рода в род и из краев в края,
В том смертной воле возбравив участие.

Народу над народом власть дая,
Она свершает промысел свой строгий,
И он невидим, как в траве змея.

С ней не поспорит разум наш убогий:
Она провидит, судит и царит,
Как в прочих царствах остальные боги.

Без устали свой суд она творит:
Нужда ее торопит ежечасно,
И всем она недолгий миг дарит.

Ее-то и поносят громогласно,
Хотя бы подобала ей хвала,
И распинают, и клянут напрасно.

Но ей, блаженной, не слышна хула:
Она, смеясь меж первенцев творенья,
Крутит свой шар, блаженна и светла.

Но спустимся в тягчайшие мученья:
Склонились звезды, те, чтоплыли ввысь,
Когда мы шли; запретны промедленья».

Мы пересекли круг и добрались
До струй ручья, которые просторной,
Изрытой ими, впадиной неслись.

Окраска их была багрово-черной;
И мы, в соседстве этих мрачных вод,
Сошли по диким тропам с кручи горной.

Угрюмый ключ стихает и растет
В Стигийское болото, ниспадая
К подножью серокаменных высот.

И я увидел, долгий взгляд вперяя,
Людей, погрязших в омуте реки;
Была свирепа их толпа нагая.

Они дрались, не только в две руки,
Но головой, и грудью, и ногами,
Друг друга норовя изгрызть в клочки.

Учитель молвил: «Сын мой, перед нами
Ты видишь тех, кого осилил гнев;
Еще ты должен знать, что под волнами

Есть также люди; вздохи их, взлетов,
Пузырят воду на пространстве зримом,
Как подтверждает око, посмотрев.

Увязнув, шепчут: «В воздухе родимом,
Который блещет, солнцу веселясь,
Мы были скучны, полны вялым дымом;

И вот скучаем, втиснутые в грязь».
Такую песнь у них курлычет горло,
Напрасно слово вымолвить трудясь».

Так, огибая илистые жерла,
Мы, гранью топи и сухой земли,
Смотря на тех, чьи глотки тиной сперло,

К подножью башни наконец пришли.

ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ

Скажу, продолжив, что до башни этой
Мы не дошли изрядного куска,
Когда наш взгляд, к ее зубцам воздетый,

Приметил два зажженных огонька
И где-то третий, глазу чуть заметный,
Как бы ответивший издалика.

Взывая к морю мудрости всесветной,
Я так спросил: «Что это за огни?
Кто и зачем дает им знак ответный?»

«Когда ты видишь сквозь туман, взгляни,—
Так молвил он.— Над илистым простором
Ты различишь, кого зовут они».

Ни перед чьим не пролетала взором
Стрела так быстро, в воздухе спеша,
Как малый челн, который, в беге скором,

Стремился к нам, по заводи шурша,
С одним гребцом, кричавшим громогласно:
«Ага, попалась, грешная душа!»

«Нет, Флегий, Флегий¹, ты кричишь напрасно,—
Сказал мой вождь.— Твои мы лишь на миг,
И в этот челн ступаем безопасно».

Как тот, кто слышит, что его постиг
Большой обман, и злится, распаленный,
Так вспыхнул Флегий, искажая лик.

Сошел в челнок учитель благосклонный,
Я вслед за ним, и лишь тогда ладья
Впервые показалась отягченной.

Чуть в лодке поместились вождь и я,
Помчался древний струг, и так глубоко
Не рассекалась ни под кем струя.

Посередине мертвого потока
Мне встретился один; весь в грязь одет,
Он молвил: «Кто ты, что пришел до срока?»

И я: «Пришел, но мой исчезнет след.
А сам ты кто, так гнусно безобразный?»
«Я тот, кто плачет»,— был его ответ.

И я: «Плачь, сетуй в топи невылазной,
Проклятый дух, пей вечную волну!
Ты мне знаком, такой вот даже грязный».

Тогда он руки протянул к челну;
Но вождь толкнул вцепившегося в злобе,
Сказав: «Иди к таким же псам, ко дну!»

¹ Флегий — в ант. миф. царь лапифов, сжегший Дельфийский оракул и ввергнутый за это в преисподнюю; здесь это злобный страж пятого круга Ада, где казнятся гневные.

И мне вокруг шеи, с поцелуем, обе
Обвив руки, сказал: «Суровый дух,
Блаженна несшая тебя в утробе!

Он в мире был гордец и сердцем сух;
Его деяний люди не прославят;
И вот он здесь от злости слеп и глух.

Сколь многие, которые там правят,
Как свиньи, влезут в этот мутный сток
И по себе ужасный срам оставят!»

И я: «Учитель, если бы я мог
Увидеть въявь, как он в болото канет,
Пока еще на озере челнок!»

И он ответил: «Раньше, чем проглянет
Тот берег, утолишься до конца,
И эта радость для тебя настанет».

Тут так накинулся на мертвеца
Весь грязный люд в неистовстве великом,
Что я поднесь благодарю Творца.

«Хватай Ардженти!» — было общим криком;
И флорентийский дух, кругом тесним,
Рвал сам себя зубами в гнев диком.

Так сгинул он, и я покончу с ним;
Но тут мне в уши стон вонзился дальный,
И взгляд мой распахнулся, недвижим.

«Мой сын,— сказал учитель достохвальный,—
Вот город Дит¹, и в нем заключены
Безрадостные люди, сонм печальный».

И я: «Учитель, вот из-за стены
Встают его мечети, багровея,
Как будто на огне раскалены».

¹ *Дит* (Dis) — лат. имя Аида, властителя преисподней; Данте называет так Люцифера (лат. Lucifer — Светоносец), верховного дьявола, царя Ада; его имя носит и адский город.

«То вечный пламень, за оградой вея,—
Сказал он,— башни красит багрецом;
Так нижний Ад тебе открылся, рдея».

Челнок вошел в крутые рвы, кругом
Объемлющие мрачный гребень вала;
И стены мне казались чугуном.

Немалый круг мы сделали сначала
И стали там, где кормчий мгlistых вод
«Сходите! — крикнул нам.— Мы у причала».

Я видел на воротах много сот
Дождем ниспавших с неба, стражу входа,
Твердивших: «Кто он, что сюда идет,

Не мертвый, в царство мертвого народа?»
Вождь подал вид, что он бы им хотел
Поведать тайну нашего прихода.

И те, кладя свирепости предел:
«Сам подойди, но отошли второго,
Раз в это царство он вступить посмел.

Безумный путь пускай свершает снова,
Но без тебя; а ты у нас побудь,
Его вожак среди сумрака ночного».

Помысли, чтец, в какую впал я жуть,
Услышав этой речи звук проклятый,
Я знал, что не найду обратный путь.

И я сказал: «О милый мой вожатый,
Меня спасавший семь и больше раз,
Когда мой дух робел, тоской объятый,

Не покидай меня в столь грозный час!
Когда запрещен город, нам представший,
Вернемся вспять стезей, приведшей нас».

И властный муж, меня сопровождавший,
Сказал: «Не бойся; нашего пути
Отнять нельзя; таков его нам давший.

Здесь жди меня; и дух обогати
Надеждой доброй; в этой тьме глубокой
Тебя и дальше буду я блюсти».

Ушел благой отец, и одинокий
Остался я, и в голове моей
И «да», и «нет» творили спор жестокий.

Расслышать я не мог его речей;
Но с ним враги беседовали мало,
И каждый внутрь укрылся поскорей,

Железо их ворот загрохотало
Пред самой грудью мудреца, и он,
Оставшись вне, назад побрел устало.

Потупя взор и бодрости лишен,
Он шел вздыхая, и уста шептали:
«Кем в скорбный город путь мне возбранен!»

И мне он молвил: «Ты, хоть я в печали,
Не бойся; я превозмогу и здесь,
Какой бы тут отпор ни замышляли.

Не новость их воинственная спесь;
Так было и пред внешними вратами,
Которые распахнуты поднесь.

Ты видел надпись с мертвыми словами;
Уже оттуда, нисходя с высот,
Без спутников, идет сюда кругами

Тот, чья рука нам город отомкнет».

ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ

Цвет, робостью на мне запечатленный,
Когда мой спутник повернул назад,—
Согнал с его лица налет мгновенный.

Он слушал, тщетно напрягая взгляд,
Затем что вдаль глаза не уводили
Сквозь черный воздух и болотный чад.

«И всё ж мы победим,— сказал он,— или...
Такая нам защитница дана!
О, где же тот, кто выше их усилий!»

Я видел, речь его рассечена,
Начатую спешит покрыть иная,
И с первою несходственна она.

Но я внимал ей, мужество теряя,
Мрачней, быть может, чем она была,
Оборванную мысль воспринимая.

«Туда, на дно печального жерла,
Спускаются ли с первой той ступени,
Где лишь надежда в душах умерла?»

Так я спросил; и он: «Из нашей сени
По этим, мною пройденным, тропам
Лишь редкие досель сходили тени.

Но некогда я здесь прошел и сам,
Злой Эрихто¹ заклятый, что умела
Обратно души призывать к телам.

Едва лишь плоть во мне осиротела,
Сквозь эти стены был я снаряжен
За пленником Иудина предела.

Всех ниже, всех темней, всех дальше он
От горней сферы, связь миров кружащей;
Я знаю путь; напрасно ты смущен.

Низина эта заводью смердящей
Повсюду облегает скорбный вал,
Разгневанным отпором нам грозящий».

Не помню я, что он еще сказал:
Всего меня мой глаз, в тоске раскрытый,
К вершине рдяной башни приковал,

¹ *Эрихто* — легендарная фессал. волшебница, воскресавшая мертвых и заставлявшая их предсказывать будущее. Далее упоминается: *Фурии* (греч. — Эринии) — в ант. миф. богини проклятья, мести и кары Тисифона, Мегера и Алекты, а также *Медуза* — одна из трех сестер Горгон, змееволосая дева, при взгляде на которую люди и звери каменеют.

Где вдруг взвились, для бешеной защиты,
Три Фурии, кровавы и бледны
И гидрами зелеными обвиты;

Они как жены были сложены;
Но, вместо кос, клубами змей пустыни
Свирепые виски оплетены.

И тот, кто ведал, каковы рабыни
Властительницы вечных слез ночных,
Сказал: «Взгляни на яростных Эриний.

Вот Тисифона, средняя из них;
Левей — Мегера; справа олютело
Рыдает Алектó». И он затих.

А те себе терзали грудь и тело
Руками били; крик их так звенел,
Что я к учителю приник несмело.

«Медуза где? Чтоб он окаменел! —
Они вопили, глядя вниз.— Напрасно
Тезеевых мы не отмстили дел».

«Закрой глаза и отвернись; ужасно
Увидеть лик Горгоны; к свету дня
Тебя ничто вернуть не будет властно».

Так молвил мой учитель и меня
Поворотил, своими же руками,
Поверх моих, глаза мне заслоня.

О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленья да поймет,
Сокрытое под странными стихами!

И вот уже по глади мутных вод
Ужасным звуком грохот шел ревущий,
Колебля оба берега, наш и тот,—

Такой, как если ветер всемогущий,
Враждующими воздухами взвит,
Преград не зная, сокрушает пуши,

Ломает ветви, рушит их и мчит;
Вздыхая прах, идет неустойчиво,
И зверь и пастырь от него бежит.

Открыв мне очи: «Улови, что зримо
Там,— он промолвил,— где всего черней
Над этой древней пеной горечь дыма».

Как от змеи, противницы своей,
Спешат лягушки, расплываясь кругом,
Чтоб на земле упрятаться верней,

Так, видел я, гонимые испугом,
Станицы душ бежали пред одним,
Который Стиксом шел, как твердым лугом.

Он отстранял от взоров липкий дым,
Перед собою левой помавая,
И, видимо, лишь этим был томим.

Посла небес в идущем признавая,
Я на вождя взглянул; и понял знак
Пред ним склониться, уст не размыкая.

О, как он гневно шел сквозь этот мрак!
Он стал у врат и тростию подъятой
Их отворил,— и не боролся враг.

«О свергнутые с неба, род проклятый,—
Возвысил он с порога грозный глас,—
Что ты замыслил, слепотой объятый?»

К чему бороться с волей выше вас,
Которая идет стопою твердой
И ваши беды множила не раз?

Что на судьбу кидаться в злобе гордой?
Ваш Цербер, если помните о том,
И до сих пор с потертой ходит мордой».

И вспять нечистым двинулся путем,
Нам не сказав ни слова, точно кто-то,
Кого теснит и гложет об ином,

Но не о том, кто перед ним, забота;
И мы, ободрясь от священных слов,
Свои шаги направили в ворота.

Мы внутрь вошли, не повстречав врагов,
И я, что ведать образ муки грешной,
Замкнутой между крепостных зубцов,

Ступив вовнутрь, кидаю взгляд поспешный
И вижу лишь пустынные места,
Исполненные скорби безутешной.

Как в Арле, там, где Рона разлита,
Как в Поле, где Карнаро многоводный
Смыкает Италийские врата,

Гробницами исхолмлен дол бесплодный,—
Так здесь повсюду высились они,
Но горечь этих мест была несходной;

Затем что здесь меж ям ползли огни,
Так их каля, как в пламени горнила
Железо не калилось искони.

Была раскрыта каждая могила,
И горестный свидетельствовал стон,
Каких она отверженцев таила.

И я: «Учитель, кто похоронен
В гробницах этих скорбных, что такими
Стенаниями воздух оглашен?»

«Ересиархи,— молвил он,— и с ними
Их присные, всех толков; глубь земли
Они устлали толпами густыми.

Подобные с подобными легли,
И зной в гробах где злей, где меньше страшен».
Потом он вправо взял, и мы пошли

Меж полем мук и выступами башен.

ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ

И вот идет, тропинкою, по краю,
Между стеной кремля и местом мук,
Учитель мой, и я вослед ступаю.

«О высший ум, из круга в горший круг,—
Так начал я,— послушного стремящий,
Ответь и к просьбе снизойди как друг.

Тех, кто положен здесь в земле горящей,
Нельзя ль увидеть? Плиты у могил
Откинута, и стражи нет хранящей».

«Все будут замкнуты,— ответ мне был,—
Когда вернутся из Иосафата¹
В той плоти вновь, какую кто носил.

Здесь кладбище для веривших когда-то,
Как Эпикур² и все, кто вместе с ним,
Что души с плотью гибнут без возврата.

Здесь ты найдешь ответ речам твоим
И утоление помысла другого,
Который в сердце у тебя таим».

И я: «Мой добрый вождь, иное слово
Я берегу, в душе его храня,
Чтоб заповедь твою блюсти сурово».

«Тосканец, ты, что городом огня
Идешь, живой, и скромненько примерно,
Прошу тебя, побудь вблизи меня.

Ты, судя по наречию, наверно
Сын благородный родины моей,
Быть может, мной измученной чрезмерно».

Нежданно грянул звук таких речей
Из некоей могилы; оробело
Я к моему вождю прильнул тесней.

¹ *Иосафат* — название долины, где, по церковным представлениям, произойдет Страшный суд.

² *Эпикур* (341—270 гг. до н. э.) — греч. философ-материалист, отрицавший бессмертие души; в ср. века эпикурейцами называли вообще всех атеистов.

И он мне: «Что ты смотришь так несмело?
Взгляни, ты видишь: Фарината ¹ встал.
Вот: все от чресл и выше видно тело»,

Уже я взгляд в лицо ему вперял;
А он, чело и грудь вздымая властно,
Казалось, Ад с презреньем озирал.

Меня мой вождь продвинул безопасно
Среди огней, лизавших нам пяты,
И так промолвил: «Говори с ним ясно».

Когда я стал у поднятой плиты,
В ногах могилы, мертвый, глянув строго,
Спросил надменно: «Чей потомок ты?»

Я, повинуюсь, не укрыл ни слога,
Но в точности поведал обо всем;
Тогда он брови изогнул немного,

Потом сказал: «То был враждебный дом
Мне, всем моим сокровным и клеветам;
Он от меня два раза нес разгром».

«Хоть изгнаны,— не медлил я с ответом,—
Они вернулись вновь со всех сторон;
А вашим счастья нет в искусстве этом».

Тут новый призрак, в яме, где и он,
Приподнял подбородок выше края;
Казалось, он коленопреклонен.

Он посмотрел окрест, как бы желая
Увидеть, нет ли спутника со мной;
Но умерла надежда, и, рыдая,

Он молвил: «Если в этот склеп слепой
Тебя привел твой величавый гений,
Где сын мой? Почему он не с тобой?»

¹ *Фарината* — глава флорент. гибеллинов, т. е. сторонников империи, с которыми враждовал род Данте, принадлежавший партии гвельфов, т. е. сторонников рим. папы. Далее упоминается: *новый призрак* — отец *Гвидо* Кавальканти, философа и поэта, ближайшего друга Данте, гвельф; *Федерик Второй* — герм. император, отличавшийся непримиримой враждой к папству, и *кардинал Убальдини* — ревностный гибеллин.





«Я не своею волей в царстве теней,—
Отвечил я,— и здесь мой вождь стоит;
А Гвидо ваш не чтит его творений».

Его слова и казни самый вид
Мне явственно прочли, кого я встретил;
И отзыв мой был ясен и открыт.

Вдруг он вскочил, крича: «Как ты ответил?
Он их не чтит? Его уж нет среди вас?
Отрадный свет его очам не светел?»

И так как мой ответ на этот раз
Недолгое молчанье предваряло,
Он рухнул навзничь и исчез из глаз.

А тот гордец, чья речь меня призвала
Стать около, недвижим был и тих
И облик свой не изменил нимало.

«То,— продолжал он снова,— что для них
Искусство это трудным остается,
Больнее мне, чем ложе мук моих.

Но раньше, чем в полсотый раз зажжется
Лик госпожи, чью волю здесь творят,
Ты сам поймешь, легко ль оно дается.

Но — в милый мир да обретешь возврат! —
Поведай мне: зачем без снисхожденья
Законы ваши всех моих клеймят?»

И я на это: «В память истребленья,
Окрасившего Арбию в багрец,
У нас во храме так творят моленья».

Вздохнув в сердцах, он молвил наконец:
«Там был не только я, и в бой едва ли
Шел беспричинно хоть один боец.

Зато я был один, когда решали
Флоренцию стереть с лица земли;
Я спас ее, при поднятом забрале».

«О если б ваши внуки мир нашли! —
Отвечил я.— Но разрешите пути,
Которые мой ум обволокли.

Как я сужу, пред вами разомкнуты
Сокрытые в грядущем времена,
А в настоящем взор ваш полон смуты».

«Нам только даль отчетливо видна,—
Он отвечал,— как дальнозорким людям;
Лишь эта ясность нам Вождем дана.

Что́ близится, что есть, мы этим трудим
Наш ум напрасно; по чужим вестям
О вашем смертном бытие мы судим.

Поэтому,— как ты поймешь и сам,—
Едва замкнется дверь времен грядущих,
Умрет всё знание, свойственное нам».

И я, в скорбях, меня укором жгущих:
«Поведайте упавшему тому,
Что сын его еще среди живущих;

Я лишь затем не отвечал ему,
Что размышлял, сомнением объятый,
Над тем, что ныне явственно уму».

Уже меня окликнул мой вожатый;
Я молвил духу, что я речь прерву,
Но знать хочу, кто с ним в земле проклятой.

И он: «Здесь больше тысячи во рву;
И Федерик Второй лег в яму эту,
И кардинал; лишь этих назову».

Тут он исчез; и к древнему поэту
Я двинул шаг, в тревоге от угроз,
Ища разгадку темному ответу.

Мы вдаль пошли; учитель произнес:
«Чем ты смущен? Я это сердцем чую».
И я ему ответил на вопрос.

«Храни, как слышал, правду роковую
Твоей судьбы»,— мне повелел поэт.
Потом он поднял перст: «Но знай другую:

Когда ты вступишь в благодатный свет
Прекрасных глаз, всё видящих правдиво,
Постигнешь путь твоих грядущих лет».

Затем левой он взял неторопливо,
И нас от стен повел пологий скат
К середине круга, в сторону обрыва,

Откуда тяжкий доносился смрад.

ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ

Мы подошли к окраине обвала,
Где груды скал над нашею пятой
Еще страшной пучину открывала.

И тут от вони едкой и густой,
Навстречу нам из пропасти валившей,
Мой вождь и я укрылись за плитой

Большой гробницы, с надписью, гласившей:
«Здесь папа Анастасий заточен,
Вослед Фотину правый путь забывший».

«Не торопись ступать на этот склон,
Чтоб к запаху привыкло обонянье;
Потом мешать уже не будет он».

Так спутник мой. «Заполни ожиданье,
Чтоб не пропало время»,— я сказал.
И он в ответ: «То и мое желанье».

«Мой сын, посередине этих скал,—
Так начал он,— лежат, как три ступени,
Три круга, меньше тех, что ты видал.

Во всех толпятся проклятые тени;
Чтобы потом лишь посмотреть на них,
Узнай их грех и образ их мучений.

В неправде, вредоносной для других,
Цель всякой злобы, небу неугодной;
Обман и сила — вот орудья злых.

Обман, порок, лишь человеку сродный,
Гнусней Творцу; он заполняет дно
И пытку казнится безысходной.

Насилье в первый круг заключено,
Который на три пояса дробится,
Затем что видом тройственно оно,

Творцу, себе и ближнему чинится
Насилье, им самим и их вещам,
Как ты, внимая, можешь убедиться.

Насилье ближний терпит или сам,
Чрез смерть и раны, или подвергаясь
Пожарам, притеснениям, грабежам.

Убийцы те, кто ранят, озлобляясь,
Громилы и разбойники идут
Во внешний пояс, в нем распределяясь.

Иные сами смерть себе несут
И своему добру; зато так больно
Себя же в среднем поясе клянут

Те, кто ваш мир отринул своевольно,
Кто возлюбил игру и мотовство
И плакал там, где мог бы жить привольно.

Насильем оскорбляют божество,
Хуля его и сердцем отрицая,
Презрев любовь Творца и естество.

За это пояс, вьющийся вдоль края,
Клеймит огнем Каорсу и Содом
И тех, кто ропщет, Бога отвергая.

Обман, который всем сердцам знаком,
Приносит вред и тем, кто доверяет,
И тем, кто не доверился ни в чем.

Последний способ связь любви ломает,
Но только лишь естественную связь;
И казнь второго круга тех терзает,

Кто лицемерит, льстит, берет таясь,
Волшбу, подлог, торг должностью церковной,
Мздоимцев, своден и другую грязь.

А первый способ, разрушая кровный
Союз любви, вдобавок не щадит
Союз доверья, высший и духовный.

И самый малый круг, в котором Дит
Воздвиг престол и где ядро вселенной,
Предавшего навеки поглотит».

И я: «Учитель, в речи совершенной
Ты образ бездны предо мной явил
И рассказал, кто в ней томится пленный.

Но молви: те, кого объемлет ил,
И хлещет дождь, и мечет вихрь ненастный,
И те, что спорят из последних сил,

Зачем они не в этот город красный
Заклочены, когда их проклял Бог?
А если нет, зачем они несчастны?»

И он сказал на это: «Как ты мог
Так отступить от здравого сужденья?
И где твой ум блуждает без дорог?

Ужели ты не помнишь изреченья
Из Этики, что пагубней всего
Три ненавистных небесам влеченья:

Несдержанность, злоба, буйное скотство?
И что несдержанность — меньший грех пред Богом
И он не так карает за него?

Обдумав это в размышленьи строгом
И вспомнив тех, чье место вне стены
И кто наказан за ее порогом,

Поймешь, зачем они отделены
От этих злых и почему их муки
Божественным судом облегчены».

«О свет, которым зорок близорукий,
Ты учишь так, что я готов любить
Неведение не менее науки.

Вернись,— сказал я,— чтобы разъяснить,
В чем ростовщик чернит своим пороком
Любовь Творца; распутай эту нить».

И он: «Для тех, кто дорожит уроком,
Не раз философ повторил слова,
Что естеству являются истоком

Премудрость и искусство божества.
И в Физике прочтешь, и не в исходе,
А только лишь перелистав едва:

Искусство смертных следует природе,
Как ученик ее, за пядью пядь;
Оно есть Божий внук, в известном роде.

Им и природой, как ты должен знать
Из книги Бытия, Господне слово
Велело людям жить и процветать.

А ростовщик, сойдя с пути благого,
И самую природой пренебрег,
И спутником ее, ища другого.

Но нам пора; прошел немалый срок;
Блеснули Рыбы над чертой востока,
И Воз уже совсем над Кавром лег,

А к спуску нам идти еще далеко».

ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

Был грозен срыв, откуда надо было
Спускаться вниз, и зрелище являл,
Которое любого бы смутило.

Как ниже Тренто видится обвал,
Обрушенный на Адиче когда-то
Землетрясением иль падением скал,

И каменная круча так щербата,
Что для идущих сверху поселян
Как бы тропинкой служат глыбы ската,

Таков был облик этих мрачных стран;
А на краю, над сходом к бездне новой,
Раскинувшись, лежал позор критян,

Зачатый древле мнимою короной.
Завидев нас, он сам себя терзать
Зубами начал в злобе бестолковой.

Мудрец ему: «Ты бесишься опять?
Ты думаешь, я здесь с Афинским дуком,
Который приходил тебя заклать?»

Посторонись, скот! Хитростным наукам
Твоей сестрой мой спутник не учен;
Он только соглядатай вашим мукам».

Как бык, секирой насмерть поражен,
Рвет свой аркан, но к бегу неспособен
И только скачет, болью оглушен,

Так Минотавр¹ метался, дик и злобен;
И зоркий вождь мне крикнул: «Вниз беги!
Пока он в гневе, миг как раз удобен».

Мы под уклон направили шаги,
И часто камень угрожал обвалом
Под новой тяжестью моей ноги.

Я шел в раздумье. «Ты дивишься скалам,
Где этот лютый зверь не тронул нас? —
Промолвил вождь по размысленье малом.—

¹ *Минотавр* — в ант. миф. чудовище, зачатое женою крит. царя Миноса от быка; здесь это страж седьмого круга, где караются насильники.

Так знай же, что, когда я прошлый раз
Шел нижним Адом в сумрак сокровенный,
Здесь не лежали глыбы, как сейчас.

Но перед тем, как в первый круг геенны
Явился тот, кто столько в небо взял,
Которые у Дита были пленны,

Так мощно дрогнул пасмурный провал,
Что я подумал — мир любовь объяла,
Которая, как некто полагал,

Его и прежде в хаос обращала;
Тогда и этот рушился утес,
И не одна кой-где скала упала.

Но посмотри: вот, окаймив откос,
Течет поток кровавый, сожигая
Тех, кто насилье ближнему нанес».

О гнев безумный, о корысть слепая,
Вы мучите наш краткий век земной
И в вечности томите, истязая!

Я видел ров, изогнутый дугой
И всю равнину обходящий кругом,
Как это мне поведал спутник мой;

Меж ним и кручей мчались друг за другом
Кентавры, как, бывало, на земле,
Гоня зверя, мчались вольным лугом.

Все стали, нас приметив на скале,
А трое подскакали ближе к краю,
Готовя лук и выбрав по стреле.

Один из них, опередивший стаю,
Кричал: «Кто вас послал на этот след?
Скажите с места, или я стреляю»,

Учитель мой промолвил: «Мы ответ
Дадим Хирону, под его защитой.
Ты был всегда горяч, себе во вред».

И, тронув плащ мой: «Это Несс, убитый
За Деяниру, гнев предсмертный свой
Запечатлевший мстью знаменитой.

Тот, средний, со склоненной головой,—
Хирон, Ахиллов пестун величавый;
А третий — Фол¹, с душою грозовой.

Их толпы вдоль реки снуют облавой,
Стреляя в тех, кто, по своим грехам,
Всплывет не в меру из волны кровавой».

Мы подошли к проворным скакунам;
Хирон, браздой стрелы раздвинув клубы
Густых усов, пригладил их к щекам

И, опростав свои большие губы,
Сказал другим: «Вон тот, второй, пришлец,
Когда идет, шевелит камень грубый;

Так не ступает ни один мертвец».
Мой добрый вождь, к его приблизясь груди,
Где две природы сочетал стрелец,

Сказал: «Он жив, как все живые люди;
Я — вождь его сквозь сумрачный простор;
Он следует нужде, а не причуде.

И та, чей я свершаю приговор,
Сходя ко мне, прервала аллилуйя;
Я сам не грешный дух, и он не вор.

Верховной волей в страшный путь иду я.
Так пусть же с нами двинется в поход
Один из вас, дорогу указуя,

И этого на круп к себе возьмет
И переправит в месте неглубоком;
Ведь он не тень, что в воздухе плывет».

Хирон направо обратился боком
И молвил Нессу: «Будь проводником;
Других гони, коль встретишь ненароком».

¹ *Несс, Хирон, Фол* — в ант. миф. кентавры, т. е. полулюди-полу-кони.

Вдоль берега, над алым кипятком,
Вожатый нас повел без прекословий.
Был страшен крик варившихся живьем.

Я видел погрузившихся по брови.
Кентавр сказал: «Здесь не один тиран,
Который жаждал золота и крови:

Все, кто насильем осквернил свой сан.
Здесь Александр¹ и Дионисий лютый,
Сицилии нанесший много ран;

Вот этот, с черной шерстью,— пресловутый
Граф Адзолино; светлый, рядом с ним,—
Обиццо д'Эсте, тот, что в мире смуты

Родимым сыном истреблен своим».
Поняв мой взгляд, вождь молвил, благосклонный:
«Здесь он да будет первым, я — вторым».

Потом мы подошли к неотдаленной
Толпе людей, где каждый был покрыт
По горло этой влагой раскаленной.

Мы видели — один вдали стоит.
Несс молвил: «Он пронзил под Божьей сенью
То сердце, что над Темзой кровь точит».

Потом я видел, ниже по теченью,
Других, являвших плечи, грудь, живот;
Иной из них мне был знакомой тенью.

За пядью пядь, спадал волноворот,
И под конец он обжигал лишь ноги;
И здесь мы реку пересекли вброд.

«Как до сих пор, всю эту часть дороги,—
Сказал кентавр,— мелеет кипяток,
Так, дальше, снова под уклон отлогий

¹ Александр — Александр Македонский (356—323 гг. до н. э.).
Далее упомин.: Дионисий — сиракуз. тиран IV в. до н. э.; Адзолино —
падуан. тиран XIII в.; Обиццо д'Эсте — маркиз Феррары, задушен-
ный собственным сыном; Аттила — царь гуннов, опустошитель Евро-
пы (V в.), а также Пирр, Секст, Риньер — люди, прославившиеся в
разные времена своей жестокостью, разбоями и убийствами.

Уходит дно, и пучится поток,
И, полный круг смыкая там, где стонет
Толпа тиранов, он опять глубок.

Там под небесным гневом выю клонит
И Аттила, когда-то бич земли,
И Пирр, и Секст; там мука слезы гонит,

И вечным плачем лица обожгли
Риньер де'Пацци и Риньер Корнето,
Которые такой разбой вели».

Тут он помчался вспять и скрылся где-то.

ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ

Еще кентавр не пересек потока,
Как мы вступили в одичалый лес,
Где ни тропы не находило око.

Там бурых листьев сумрачен навес,
Там вьется в узел каждый сук ползущий,
Там нет плодов, и яд в шипах древес.

Такой унылой и дремучей пуши
От Чэчины и до Корнето нет,
Приют зверью пустынному дающей.

Там гнезда гарпий¹, их поганый след,
Тех, что троян, закинутых кочевьем,
Прогнали со Строфад предвестьем бед.

С широкими крылами, с ликом девьим,
Когтистые, с пернатым животом,
Они тоскливо кличут по деревьям.

«Пред тем, как дальше мы с тобой пойдем,—
Так начал мой учитель, наставляя,—
Знай, что сейчас мы в поясе втором,

А там, за ним, пустыня огневая.
Здесь ты увидишь то,— добавил он,—
Чему бы не поверил, мне внимаая».

¹ *Гарпии* — в ант. миф. птицы с девичьими лицами, обитавшие на Строфадских островах.

Я отовсюду слышал громкий стон,
Но никого окрест не появлялось;
И я остановился, изумлен.

Учителю, мне кажется, казалось,
Что мне казалось, будто это крик
Толпы какой-то, что в кустах скрывалась.

И мне сказал мой мудрый проводник:
«Тебе любую ветвь сломать довольно,
Чтоб домысел твой рухнул в тот же миг».

Тогда я руку протянул невольно
К терновнику и отломил сучок;
И ствол воскликнул: «Не ломай, мне больно!»

В надломе кровью потемнел росток
И снова крикнул: «Прекрати мученья!
Ужели дух твой до того жесток?

Мы были люди, а теперь растенья.
И к душам гадов было бы грешно
Выказывать так мало сожаленья».

И как с конца палимое бревно
От тока ветра и его накала
В другом конце трещит и слез полно,

Так раненое древо источало
Слова и кровь; я в ужасе затих,
И наземь ветвь из рук моих упала.

«Когда б он знал, что на путях своих,—
Ответил вождь мой жалобному звуку,—
Он встретит то, о чем вещал мой стих,

О бедный дух, он не простер бы руку.
Но чтоб он мог чудесное познать,
Тебя со скорбью я обрек на муку.

Скажи ему, кто ты; дабы воздать
Тебе добром, он о тебе вспомянет
В земном краю, куда взойдет опять».

И древо: «Твой призыв меня так манит,
Что не могу внимать ему, молча;
И пусть не в тягость вам рассказ мой станет.

Я тот ¹, кто оба сберегал ключа
От сердца Федерика и вращал их
К затвору и к отвору, не звуча,

Хранитель тайн его, больших и малых.
Неся мой долг, который мне был свят,
Я не щадил ни сна, ни сил усталых.

Развратница, от кесарских палат
Не отводящая очей тлетворных,
Чума народов и дворцовый яд,

Так воспалила на меня придворных,
Что Август, их пыланьем воспылав,
Низверг мой блеск в пучину бедствий черных

Смятенный дух мой, вознегодовав,
Замыслил смертью помешать злословью,
И правый стал перед собой неправ.

Моих корней клянусь ужасной кровью,
Я жил и умер, свой обет храня,
И господину я служил любовью!

И тот из вас, кто выйдет к свету дня,
Пусть честь мою излечит от извета,
Которым зависть ранила меня!»

«Он смолк,— услышал я из уст поэта.—
Заговори с ним,— время не ушло,—
Когда ты ждешь на что-нибудь ответа».

«Спроси его что хочешь, что б могло
Быть мне полезным,— молвил я, смущенный.—
Я не решусь; мне слишком тяжело».

¹ Речь идет о Пьере делла Винья, канцлере и фаворите Фридриха II, стилисте и ораторе, который, впав в немилость, был заточен в тюрьму, ослеплен и покончил с собой. Далее упомин. Лано и Джакомо — известные моты.

«Вот этот,— начал спутник благосклонный,—
Готов свершить тобой просимый труд.
А ты, о дух, в темницу заточенный,

Поведай нам, как душу в плен берут
Узлы ветвей; поведай, если можно,
Выходят ли когда из этих пут».

Тут ствол дохнул огромно и тревожно,
И в этом вздохе слову был исход:
«Ответ вам будет дан немногосложно.

Когда душа, ожесточась, порвет
Самоуправно оболочку тела,
Минос ее в седьмую бездну шлет.

Ей не дается точного предела;
Упав в лесу, как малое зерно,
Она растет, где ей судьба велела.

Зерно в побег и в ствол превращено;
И гарпии, кормясь его листьями,
Боль создают и боли той окно.

Пойдем и мы за нашими телами,
Но их мы не наденем в Судный день!
Не наше то, что сбросили мы сами.

Мы их притащим в сумрачную сень,
И плоть повиснет на кусте колючем,
Где спит ее безжалостная тень».

Мы думали, что ствол, тоскою мучим,
Еще и дальше говорить готов,
Но услышали шум в лесу дремучем,

Как на облаве внемлет зверолов,
Что мчится вепрь и вслед за ним борзые,
И слышит хруст растоптанных кустов.

И вот бегут, левее нас, нагие,
Истерзанные двое, меж ветвей,
Ломая грудью заросли тугие.

Передний: «Смерть, ко мне, ко мне скорей!»
Другой, который не отстать старался,
Кричал: «Сегодня, Лано, ты быстрей,

Чем был, когда у Топпо подвизался!»
Он, задыхаясь, посмотрел вокруг,
Свалился в куст и в грудь с ним смешался.

А сзади лес был полон черных сук,
Голодных и бегущих без оглядки,
Как гончие, когда их спустят вдруг.

В упавшего, всей силой жадной хватки,
Они впилась зубами на лету
И растащили бедные остатки.

Мой проводник повел меня к кусту;
А тот, в крови, оплакивал, стеная,
Своих поломов горькую тщету:

«О Джакомо да Сант-Андреа! Злая
Была затея защищаться мной!
Я ль виноват, что жизнь твоя дурная?»

Остановясь над ним, наставник мой
Промолвил: «Кем ты был, сквозь эти раны
Струящий с кровью скорбный голос свой?»

И он в ответ: «О души, в эти страны
Пришедшие сквозь вековую тьму,
Чтоб видеть в прахе мой покров разданный,

Сгребите листья к терну моему!
Мой город — тот, где ради Иоанна
Забыт былой заступник; потому

Его искусство мстит нам неустанно;
И если бы поднесь у Арнских вод
Его частица не была сохранна,

То строившие сызнова оплот
На Аттиловом грозном пепелище —
Напрасно утруждали бы народ.

Я сам себя казнил в моем жилище».

ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Объят печалью о местах, мне милых,
Я подобрал опавшие листы
И обессиленному возвратил их.

Пройдя сквозь лес, мы вышли у черты,
Где третий пояс лег внутри второго
И гневный суд вершится с высоты.

Дабы явить, что взору было ново,
Скажу, что нам, огромной пеленой,
Открылась степь, где нет ростка живого.

Злосчастный лес ее обвил каймой,
Как он и сам обвит рекой горючей;
Мы стали с краю, я и спутник мой.

Вся даль была сплошной песок сыпучий,
Как тот, который попирает Катон,
Из края в край пройдя равниной жгучей.

О Божья месть, как тяжело уstraшен
Быть должен тот, кто читает ныне,
На что мой взгляд был въяве устремлен!

Я видел толпы голых душ в пустыне:
Все плакали, в терзанье вековом,
Но разной обреченные судьбине.

Кто был повержен навзничь, вверх лицом,
Кто, съезжившись, сидел на почве пыльной,
А кто сновал без устали кругом.

Разряд шагавших самый был обильный;
Лежавших я всех меньше насчитал,
Но вопль их скорбных уст был самый сильный.

А над пустыней медленно спадал
Дождь пламени, широкими платками,
Как снег в безветрии нагорных скал.

Как Александр, под знойными лучами
Сквозь Индию ведя свои полки,
Настигнут был падучими огнями

И приказал, чтобы его стрелки
Усерднее топтали землю, зная,
Что порознь легче гаснут языки,—

Так опускалась вьюга огневая;
И прах пылал, как под огнивом трут,
Мучения казнимых удвояя.

И я смотрел, как вечный пляс ведут
Худые руки, стряхивая с тела
То здесь, то там огнепалящий зуд.

Я начал: «Ты, чья сила одолела
Всё, кроме бесов, коими закрыт
Нам доступ был у грозного предела,

Кто это, рослый, хмуро так лежит,
Презрев пожар, палящий отовсюду?
Его и дождь, я вижу, не смягчит».

А тот, поняв, что я дивлюсь, как чуду,
Его гордыне, отвечал, крича:
«Каким я жил, таким и в смерти буду!

Пускай Зевес замучит ковача,
Из чьей руки он взял перун железный,
Чтоб в смертный день меня сразить сплеча,

Или пускай работой бесполезной
Всех в Монджибельской кузне надорвет,
Вопя: «Спасай, спасай, Вулкан любезный!»,

Как он над Флегрой возглашал с высот,
И пусть меня громит грозой всечасной,—
Веселой мести он не обретет!»

Тогда мой вождь воскликнул с силой страстной,
Какой я в нем не слышал никогда:
«О Капаней¹, в гордыне неугасной —

Твоя наитягчайшая беда:
Ты сам себя, в неистовстве великом,
Казнишь жесточе всякого суда».

¹ *Капаней* — один из семи вождей, осаждавших Фивы, бросивший вызов богам и пораженный за это молнией.

И молвил мне, с уже спокойным ликом:
«Он был один из тех семи царей,
Что осаждали Фивы; в буйстве диком,

Гнушался Богом — и не стал смирней;
Как я ему сказал, он по заслугам
Украшен славой дерзостных речей.

Теперь идем, как прежде, друг за другом;
Но не касайся жгучего песка,
А обходи, держась опушки, кругом».

В безмолвье мы дошли до ручейка,
Спешащего из леса быстрым током,
Чья алость мне и до сих пор жутка.

Как Буликаме убегает стоком,
В котором воду грешницы берут,
Так нистекал и он в песке глубоком.

Закраины, что по бокам идут,
И дно его и склоны — камнем стали;
Я понял, что дорога наша — тут.

«Среди всего, что мы с тобой видали
С тех самых пор, как перешли порог,
Открытый всем входящим, ты едва ли

Чудеснее что-либо встретить мог,
Чем эта речка, силой испаренья
Смиряющая всякий огонек».

Так молвил вождь: взыскуя поученья,
Я попросил, чтоб, голоду вослед,
Он мне и пищу дал для утоленья.

«В середине моря,— молвил он в ответ,—
Есть ветхий край, носящий имя Крита,
Под чьим владыкой был безгрешен свет.

Меж прочих гор там Ида знаменита;
Когда-то влагой и листвою блестя,
Теперь она пустынна и забыта.

Ей Рея вверила свое дитя,
Ища ему приюта и опеки
И плачущего шумом защита¹.

В горе стоит великой Старец² некий;
Он к Дамиате обращен спиной
И к Риму, как к зеркалу, поднял веки.

Он золотой сияет головой,
А грудь и руки — серебро литое,
И дальше — медь, дотуда, где раздвой;

Затем — железо донизу простое,
Но глиняная правая плюсна,
И он на ней почил, как на устое.

Вся плоть, от шеи вниз, рассечена,
И капли слез сквозь трещины струятся,
И дно пещеры гложет их волна.

В подземной глубине из них родятся
И Ахерон, и Стикс, и Флегетон;
Потом они сквозь этот сток стремятся,

Чтоб там, внизу, последний минув склон,
Создать Коцит; но умолчу про это;
Ты вскоре сам увидишь тот затон».

Я молвил: «Если из земного света
Досюда эта речка дотекла,
Зачем она от нас таилась где-то?»

И он: «Вся эта впадина кругла;
Хотя и шел ты многими тропами
Все влево, опускаясь в глубь жерла,

¹ В ант. миф. Кроносу, сыну бога неба Урана и богини земли Геи, предсказали, что он будет свергнут одним из своих детей, поэтому он пожирал их сразу после рождения, но последнего ребенка, Зевса, спасла его мать Рея, укрыв на горе Иде.

² У Данте это эмблема человечества, прошедшего через золотой, серебряный, медный и железный века и в данный момент опирающегося на хрупкую глиняную стопу, символизирующую возможную близость конца.

Но полный круг еще не пройден нами;
И если случай новое принес,
То не дивись смущенными очами».

«А Лета где? — вновь задал я вопрос.—
Где Флегетон? Ее ты не отметил,
А тот, ты говоришь, возник из слез».

«Ты правильно спросил,— мой вождь ответил.—
Но в клокотаньи этих алых вод
Одну разгадку ты воочью встретил.

Придешь и к Лете, но она течет
Там, где душа восходит к омовенью,
Когда вина избытая спадет».

Потом сказал: «Теперь мы с этой сенью
Простимся; следуй мне и след храни:
Тропа идет вдоль русла, по теченью,

Где влажный воздух гасит все огни».

ПЕСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ

Вот мы идем вдоль каменного края;
А над ручьем обильный пар встает,
От пламени плотину избавляя.

Как у фламандцев выстроен оплот
Меж Бруджей и Гвидзантом, чтоб заране
Предотвратить напор могучих вод,

И как вдоль Brentы строят падуане,
Чтоб замок и посад был защищен,
Пока не дышит зной на Кьярентане,

Так сделаны и эти, с двух сторон,
Хоть и не столь высоко и широко
Их создал мастер, кто бы ни был он.

Уже от роши были мы далеко,
И сколько б я ни обращался раз,
Я к ней напрасно устремлял бы око.

Навстречу нам шли тени и на нас
Смотрели снизу, глаз сощурия в шелку,
Как в новолунье люди, в поздний час,

Друг друга озирают втихомолку;
И каждый бровью пристально повел,
Как старый швец, вдевая нить в иголку.

Одним из тех, кто, так взирая, шел,
Я был опознан. Вскрикнув: «Что за диво!» —
Он ухватил меня за мой подол.

Я в опаленный лик взглянул пытливо,
Когда рукой он взялся за кайму,
И темный образ явственно и живо

Себя открыл рассудку моему;
Склоняясь к лицу, где пламень выжег пятна:
«Вы, сэръ Брунетто?» — молвил я ему.

И он: «Мой сын, тебе не неприятно,
Чтобы, покинув остальных, с тобой
Латино¹ чуточку прошел обратно?»

Я отвечал: «Прошу вас всей душой;
А то, хотите, я присяду с вами,
Когда на то согласен спутник мой».

И он: «Мой сын, кто из казнимых с нами
Помедлит миг, потом лежит сто лет,
Не шевелясь, бичуемый огнями.

Ступай вперед, я — низом, вам вослед;
Потом вернусь к дружине, вопиющей
О вечности своих великих бед».

Я не посмел идти равниной жгушей
Бок о бок с ним; но головой поник,
Как человек, почтительно идущий.

¹ *Латино* (или *Латини*) — ученый, поэт и гос. деятель, автор обширной энциклопедии «Книга о сокровище», ниже названной *Кладом*, и дидактич. поэмы «Малое сокровище». Далее упомянут *Присциан*, знаменитый лат. грамматик VI в., и др.

Он начал: «Что за рок тебя подвиг
Спуститься раньше смерти в царство это?
И кто, скажи мне, этот проводник?»

«Там, наверху,— я молвил,— в мире света,
В долине заблудился я одной,
Не завершив мои земные лета.

Вчера лишь утром к ней я стал спиной,
Но отступил; тогда его я встретил,
И вот он здесь ведет меня домой».

«Звезде твоей доверься,— он ответил,—
И в пристань славы вступит твой челнок,
Коль в милой жизни верно я приметил.

И если б я не умер в ранний срок,
То, видя путь твой, небесам угодный,
В твоих делах тебе бы я помог.

Но этот злой народ неблагородный,
Пришедший древле с Фьезольских высот
И до сих пор горе и камню сродный,

За всё добро врагом тебя сочтет:
Среди худой рябины не пристало
Смоковнице растить свой нежный плод.

Слепыми их прозвали изначала;
Завистливый, надменный, жалкий люд;
Общенье с ним тебя бы запятнало.

В обоих станах, увидав твой труд,
Тебя взалкают; только по-пустому,
И клювы их травы не защипнут.

Пусть фьезольские твари, как солому,
Пожрут себя, не трогая росток,
Коль в их навозе место есть такому,

Который семя чистое сберег
Тех римлян, что когда-то основались
В гнездилище неправды и тревог».

«Когда бы все мои мольбы свершались,—
Отвечил я,— ваш день бы не угас,
И вы с людьми еще бы не расстались.

Во мне живет, и горек мне сейчас,
Ваш отчий образ, милый и сердечный,
Того, кто наставлял меня не раз,

Как человек восходит к жизни вечной;
И долг пред вами я, в свою чреду,
Отмечу словом в жизни быстротечной.

Я вашу речь запечатлел и жду,
Чтоб с ней другие записи сличила
Та, кто умеет, если к ней взойду.

Но только знайте: лишь бы не корила
Мне душу совесть, я в сужденный миг
Готов на всё, что предрекли светила.

К таким посулам я уже привык;
Так пусть Фортуна колесо вращает,
Как ей угодно, и киркой — мужик!»

Тут мой учитель на меня взирает
Чрез правое плечо и говорит:
«Разумно слышит тот, кто примечает».

Меж тем и сэр Брунетто не молчит
На мой вопрос, кто из его собратий
Особенно высок и знаменит.

Он молвил так: «Иных отметить кстатн;
Об остальных похвально умолчать,
Да и не счесть такой обильной рати.

То люди церкви, лучшая их знать,
Ученые, известные всем странам;
Единая пятнает их печать.

В том скорбном сонме — вместе с Присцианом
Аккурсиев Франциск; и я готов
Сказать, коль хочешь, и о том поганом,

Который послан был рабом рабов
От Арно к Баккильоне, где и скинул
Плотской, к дурному влекшийся, покров.

Еще других я назвал бы; но минул
Недолгий срок беседы и пути:
Песок, я вижу, новой пылью хлынул;

От этих встречных должен я уйти.
Храни мой Клад, я в нем живым остался;
Прошу тебя лишь это соблюсти»,

Он обернулся и бегом помчался,
Как те, кто под Вероною бежит
К зеленому сукну¹, причем казался

Тем, чья победа, а не тем, чей стыд.

ПЕСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ

Уже вблизи я слышал гул тяжелый
Воды, спадавшей в следующий круг,
Как если бы гудели в ульях пчелы,—

Когда три тени отделились вдруг,
Метнувшись к нам, от шедшей вдоль потока
Толпы, гонимой ливнем жгучих мук.

Спеша, они зывали издалека:
«Постой! Мы по одежде признаем,
Что ты пришел из города порока!»

О, сколько язв, изглоданных огнем,
Являл очам их облик несчастливый!
Мне больно даже вспоминать о нем.

Мой вождь сказал, услышав их призывы
И обратясь ко мне: «Повремени.
Нам нужно показать, что мы учтивы.

Я бы сказал, когда бы не огни,
Разящие, как стрелы, в этом зное,
Что должен ты спешить, а не они».

¹ Около Вероны раз в год устраивались состязания в беге, победитель получал отрез зеленого сукна.

Чуть мы остановились, те бывшее
Возобновили пенье; к нам домчась,
Они кольцом забегали все трое.

Как голые атлеты, умастясь.
Друг против друга кружат по арене,
Чтобы потом схватиться, изловчась,

Так возле нас кружили эти тени,
Лицом ко мне, вращая шею вспять,
Когда вперед стремились их колени.

«Увидев эту взрыхленную гладь,—
Воззвал один,— и облик наш кровавый,
Ты нас, просящих, должен презирать;

Но преклонись, во имя нашей славы,
Сказать нам, кто ты, адскою тропой
Идущий мимо нас, живой и здравый!

Вот этот, чьи следы я мну стопой,—
Хоть голый он и струпьями изрытый,
Был выше, чем ты думаешь, судьбой.

Он внуком был Гвальдрады именитой
И звался Гвидо Гверра¹, в мире том
Мечом и разуменьем знаменитый.

Тот, пыль толкущий за моим плечом,—
Теггьяйо Альдобранди, чьи заслуги
Великим должно понимать добром.

И я, страдалец этой жгучей вьюги,
Я, Рустикуччи, распят здесь, вина
В моих злосчастьях нрав моей супруги».

Будь у меня защита от огня,
Я бросился бы к ним с тропы прибрежной,
И мой мудрец одобрил бы меня;

Но, уstraшенный болью неизбежной,
Я побоялся кинуться к теням
И к сердцу их прижать с приязнью нежной.

¹ Гвидо Гверра, а также Альдобранди, Рустикуччи и Борсиере — прославившиеся в середине XIII в. флорентийцы.

Потом я начал: «Не презренье к вам,
А скорбь о вашем горестном уделе
Вошла мне в душу, чтоб остаться там,

Когда мой вождь, завидев вас отселе,
Сказал слова, явившие сполна,
Что вы такие, как и есть на деле.

Отчизна с вами у меня одна;
И я любил и почитал измлада
Ваш громкий труд и ваши имена.

Отвергнув желчь, взыскую яблوك сада,
Обещанного мне вождем моим;
Но прежде к средоточью пасть мне надо».

«Да будешь долго ты руководим,—
Ответил он,— душою в теле здравом;
Да светит слава по следам твоим!

Скажи: любовь к добру и к честным нравам
Еще живет ли в городе у нас,
Иль разбрелись давно по всем заставам?

Гульельмо Борсиере, здесь как раз
Теперь казнимый,— вон он там, в пустыне,—
Принес с собой нерадостный рассказ».

«Ты предалась беспутству и гордыне,
Пришельцев и наживу обласкав,
Флоренция, тоскующая ныне!»

Так я вскричал, лицо мое подняв;
Они переглянулись, вняв ответу,
Подобно тем, кто слышит, что был прав.

«Когда все просьбы так легко, как эту,
Ты утоляешь,— отклик их гласил,—
Счастливец ты, дарящий правду свету!

Да узришь снова красоту светил,
Простясь с незаренными местами!
Тогда, с отрадой вспомянув: «Я был»,

Скажи другим, что ты видался с нами!»
И тут они помчались вдоль пути,
И ноги их казались мне крылами.

Нельзя «аминь» быстрее произнести,
Чем их сокрыли дали кругозора;
И мой учитель порешил идти.

Я двинулся вослед за ним; и скоро
Послышался так близко грохот вод,
Что заглушил бы звуки разговора.

Как та река, которая свой ход
От Монте-Везо в сторону рассвета
По Апеннинам первая ведет,

Зовясь в своем верховье Аквакета,
Чтоб устремиться к низменной стране
И у Форли утратить имя это,

И гроыхает вниз по крутизне,
К Сан-Бенедетто Горному спадая,
Где тысяча вместилась бы вполне,—

Так, рушась вглубь с обрывистого края,
Мы слышали, багровый вал гремит,
Мгновенной болью ухо поражая.

Стан у меня веревкой был обвит;
Я думал ею рысь поймать когда-то,
Которой мех так весело блестит.

Я снял ее и, повинувась свято,
Вручил ее поэту моему,
Смотав плотней для лучшего обхвата.

Он, боком став и так, чтобы ему
Не зацепить за выступы обрыва,
Швырнул ее в зияющую тьму.

«На странный знак не странное ли диво,—
Сказал я втайне,— явит глубина,
Раз и учитель смотрит так пытливо?»

Увы, какая сдержанность нужна
Близ тех, кто судит не одни деянья,
Но видит самый разум наш до дна!

«Сейчас всплывет, — сказал наставник знанья, —
То, что я жду и сам ты смутно ждешь;
Сейчас твой взор достигнет созерцанья».

Мы истину, похожую на ложь,
Должны хранить сомкнутыми устами,
Иначе срам безвинно наживешь;

Но здесь молчать я не могу; стихами
Моей Комедии клянусь, о чтец, —
И милость к ней да не пройдет с годами, —

Я видел — к нам из бездны, как пловец,
Взмывал какой-то образ возраставший,
Чудесный и для дерзостных сердец;

Так снизу возвращается нырявший,
Который якорь выпростать помог,
В камнях иль в чем-нибудь другом застрявший,

И правит станом и толчками ног.

ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ

«Вот острохвостый зверь ¹, сверлящий горы,
Пред кем ничтожны и стена, и меч;
Вот, кто земные отравил просторы».

Такую мой вожатый начал речь,
Рукою подзывая великана
Близ пройденного мрамора возлечь.

И образ омерзительный обмана,
Подплыв, но хвост к себе не подобрал,
Припал на берег всей громадой стана.

¹ Речь идет о *ГерIONE* — страже восьмого круга Ада, где караются обманщики; в ант. миф. это трехтелый и трехглавый великан, которого убил Геракл,

Он ясен был лицом и величав
Спокойством черт приветливых и чистых,
Но остальной змеиным был состав.

Две лапы, волосатых и когтистых;
Спина его, и брюхо, и бока —
В узоре пятен и узлов цветистых.

Пестрей основы и пестрей утка
Ни турок, ни татарин не сплетает;
Хитрей Арахна ¹ не ткала платка.

Как лодка на причале отдыхает,
Наполовину погрузясь в волну;
Как там, где алчный немец обитает,

Садится бобр вести свою войну, —
Так лег и гад на камень оголенный,
Сжимающий песчаную страну.

Хвост шевелился в пустоте бездонной,
Крутя торчком отравленный развил,
Как жало скорпиона заостренный.

«Теперь нам нужно, — вождь проговорил, —
Свернуть с дороги, поступь отклоняя
Туда, где гнусный зверь на камни всплыл».

Так мы спустились вправо и, вдоль края,
Пространство десяти шагов прошли,
Песка и жгучих хлопьев избегая.

Приблизясь, я увидел невдали
Толпу людей, которая сидела
Близ пропасти в сжигающей пыли.

И мне мой вождь: «Чтоб этот круг всецело
Исследовать во всех его частях,
Ступай, взгляни, в чем разность их удела.

Но будь короче там в твоих речах;
А я поговорю с поганым дивом,
Чтоб нам спуститься на его плечах».

¹ *Арахна* — в ант. миф. искусная мастерица, состязавшаяся с богиней Афиной в ткачестве и за это превращенная ею в паука.

И я пошел еще раз над обрывом,
Каймой седьмого круга, одинок,
К толпе, сидевшей в горе молчаливом.

Из глаз у них стремился скорбный ток;
Они всё время то огонь летучий
Руками отстраняли, то песок.

Так чешутся собаки в полдень жгучий,
Обороняясь лапой или ртом
От блох, слепней и мух, насевших кучей.

Я всматривался в лица их кругом,
В которые огонь вонзает жала;
Но вид их мне казался незнаком.

У каждого на грудь мощна свисала,
Имевшая особый знак и цвет,
И очи им как будто услаждала.

Так, на одном я увидел кисет,
Где в желтом поле был рисунок синий,
Подобный льву, вздыбившему хребет.

А на другом из мучимых пустыней
Мешочек был, подобно крови, ал
И с белою, как молоко, гусыней.

Один, чей белый кошелек являл
Свинью, чреватую и голубую,
Сказал мне: «Ты зачем сюда попал?»

Ступай себе, раз носишь плоть живую,
И знай, что Витальяно, мой земляк,
Придет и сядет от меня ошую.

Меж этих флорентийцев я чужак,
Я падуанец; мне их голос грубый
Все уши протрубил: «Где наш вожак,

С тремя козлами, наш герой сугубый?»
Он высунул язык и скорчил рот,
Как бык, когда облизывает губы.

И я, боясь, не сердится ли тот,
Кто мне велел недолго оставаться,
Покинул истомившийся народ.

Тем временем мой вождь успел взобраться
Дурному зверю на спину — и мне
Промолвил так: «Теперь пора мужаться!

Вот, как отсюда сходят к глубине.
Сядь спереди, я буду сзади, рядом,
Чтоб хвост его безвреден был вполне».

Как человек, уже объятый хладом
Пред лихорадкой, с синевой в ногтях,
Дрожит, чуть только тень завидит взглядом,—

Так я смутился при его словах;
Но как слуга пред смелым господином,
Стыдом язвимый, я откинул страх.

Я поместился на хребте зверином;
Хотел промолвить: «Обними меня»,—
Но голоса я не был властелином.

Тот, кто и прежде был моя броня,
И без того поняв мою тревогу,
Меня руками обхватил, храня,

И молвил: «Герион, теперь в дорогу!
Смотри, о новой ноше не забудь:
Ровней кружи и падай понемногу».

Как лодка с места трогается в путь
Вперед кормой, так он оттуда снялся
И, ощутив простор, направил грудь

Туда, где хвост дотоле извивался;
Потом, как угорь, выпрямился он
И, загребая лапами, помчался.

Не больше был испуган Фаэтон,
Бросая вожжи, коими задетый
Небесный свод доныне опален,

Или Икар¹, почуя воск согретый,
От перьев обнажавший рамена,
И слыша зов отца: «О сын мой, где ты?» —

Чем я, увидев, что кругом одна
Пустая бездна воздуха чернеет
И только зверя высится спина.

А он всё вглубь и вглубь неспешно реет,
Но это мне лишь потому вдогад,
Что ветер мне в лицо и снизу веет.

Уже я справа слышал водопад,
Грохочущий под нами, и пугливо
Склонил над бездной голову и взгляд;

Но пуще оробел, внизу обрыва
Увидев свет огней и слыша крик,
И отшатнулся, ежась боязливо.

И только тут я в первый раз постиг
Спуск и круженье, видя муку злую
Со всех сторон всё ближе каждый миг.

Как сокол, мощь утратив боевую,
И пищу и вабило тщетно ждав,—
Так что сокольник скажет: «Эх, впустую!» —

На место взлета клонится, устав,
И, опоясав сто кругов сначала,
Вдали от всех садится, осерчав,—

Так Герион осел на дно провала,
Там, где крутая кверху шла скала,
И, чуть с него обуза наша спала,

Взмыл и исчез, как с тетивы стрела.

¹ *Фазгон* — в ант. миф. сын Феба-Аполлона, бога солнца, взялся править отцовской колесницей, не сдержал коней, опалил небо и землю, за что Зевс поразил его молнией; *Икар* — сын художника Дедала, смастерившего для себя и сына скрепленные воском крылья, но Икар взлетел слишком высоко, крылья растаяли под лучами солнца, и он упал в море.

ПЕСНЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Есть место в преисподней, Злые Щели,
Сплошь каменное, цвета чугуна,
Как кручи, что вокруг отяготели.

Посреди зияет глубина
Широкого и темного колодца,
О коем дальше расскажу сполна.

А тот уступ, который остается,
Кольцом меж бездной и скалой лежит,
И десять впадин в нем распознается.

Каков у местности бывает вид,
Где замок, для осады укрепленный,
Снаружи стен рядами рвов обвит,

Таков и здесь был дол изборожденный;
И как от самых крепостных ворот
Ведут мосты на берег отдаленный,

Так от подножья каменных высот
Шли гребни скал чрез рвы и перекаты,
Чтоб у колодца оборвать свой ход.

Здесь опустился Герийон хвостатый
И сбросил нас обоих со спины;
И влево путь направил мой вожатый.

Я шел, и справа были мне видны
Уже другая скорбь и казнь другая,
Какие в первом рву заключены.

Там в два ряда текла толпа нагая;
Ближайший ряд к нам направлял стопы,
А дальний — с нами, но крупней шагая.

Так римляне, чтобы наплыв толпы,
В год юбилея, не привел к затору,
Разгородили мост на две тропы,

И по одной народ идет к собору,
Взгляд обращая к замковой стене,
А по другой идут навстречу, в гору.

То здесь, то там в кремнистой глубине
Виднелся бес рогатый, взмахом плети
Жестоко бивший грешных по спине.

О, как проворно им удары эти
Вздымали пятки! Ни один не ждал,
Пока второй обрушится иль третий.

Пока я шел вперед, мой взор упал
На одного; и я воскликнул: «Где-то
Его лицом я взгляд уже питал».

Я стал, стараясь распознать, кто это,
И добрый вождь, остановясь со мной,
Нагнать его мне не чинил запрета.

Бичуемый, скрывая облик свой,
Склонил чело; но труд пропал впустую;
Я молвил: «Ты, с поникшей головой,

Когда наружность носишь не чужую,—
Венедико Каччанемико¹. Чем
Ты заслужил приправу столь крутую?»

И он: «Я не ответил бы совсем,
Но мне твоя прямая речь велела
Припомнить мир старинный. Я был тем,

Кто постарался, чтоб Гизолабелла
Послушалась маркиза, хоть и врут
Различное насчет срамного дела.

Не первый я болонец плачу тут;
Их понабилась здесь такая кипа,
Что столько языков не наберут

Меж Савеной и Рено молвить *sira*;
Немудрено: мы с алчностью своей
До смертного не расстаемся хрипа».

Тут некий бес, среди его речей,
Стегнул его хлыстом и огрызнулся:
«Ну, сводник! Здесь не бабы, поживей!»

¹ *Венедико Каччанемико* — глава болонск. гвельфов, продал свою сестру Гизолабеллу маркизу Феррары.

Я к моему вожатому вернулся:
Пройдя немного, мы пришли туда,
Где длинный гребень от скалы тянулся.

Мы на него взобрались без труда
И с этим истязуемым народом,
Направо взяв, расстались навсегда.

И там, где гребень нависает сводом,
Чтоб дать толпе бичуемой пройти,—
Мой вождь сказал: «Постой — и мимоходом

Свои глаза на этих обрати,
Которых ты еще не видел лица,
Пока им было с нами по пути».

Под древний мост спешила вереница
Второго ряда, двигаясь на нас,
Стегаемая, как и та станица.

И вождь, не ждав вопроса этот раз,
Сказал: «Взгляни вот на того, большого:
Ему и боль не увлажняет глаз.

Как полон он величества былого!
То мудрый и отважный властелин,
Ясон¹, руна стяжатель золотого.

Приплыв на Лемнос среди морских пучин,
Где женщины, отринув всё, что свято,
Предали смерти всех своих мужчин,

Он обманул, украсив речь богато,
Младую Гипсипилу, в свой черед
Товарок обманувшую когда-то.

Ее он бросил там понесшей плод;
За это он так и бичуем злобно,
И также за Медею казнь несет.

¹ Ясон — в ант. миф. предводитель аргонавтов, по пути в Колхиду приплыл на о. Лемнос, где обольстил царицу *Гипсипилу*, затем бросил ее ради царевны *Медеи*, к которой тоже охладел, полюбив другую.

С ним те, кто обманул ему подобно;
Про первый ров и тех, кто стиснут в нем,
Нет нужды ведать более подробно».

Достигнув места, где тропа крестом
Пересекает грань второго вала,
Чтоб дальше снова выгнуться мостом,

Мы слышали, как в ближнем рву визжала
И рылом хрюкала толпа людей
И там себя ладонями хлестала.

Откосы покрывал тягучий клей
От снизу подымавшегося чада,
Несносного для глаз и для ноздрей.

Дно скрыто глубоко внизу, и надо,
Дабы увидеть, что такое там,
Взойти на мост, где есть простор для взгляда.

Туда взошли мы, и моим глазам
Предстали толпы влипших в кал зловонный,
Как будто взятый из отхожих ям.

Там был один, так тускло отягченный
Дерьмом, что вряд ли кто бы отгадал,
Мирянин это или постриженный.

Он крикнул мне: «Ты что облюбовал
Меня из всех, кто вязнет в этой прели?»
И я в ответ: «Ведь я тебя встречал,

И кудри у тебя тогда блестели;
Я и смотрю, что тут недалеке
Погряз Алессио Интерминелли».

И он, себя темяша по башке:
«Сюда попал я из-за лъстивой речи,
Которую носил на языке».

Потом мой вождь: «Нагни немного плечи,—
Промолвил мне,— и наклонись вперед,
И ты увидишь: тут вот, недалече

Себя ногтями грязными скребет
Косматая и гнусная паскуда
И то присядет, то опять вскочнет.

Файда ¹ эта, жившая средь блуда,
Сказала как-то на вопрос дружка:
«Ты мной довольна?» — «Нет, ты просто чудо!»

Но мы наш взгляд насытили пока».

ПЕСНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

О Симон-волхв ², о присных сонм злосчастный,
Вы, что святыню Божию, добра
Невесту чистую, в алчбе ужасной

Растлили ради злата и сребра,
Теперь о вас, казнимых в третьей щели,
Звенеть трубе назначена пора!

Уже над новым рвом мы одолели
Горбатый мост и прямо с высоты
На середину впадины смотрели.

О Высший Разум, как искусен ты
Горé, и долу, и в жерле проклятом,
И сколько покажешь правоты!

Повсюду, и вдоль русла, и по скатам,
Я увидал неисчислимый ряд
Округлых скважин в камне сероватом.

Они совсем такие же на взгляд,
Как те, в моем прекрасном Сан-Джованни,
Где таинство крещения творят.

Я, отрока спасая от страданий,
В недавний год одну из них разбил:
И вот печать, в защиту от шептаний!

¹ Файда — героиня комедии Теренция «Евнух», афин. гетера.

² Симон-волхв — символ святокупца, т. е. того, кто продает или покупает церков. должности.

Из каждой ямы грешник шевелил
Торчащими по голени ногами,
А туловищем в камень уходил.

У всех огонь змеился над ступнями;
Все так брыкались, что крепчайший жгут
Порвался бы, не совладав с толчками.

Как если нечто маслястое жгут
И лишь поверхность пламенем задета,—
Так он от пят к ногтям скользил и тут.

«Учитель,— молвил я,— скажи, кто это,
Что корчится всех больше и оброс
Огнем такого пурпурного цвета?»

И он мне: «Хочешь, чтоб тебя я снес
Вниз, той грядой, которая положе?
Он сам тебе ответит на вопрос».

И я: «Что хочешь ты, мне мило тоже;
Ты знаешь всё, хотя бы я молчал;
Ты — господин, чья власть мне всех дороже».

Тогда мы вышли на четвертый вал
И, влево взяв, спустились в крутоскатый
И дырами зияющий провал.

Меня не раньше отстранил вожатый
От ребр своих, чем подойдя к тому,
Кто так ногами плакал, в яме сжатый¹.

«Кто б ни был ты, поверженный во тьму
Вниз головой и вкопанный, как свая,
Ответь, коль можешь»,— молвил я ему.

Так духовник стоит, исповедая
Казнимого, который вновь зовет
Из-под земли, кончину отдаляя.

¹ Речь идет о папе Николае III (с 1277 по 1280); далее описывается, что вслед за ним в Ад придет папа Бонифаций VIII, добывший «лучшую из жен (т. е. церковь) стезей обмана», а затем — папа Климент V, при котором особенно процветало святокупство; *Иасон* — иуд. первосвященник, купивший этот сан у ассир. царя.

«Как, Бонифаций,— отозвался тот,—
Ты здесь уже, ты здесь уже так рано?
На много лет, однако, список врет.

Иль ты устал от роскоши и сана,
Из-за которых лучшую средь жен,
На муку ей, добыл стезей обмана?»

Я был как тот, кто словно пристыжен,
Когда ему немедля возразили,
А он не понял и стоит, смущен.

«Скажи ему,— промолвил мне Вергилий: —
«Нет, я не тот, не тот, кого ты ждешь».
И я ответил так, как мне внушили.

Тут грешника заколотила дрожь,
И вздох его и скорбный стон раздался:
«Тогда зачем же ты меня зовешь?

Когда, чтобы услышать, как я звался,
Ты одолеть решился этот скат,
Знай: я великой ризой облакался.

Воистину медведицей зачат,
Радея медвежатам, я так жадно
Копил добро, что сам в кошель зажат.

Там, подо мной, набилось их изрядно,
Церковных торгашей, моих предтеч,
Расселинами стиснутых нещадно.

И мне придется в глубине залечь,
Сменившись тем, кого я по догадке
Сейчас назвал, ведя с тобою речь.

Но я здесь дольше обжигаю пятки,
И срок ему торчать вот так стремглав,
Сравнительно со мной, назначен краткий;

Затем что вслед, всех в скверне обогнав,
Придет с заката пастырь без закона,
И, нас покрыв, он будет только прав.

Как, в Маккавейских книгах, Иасона
Лелеял царь, так и к нему щедро
Французская окажется корона».

Хоть речь моя едва ль была мудра,
Но я слова привел к такому строю:
«Скажи: каких сокровищ от Петра

Ждал наш Господь, прельщен ли был казною,
Когда ключи во власть ему вверял?
Он молвил лишь одно: «Иди за мною».

Петру и прочим платы не вручал
Матвей, когда то место опустело,
Которое отпавший потерял.

Торчи же здесь; ты пострадал за дело;
И крепче деньги грешные храни,
С которыми на Карла шел так смело.

И если бы я сердцем искони,
И даже здесь, не чтил ключей верховных,
Тебе врученных в радостные дни,

Я бы в речах излился громословных;
Вы алчностью растлили христиан,
Топча благих и вознося греховных.

Вас, пастырей, провидел Иоанн
В той, что воссела на водах со славой
И деет блуд с царями многих стран;

В той, что на свет родилась семиглавой,
Десятирогой и хранила нас,
Пока ее супруг был жизни правой.

Сребро и золото — ныне бог для вас;
И даже те, кто молится кумиру,
Чтят одного, вы чтите сто раз.

О Константин, каким злосчастьем миру
Не к истине приход твой был чреват,
А этот дар твой пастырю и клиру!»

Пока я пел ему на этот лад,
Он, совестью иль гневом уязвленный,
Не унимал лягающихся пят.

А вождь глядел с улыбкой благосклонной,
Как бы довольный тем, что так правдив
Звук этой речи, мной произнесенной.

Обеими руками подхватив,
Меня к груди прижал он и початым
Уже путем вернулся на обрыв;

Не утомленный бременем подъятым,
На самую дугу меня он взнес,
Четвертый вал смыкающую с пятым,

И бережно поставил на утес,
Тем бережней, что дикая стремнина
Была бы трудной тропкой и для коз;

Здесь новая открылась мне ложбина.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТАЯ

О новой муке повествую ныне
В двадцатой песни первой из канцон,
Которая о гибнущих в пучине.

Уже смотреть я был расположен
В провал, раскрытый предо мной впервые,
Который скорбным плачем орошен;

И видел в круглом рву толпы немые,
Свершавшие в слезах неспешный путь,
Как в этом мире водят литании.

Когда я взору дал по ним скользнуть,
То каждый оказался странно скручен
В том месте, где к лицу подходит грудь;

Челом к спине повернут и беззвучен,
Он, пятясь задом, направлял свой шаг
И видеть прямо был навек отучен.

Возможно, что кому-нибудь столбняк,
Как этим, и сводил всё тело разом,—
Не знаю, но навряд ли это так.

Читатель,— и Господь моим рассказом
Тебе урок да преподаст благой,—
Помысли, мог ли я невлажным глазом

Взирать вблизи на образ наш земной,
Так свернутый, что плач очей печальный
Меж ягодиц струился бороздой.

Я плакал, опершись на выступ скальный.
«Ужель твое безумье таково? —
Промолвил мне мой спутник достохвальный.—

Здесь жив к добру тот, в ком оно мертво.
Не те ли всех тяжеле виноваты,
Кто ропщет, если судит божество?

Взгляни, взгляни, вот он, землю взятый,
Пожранный ею на глазах фивян,
Когда они воскликнули: «Куда ты,

Амфиарай¹? Что бросил ратный стан?»,
А он всё вглубь свергался без оглядки,
Пока Миносом не был обуздан.

Ты видишь — в грудь он превратил лопатки:
За то, что взором слишком вдаль проник,
Он смотрит взад, стремясь туда, где пятки.

А вот Тиресий, изменивший лик,
Когда, в жену из мужа превращенный,
Всею естеством преобразился вмиг;

И лишь потом, змеинный клуб сплетенный
Ударив вновь, он стал таким, как был,
В мужские перья снова облаченный.

¹ *Амфиарай* — в ант. миф. царь и прорицатель, один из семи вождей, осаждавших Фивы, низринувшийся вместе с боевой колесницей в преисподнюю. Далее упомин. фиван, прорицатель *Тиресий* и этрус. гадатель *Арунс*.

А следом Арунс надвигает тыл;
Там, где над Луни громоздятся горы
И где каррарец пажити взрыхлил,

Он жил в пещере мраморной и взоры
Свободно и в ночные небеса,
И на морские устремлял просторы.

А та, чья гривой падает коса,
Покров грудям незримым образуя,
Как прочие незримы волоса,

Была Манто; из края в край кочуя,
Она пришла в родные мне места;
И вот об этом рассказать хочу я.

Когда она осталась сирота
И принял рабство Ваххов град злосчастный,
Она скиталась долгие лета.

Там, наверху, в Италии прекрасной,
У гор, замкнувших Манью рубежом
Вблизи Тиралли, спит Бенако ясный.

Ключи, которых сотни мы начтем
Меж Валькамоники и Гардой, склоны
Пеннинских Альп омыв, стихают в нем.

Там место есть, где пастыри Вероны,
И Брешии, и Тридента, путь свершив,
Благословить могли бы люд крещеный.

Оплот Пескьеры, мощен и красив,
Стоит, грозя бергамцам и брешнянам,
Там, где низиной окружен залив.

Всё то, что в лоне уместить песчаном
Не мог Бенако,— устремясь сюда,
Течет рекой по травяным полянам.

Начав бежать из озера, вода
Зовется Минчо, чтобы у Говерно
В потоке По исчезнуть навсегда.

Встречая падь, на полпути примерно,
Она стоит, разлившись в топкий пруд,
А летом чахнет, но и губит верно.

Безжалостная дева, идя тут,
Среди болота сушу присмотрела,
Нагой и невозделанный приют.

И здесь она, чуждаясь всех, осела
Со слугами, гаданьям предана,
И здесь рассталась с оболочкой тела.

Рассеянные кругом племена
Потом сюда стянулись, ибо знали,
Что эта суша заводью сильна.

Над мертвой костью город основали
И, по избравшей древле этот дол,
Без волхвований Мантуей назвали.

Он многолюдней прежде был и цвел,
Пока недалновидных Касалоди
Лукавый Пинамонте ¹ не провел.

И если ты услышал бы в народе
Не эту быль о родине моей,
Знай — это ложь и с истиной в разброде».

И я: «Учитель, повестью твоей
Я убежден и верю нерушимо.
Мне хладный уголь — речь других людей.

Но молви мне: среди идущих мимо
Есть кто-нибудь, кто взор бы твой привлек?
Во мне лишь этим сердцем одержимо».

И он: «Вот тот, чья борода от щек
Вниз по спине легла на смуглом теле,—
В те дни, когда у греков ты бы мог

¹ *Пинамонте* — знатный падуанец, который коварным путем низложил владевшего Мантуей графа *Касалоди*, истребил его родню и подчинил город своей власти. Далее упомин. жрецы *Эврипил* и *Калхант*, указавшие день, благоприятный для отплытия греч. войск к берегам Трои, а также астрологи и предсказатели XIII в. *Скотто*, *Бонатти* и *Азденте*.

Найти мужчину только в колыбели,
Был вешуном; в Авлиде сечь канат
Он и Калхант совместно повелели.

То Эврипил; и про него звучат
Стихи моей трагедии высокой.
Тебе ль не знать? Ты помнишь всю подряд.

А следующий, этот худобокой,
Звался Микеле Скотто и большим
В волшебных плутнях почитался докой.

А вот Бонатти; вот Азденте с ним;
Жалеет он о коже и о шиле,
Да опоздал с раскаяньем своим.

Вот грешницы, которые забыли
Иглу, челнок и прялку, ворожа;
Варили травы, куколок лепили.

Но нам пора; коснулся рубежа
Двух полусфер и за Севильей в волны
Нисходит Каин, хворост свой держа,

А месяц был уж прошлой ночью полный:
Ты помнишь сам, как в глубине лесной
Был благовторен свет его безмолвный».

Так, на ходу, он говорил со мной.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Так с моста на мост, говоря немало
Стороннего Комедии моей,
Мы перешли, чтоб с кручи перевала

Увидеть новый росщеп Злых Щелей
И новые напрасные печали;
Он вскрылся, чуден чернотой своей.

И как в венецианском арсенале
Кипит зимой тягучая смола,
Чтоб мазать струги, те, что обветшали,

И все справляют зимние дела:
Тот ладит весла, это забивает
Щель в кузове, которая текла;

Кто чинит нос, а кто корму клепает;
Кто трудится, чтоб сделать новый струг;
Кто снасти вьет, кто паруса платает,—

Так, силой не огня, но Божьих рук,
Кипела подо мной смола густая,
На скосы налипавшая вокруг.

Я видел лишь ее, что в ней — не зная,
Когда она вздымала пузыри,
То пучась вся, то плотно оседая.

Я силился увидеть, что́ внутри,
Как вдруг мой вождь меня рукой хранящей
Привлек к себе, сказав: «Смотри, смотри!»

Оборотясь, как тот, кто от грозящей
Ему беды отвести не может глаз,
И обессилен робостью томящей,

И убегает и глядит зараз,—
Я увидал, как некий дьявол черный
Вверх по крутой тропе бежит на нас.

О, что за облик он имел злоторный!
И до чего казался мне жесток,
Раскинув крылья и в ступнях проворный!

Он грешника накинул, как мешок,
На острое плечо и мчал на скалы,
Держа его за сухожилья ног.

Взбежав на мост, сказал: «Эй, Загребалы,
Святая Дзита шлет вам старшину!
Кунайте! Выбор в городе немалый,

Я к ним еще разочек загляну.
Там лишь Бонтуро¹ не живет на взятки,
Там «нет» на «да» меняют за казну».

¹ *Бонтуро* — влиятельнейший в г. Лукке человек и величайший взяточник.

Швырнув его, помчался без оглядки
Вниз со скалы; и пес таким рывком
Не кинется вцепиться вору в пятки.

Тот канул, всплыл с измазанным лицом,
Но бесы закричали из-под моста:
«Святого Лика мы не признаем!

И тут не Серкьо, плавают не просто!
Когда не хочешь нашего крюка,
Ныряй назад в смолу». И зубьев до ста

Вонзились тут же грешнику в бока.
«Пляши, но не показывай макушки;
А можешь, так плутуй исподтишка».

Так повара следят, чтобы их служки
Топили мясо вилками в котле
И не давали плавать по верхушке.

Учитель молвил: «Чтобы на скале
Остаться незамеченным, укройся
За выступом и припади к земле.

А для меня опасности не бойся:
Я здесь не первый раз, и я привык
К подобным стычкам, ты не беспокойся».

Покинул мост мой добрый проводник;
Когда он шел шестой надбрежной кручей,
Он должен был являть спокойный лик.

С такой же точно яростью кипучей,
Как псы бросаются на бедняка,
Который просит всюду, где есть случай,

Они рванули прочь из-под мостка
И стали наступать, грозя крюками;
Но он вскричал: «Не будьте злы пока

И подождите рвать меня зубцами!
С одним из вас я речь вести хочу,
А там, как быть со мной, решайте сами».

Все закричали: «Выйти Хвостачу!»
Один пошел, а прочие глядели;
Он шел, ворча: «Чего я хлопочу?»

Мой вождь сказал: «Скажи, Хвостач, ужели,
Нетронут вашей злобой, я бы мог
Прийти сюда, когда б не так хотели

Господня воля и содружный рок?
Посторонись; мне небо указало
Пройти с другим сквозь этот дикий лог».

Тогда гордыня в бесе так упала,
Что свой багор он уронил к ногам
И молвил к тем: «С ним драться не пристало».

И вождь ко мне: «О ты, который там,
Среди камней, укрылся боязливо,
Сойди без страха по моим следам».

К нему я шаг направил торопливо,
А дьяволы подвинулись вперед,
И я боялся, что их слово лживо.

Так, видел я, боялся ратный взвод,
По уговору выйдя из Капроны
И недругов увидев грозный счет.

И я всем телом, ждущий обороны,
Прильнул к вождю и пристально следил,
Как злобен облик их и взгляд каленый.

Нагнув багор, бес бесу говорил:
«Что, если бы его пощупать с тыла?»
Тот отвечал: «Вот, вот, да так, чтоб взвыл!»

Но демон, тот, который вышел было,
Чтоб разговор с вождем моим вести,
Его окликнул: «Тише, Тормошило!»

Потом сказал нам: «Дальше не пройти
Вам этим гребнем; и пытаться бесплодно:
Шестой обрушен мост, и нет пути.

Чтоб выйти всё же, если вам угодно,
Ступайте этим валом, там, где след,
И ближним гребнем выйдете свободно.

Двенадцать сот и шестьдесят шесть лет
Вчера, на пять часов поздней, успело
Протечь с тех пор, как здесь дороги нет.

У наших в тех местах как раз есть дело —
Взглянуть, не прохлаждается ль народ;
Не бойтесь их, идите с ними смело».

«Эй, Косокрыл, и ты, Старик, в поход! —
Он начал говорить.— И ты, Собака;
А Борода десятником пойдет.

В придачу к ним Дракон и Забияка,
Клыкастый Боров и Собачий Зуд,
Да Рыжик лютый, да еще Кривляка.

Вы осмотрите весь кипящий пруд;
А эти до ближайшего отрога,
Который цел, пусть здоровыми дойдут».

«Что вижу я, учитель? Ради Бога,
Не нужно спутников, пойдем одни,—
Сказал я.— Ты же знаешь, где дорога.

Когда ты зорок, как всегда, взгляни:
Не видишь разве их кивков ужасных
И как зубами лязгают они?»

«Не надо страхов и тревог напрасных;
Пусть лязгают себе,— мой вождь сказал,—
Чтоб напугать варимых там несчастных».

Тут бесы двинулись на левый вал,
Но каждый, в тайный знак, главе отряда
Сперва язык сквозь зубы показал,

А тот трубу изобразил из зада.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я конных ратей видывал движенья,
В час грозных сеч, в походах, на смотрах,
А то и в бегстве, в поисках спасенья;

Я видывал наезды, вам на страх,
О аретинцы, видел натиск бранный,
Турнирный бой на копьях и мечах,—

Под трубный звук, набатный, барабанный,
Или по знаку с башен, как когда,
На итальянский лад и чужестранный;

Но не видал, чтобы чудней дуда
Звучала конным, пешим иль ветрилам,
Когда маячит берег иль звезда.

Мы шли с десятком бесов; вот уж в милом
Сообществе! Но в церкви, говорят,
Почет святым, а в кабачке — кутилам.

Лишь на смолу я обращал мой взгляд,
Чтоб видеть свойства этой котловины
И что за люди там внутри горят.

Как мореходам знак дают дельфины,
Чтоб те успели уберечь свой струг,
И над волнами изгибают спины,—

Так иногда, для облегченья мук,
Иной всплывал, лопатки выставляя,
И, молнии быстрей, скрывался вдруг.

И как во рву, расположась вдоль края,
Торчат лягушки рыльцем из воды,
Брюшко и лапки ниже укрывая,—

Так грешники торчали в две гряды,
Но, увидав, что Борода крадется,
Ныряли в кипь, спасаясь от беды.





Один — как вспомню, сердце ужаснется —
Заждался; так одна лягушка, всплыв,
Нырнет назад, другая остается.

Собачий Зуд, всех ближе, зацепив
Багром за космы, слипшиися туго,
Втащил его, как выдру, на обрыв.

Я помнил прозвища всего их круга:
С тех пор, как их избрали, я в пути
Следил, как бесы кликали друг друга.

«Эй, Рыжик, забирай его, когти, —
Наперебой проклятые кричали, —
Так, чтоб ему и шкуры не найти!»

И я сказал: «Учитель мой, нельзя ли
Узнать, кто этот жалкий лиходей,
Которого враги к рукам прибрали?»

Мой вождь к нему подвинулся плотней,
И тот сказал, в ответ на обращенье:
«Я был наварец. Матерью моей

Я отдан был вельможе в услуженье,
Затем что мой отец был дрянь и голь,
Себя сгубивший и свое именье.

Меня приблизил добрый мой король,
Тебальд; я взятки брал, достигнув власти,
И вот плачусь, окунут в эту смоль».

Тут Боров, у которого из пасти
Торчали бивни, как у кабана,
Одним из них стал рвать его на части.

Увидели коты, что мышь вкусна;
Но Борода, обвив его руками,
Сказал: «Оставьте, помощь не нужна».

Потом, к вождю оборотясь глазами:
«Ты, если хочешь, побеседуй с ним,
Пока его не разнесли баграми».

И вождь: «Скажи, из тех, кто здесь казним,
Не знаешь ли каких-нибудь латинян,
В смоле?» И тот: «Сейчас я был с одним

Из мест, откуда путь до них недлинен.
Мне крюк и коготь был бы нипочем,
Будь я, как он, опять в смолу заклинен».

Тут Забияка: «Больно долго ждем!» —
Сказал, рванул ему багром предплечье
И выхватил клок мяса целиком.

Тогда Дракон решил нанести увечье
Пониже в ноги; но грозою глаз
Десятник их пресек противоречье,

Они смирились и на этот раз,
А тот смотрел, как плоть его разрыта;
И спутник мой спросил его тотчас:

«Кто это был, кому нашлась защита,
Когда, на горе, ты остался тут?»
И он ответил: «Это брат Гомита,

Что из Галлуры, всякой лжи сосуд,
Схватив злодеев своего владыки,
Он сделал так, что те хвалу поют.

Всех отпустил за деньги, скрыв улики,
Как говорит; корысти не тая,
Мздоимец был не малый, но великий.

Он и Микеле Цанке¹ здесь друзья;
Тот — логодорец; вечно каждый хвалит
Былые дни сардинского житья.

Ой, посмотрите, как он зубы скалит!
Я продолжал бы, да того гляди —
Он мне крюком всю спину измочалит».

Начальник, увидав, что впереди
Стал Забияка, изготовясь к бою,
Сказал: «Ты, злая птица, отойди!»

¹ Гомита и Цанке — известные министры-мздоимцы.

«Угодно вам увидеть пред собою,—
Так оробевший речь повел опять,—
Тосканцев и ломбардцев,— я устрою.

Но Загребалам дальше нужно стать,
Чтоб нашим знать, что их никто не ранит;
А я, один тут сидя, вам достать

Хоть семерых берусь; их сразу взманит,
Чуть свистну,— как у нас заведено,
Лишь только кто-нибудь наружу глянет».

Собака вскинул морду и, чудно
Мотая головой, сказал: «Вот штуку
Ловкач затеял, чтоб нырнуть на дно!»

А тот, набивший на коварстве руку,
Ему ответил: «Подлинно ловкач,
Когда своим же отягчаю муку!»

Тут Косокрыл, который был горяч,
Сказал, не в лад другим: «Скакнешь в пучину,—
Тебе вдогонку я пушусь не вскачь,

А просто крылья над смолой раскину.
Мы спустимся с бугра и станем там;
Посмотрим, нашу ль проведешь дружину!»

Внемли, читатель, новым чудесам:
В ту сторону все повернули шеи,
И первым тот, кто больше был упрямым.

Наваррец выбрал время, половчее
Уперся в землю пятками и вмиг
Сигнул и ускользнул от их затей.

И тотчас в каждом горький стыд возник;
Всех больше злился главный заправило;
Он прыгнул, крикнув: «Я тебя настиг!»

Но понапрасну: крыльям трудно было
Поспеть за страхом; тот ко дну пошел,
И, вскинув грудь, бес кверху взмыл уныло.

Так селезень ныряет наукол,
Чтобы в воде от сокола укрыться,
А тот летит обратно, хмур и зол.

Старик, всё так же продолжая злиться,
Летел вослед, желая всей душой,
Чтоб плут исчез и повод был схватиться.

Едва мздоимец скрылся с головой,
Он на собрата тотчас двинул когти,
И дьяволы сцепились над смолой.

Но тот не хуже, чтоб нацелить когти,
Был ястреб-перемыт, и их тела
Вмиг очутились в раскаленном дегте.

Их сразу жгучесть пекла разняла;
Но вызволиться было невозможно,
Настолько прочно влипли их крыла.

Тут Борода, как все, томясь тревожно,
Велел, чтоб четверо, забрав багры,
Перелетели ров; все безотложно

И там и тут спустились на бугры;
Они к увязшим протянули крючья,
А те уже спеклись внутри коры;

И мы ушли в разгар их злополучья.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Безмолвны, одиноки и без свиты,
Мы шли путем, неведомым для нас,
Друг другу вслед, как братья минориты.

Недавний бой припомянув не раз,
Я баснь Эзопа вспомнил поневоле,
Про мышь и про лягушку старый сказ¹.

¹ Эзопу приписывалась басня о том, как лягушка, привязав к себе доверчивую мышь, нырнула с нею в воду. Когда захлебнувшаяся мышь всплыла на поверхность, пролетавший коршун схватил ее, а вместе с ней и лягушку, и съел обеих.

«Сейчас» и «тотчас» сходятся не боле,
Чем тот и этот случай, если им
Уделено вниманье в равной доле.

И так как мысль дает исток другим,
Одно другим сменилось размышленье,
И страх мой стал вдвойне неодолим.

Я думал так: «Им это посрамленье
Пришло от нас; столь тяжкий претерпев
Ущерб и срам, они затеют мщенье.

Когда на злобный нрав накручен гнев,
Они на нас жесточе ополчатся,
Чем пес на зайца разверзает зев».

Я чуял — волосы на мне дыбятся
От жути, и, отстановясь, затих;
Потом сказал: «Они за нами мчатся;

Учитель, спрячь скорее нас двоих;
Мне страшно Загребал; они предстали
Во мне так ясно, что я слышу их».

«Будь я стеклом свинцовым, я б едва ли,—
Сказал он,— отразил твой внешний лик
Быстрее, чем восприял твои печали.

Твой помысел в мой помысел проник,
Ему лицом и поступью подобный,
И я их свел к решенью в тот же миг.

И если справа склон горы удобный,
Чтоб нам спуститься в следующий ров,
То нас они настигнуть не способны».

Он не успел домолвить этих слов,
Как я увидел: быстры и крылаты,
Они уж близко и спешат на лов.

В единый миг меня схватил вожатый,
Как мать, на шум проснувшись вдруг и дом
Увидя буйным пламенем объятый,

Хватает сына и бежит бегом,
Рубашки не накинув, помышляя
Не о себе, а лишь о нем одном,—

И тотчас вниз с обрывистого края
Скользнул спиной на каменистый скат,
Которым щель окаймлена шестая.

Так быстро воды стоком не спешат
Вращать у дольной мельницы колеса,
Когда струя уже вблизи лопат,

Как мой учитель, с высоты утеса,
Как сына, не как друга, на руках
Меня держа, стремился вдоль откоса.

Чуть он коснулся дна, те впопыхах
Уже достигли выступа стремнины
Как раз над нами; но пришел и страх,—

Затем что стражу пятой котловины
Им промысел высокий отдает,
Но прочь ступить не властен ни единый.

Внизу скалы поваленный народ
Кружил неспешным шагом, без надежды,
В слезах, устало двигаясь вперед.

Все — в мантиях, и затеняет вежды
Глубокий куколь, низок и давящ;
Так шьют клунийским инокам одежды.

Снаружи позолочен и слепящ,
Внутри так грузен их убор свинцовый,
Что был соломой Федериков плащ¹.

О вековечно тяжкие покровы!
Мы вновь свернули влево, как они,
В их плач печальный вслушаться готовы.

¹ Легенда рассказывает, будто виновных в оскорблении Его величества император Фридрих II велел облачать в тяжелую свинцовую мантию и ставить на раскаленную жаровню.

Но те, устав под бременем брони,
Брели так тихо, что с другим соседом
Ровнял нас каждый новый сдвиг ступни.

И я вождю: «Найди, быть может ведом
Делами или именем иной;
Взгляни, шагая, на идущих следом».

Один, признав тосканский говор мой,
За нами крикнул: «Придержите ноги,
Вы, что спешите так под этой тьмой!

Ты можешь у меня спросить подмоги».
Вождь, обернувшись, молвил: «Здесь побудь;
Потом с ним в ногу двинься вдоль дороги».

По лицам двух я видел, что их грудь
Исполнена стремления живого;
Но им мешали груз и тесный путь.

Приблизясь и не говоря ни слова,
Они смотрели долго, взгляд скосив;
Потом спросили так один другого:

«Он, судя по работе горла, жив;
А если оба мертвы, как же это
Они блуждают, столу совлачив?»

И мне: «Тосканец, здесь, среди совета
Унылых лицемеров, на вопрос,
Кто ты такой, не презирай ответа».

Я молвил: «Я родился и возрос
В великом городе на ясном Арно,
И это тело я и прежде нес.

А кто же вы, чью муку столь коварно
Изобличает этот слезный град?
И чем вы так казнимы лучезарно?»

Один ответил: «Желтый наш наряд
Навис на нас таким свинцовым сводом,
Что под напором гирь весы скрипят.

Мы гауденты, из Болоньи родом,
Я — Каталано, Лодеринго¹ — он;
Мы были призваны твоим народом,

Как одиноких брали испокон,
Чтоб мир хранить; как он хранился нами,
Вокруг Гардинго видно с тех времен».

Я начал: «Братья, вашими делами...» —
Но смолк; мой глаз внезапно увидал
Распятого в пыли тремя колами.

Он, увидав меня, затрепетал,
Сквозь бороду бросая вздох стесненный.
Брат Каталан на это мне сказал:

«Тот, на кого ты смотришь², здесь пронзенный,
Когда-то речи фарисеям вел,
Что может всех спасти один казненный.

Он брошен поперек тропы и гол,
Как видишь сам, и чувствует всё время,
Насколько каждый, кто идет, тяжел.

И тесть его здесь терпит то же бремя,
И весь собор, оставивший в удел
Еврейскому народу злое семя».

И видел я, как чудно поглядел
Вергилий на того, кто так ничтожно,
В изгнание вечном, распятый, коснел.

Потом он молвил брату: «Если можно,
То не укажете ли нам пути
Отсюда вправо, чтобы бестревожно

¹ В 1261 г. в Болонье был учрежден орден «рыцарей девы Марии» с целью примирения враждующих и защиты обездоленных, но т. к. его члены больше всего заботились о своих удовольствиях, то их прозвали *fratres gaudentes* («веселящиеся братья»); *Каталано* и *Лодеринго* — правители ряда городов.

² Речь идет о первосвященнике Каиафе, подавшем, по библ. легенде, совет убить Христа.

Из здешних мест мы с ним могли уйти
И черных ангелов не понуждая
Нас из ложбины этой унести».

И брат: «Тут есть вблизи гряда большая;
Она идет от круговой стены,
Все яростные рвы пересекая,

Но рухнула над этим; вы должны
Подняться по обвалу; склон обрыва
И дно лощины сплошь завалены».

Вождь голову понурил молчаливо.
«Тот, кто крюком,— сказал он наконец,—
Хватает грешных, говорил нам лживо».

«Я не один в Болонье образец
Слыхал того, как бес ко злу привержен,—
Промолвил брат.— Он всякой лжи отец».

Затем мой вождь пошел, слегка рассержен,
Широкой поступью и хмурия лоб;
И я от тех, кто бременем удержан,

Направился по следу милых стоп.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Покуда год не вышел из малюток
И солнцу кудри греет Водолей,
А ночь всё ближе к половине суток

И чертит иней посреди полей
Подобье своего седого брата,
Хоть каждый раз его перо хилей,—

Крестьянин, чья кормушка небогата,
Встает и видит — побелел весь луг,
И бьет себя пониже перехвата;

Уходит в дом, ворчит, снует вокруг,
Не зная, бедный, что тут делать надо;
А выйдет вновь — и ободрится вдруг,

Увидев мир сменившим цвет наряда
В короткий миг; берет свой посошок
И гонит вон пастись овечье стадо.

Так вождь причиной был моих тревог,
Когда казался смутен и несветел,
И так же сразу боль мою отвлек:

Как только он упавший мост приметил,
Он бросил мне всё тот же ясный взгляд,
Что у подножья горного я встретил.

Он оглядел загроможденный скат,
Подумал и, кладя конец заботам,
Раскрыв объятья, взял меня в обхват.

И словно тот, кто трудится с расчетом,
Как бы всё время глядя пред собой,
Так он, подняв меня единым взметом

На камень, намечал уже другой
И говорил: «Теперь вот тот потрогай,
Таков ли он, чтоб твердо стать ногой».

В плаще бы не пройти такой дорогой;
Едва и мы, с утеса на утес,
Ползли наверх, он — легкий, я — с подмогой.

И если бы не то, что наш откос
Был ниже прежнего, — как мой вожатый,
Не знаю, я бы вряд ли перенес.

Но так как область Злых Щелей покатый
К срединному жерлу дает наклон,
То стены, меж которых рвы зажаты,

По высоте не равны с двух сторон.
Мы наконец взошли на верх обвала,
Где самый крайний камень прислонен.

Мне так дыханья в легких не хватало,
Что дальше я не в силах был идти;
Едва взойдя, я тут же сел устало.

«Теперь ты ленью должен отместить,—
Сказал учитель.— Лежа под периной
Да сидя в мягком, славы не найти.

Кто без нее готов быть взят кончиной,
Такой же в мире оставляет след,
Как в ветре дым и пена над пучиной.

Встань! Победи томленье, нет побед,
Запретных духу, если он не вянет,
Как эта плоть, которой он одет!

Еще длиннее лестница предстанет;
Уйти от них — не в этом твой удел;
И если слышишь, пусть душа воспрянет».

Тогда я встал; я показать хотел,
Что я дышу свободней, чем на деле,
И молвил так: «Идем, я бодр и смел!»

Мы гребнем взяли путь; еще тяжеле,
Обрывистый, крутой, в обломках скал,
Он был, чем тот, каким мы шли доселе.

Чтоб скрыть усталость, я не умолкал;
Вдруг голос из расселины раздался,
Который даже не как речь звучал.

Слов я понять не мог, хотя взобрался
На горб моста, изогнутого там;
Но говоривший как бы удалялся.

Я наклонился, но живым глазам
Достигнуть дна мешала тьма густая;
И я: «Учитель, сделай так, чтоб нам

Сойти на вал, и станем возле края;
Я слушаю, но смысла не пойму,
И ничего не вижу, взор склоняя».

И он: «Мой отклик слову твоему —
Свершить; когда желанье справедливо,
То надо молча следовать ему».

Мы с моста вниз сошли неторопливо,
Где он с восьмым смыкается кольцом,
И тут весь ров открылся мне с обрыва.

И я внутри увидел страшный ком
Змей, и так много разных было видно,
Что стынет кровь, чуть вспомяну о нем.

Ливийской степи было бы завидно:
Пусть кенхр, и амфисбена, и фарей
Плодятся в ней, и якул, и ехидна,—

Там нет ни стольких гадов, ни лютей,
Хотя бы все владенья эфиопа
И берег Чермных вод прибавить к ней.

Средь этого чудовищного скопа
Нагой народ, мечась, ни уголка
Не ждал, чтоб скрыться, ни гелиотропа.

Скрутив им руки за спиной, бока
Хвостом и головой пронзали змеи,
Чтоб спереди связать концы клубка.

Вдруг к одному,— он был нам всех виднее,—
Метнулся змей и впился, как копьё,
В то место, где сращенье плеч и шеи.

Быстрей, чем I начертишь или O,
Он вспыхнул, и сгорел, и в пепел свился,
И тело, рухнув, потерял свое.

Когда он так упал и развалился,
Прах вновь сомкнулся воедино сам
И в прежнее обличье возвратился.

Так ведомо великим мудрецам,
Что гибнет Феникс¹, чтоб восстать, как новый,
Когда подходит к пятистам годам.

¹ *Феникс* — сказочная птица, по представлениям древних, в старости сжигавшая себя и возрождавшаяся из пепла молодой и обновленной.

Не травы — корм его, не сок плодовый,
Но ладанные слезы и амом,
А нард и мирра — смертные покровы.

Как тот, кто падает, к земле влеком,
Он сам не знает — демонскою силой
Иль запруженьем, властным над умом,

И, встав, кругом обводит взгляд застылый,
Еще в себя от муки не придя,
И вздох, взирая, издает унылый,—

Таков был грешник, вставший погода.
О Божья мощь, сколь праведный ты мститель,
Когда вот так сражаешь, не щадя!

Кто он такой, его спросил учитель.
И тот: «Я из Тосканы в этот лог
Недавно сверзился. Я был любитель

Жить по-скотски, а по-людски не мог,
Да мулом был и впрямь; я — Ванни Фуччи¹,
Зверь, из Пистойи, лучшей из берлог».

И я вождю: «Пусть подождет у кручи;
Спроси, за что он спихнут в этот ров;
Ведь он же был кровавый и кипучий».

Тот, услышав и отвечать готов,
Свое лицо и дух ко мне направил
И от дурного срама стал багров.

«Гораздо мне больше,— он добавил,—
Что ты меня в такой беде застал,
Чем было в миг, когда я жизнь оставил.

Я исполняю то, что ты желал:
Я так глубоко брошен в яму эту
За то, что утварь в ризнице украл.

¹ *Ванни Фуччи* — побочный сын знатного пистойца, виновник многих убийств и грабежей; далее он предсказывает, в терминах средневековой метеорологии, исход политич. борьбы во Флоренции.

Тогда другой был привлечен к ответу.
Но чтобы ты свиданию со мной
Не радовался, если выйдешь к свету,

То слушай весть и шире слух открой:
Сперва в Пистойе сила Черных сгинет,
Потом Фьоренца обновит свой строй.

Марс от долины Магры пар надвинет,
Повитый мглою облачных пелен,
И на поля Пиценские низринет,

И будет бой жесток и разъярен;
Но он туман разметет своевольно,
И каждый Белый будет сокрушен.

Я так сказал, чтоб ты терзался больно!»

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

По окончаньи речи, вскинув руки
И выпятив два кукиша, злодей
Воскликнул так: «На, Боже, обе штуки!»

С тех самых пор и стал я другом змей:
Одна из них ему гортань обвила,
Как будто говоря: «Молчи, не смей!»,

Другая — руки, и кругом скрутила,
Так туго затянув клубок узла,
Что всякая из них исчезла сила.

Сгори, Пистойя, истребись дотла!
Такой, как ты, существовать не надо!
Ты свой же корень в скверне превзошла!

Мне ни в одном из темных кругов Ада
Строптивей Богу дух не представлял,
Ни тот, кто в Фивах пал с вершины града.

Он, не сказав ни слова, побежал;
И видел я, как следом осерчало
Скакал кентавр, крича: «Где, где бахвал?»

Так много змей в Маремме не бывало,
Сколькими круп его был оплетен
Дотуда, где наш облик брал начало.

А над затылком нависал дракон,
Ему налегший на плечи, крылатый,
Которым каждый встречный опален.

«Ты видишь Кака¹, — мне сказал вожатый, —
Немало крови от него лилось,
Где Авентин вознес крутые скаты.

Он с братьями теперь шагает врозь
За то, что обобрал не без оглядки
Большое стадо, что вблизи паслось.

Но не дал Геркулес ему повадки
И палицей отстукал до ста раз,
Хоть тот был мертв на первом же десятке».

Пока о проскакавшем шел рассказ,
Три духа² собрались внизу; едва ли
Заметил бы их кто-нибудь из нас,

Вождь или я, но снизу закричали:
«Вы кто?» Тогда наш разговор затих,
И мы пришедших молча озирали.

Я их не знал; но тут один из них
Спросил, и я по этому вопросу
Догадываться мог об остальных:

«А что же Чанфа не пришел к утесу?»
И я, чтоб вождь прислушался к нему,
От подбородка палец поднял к носу.

Не диво, если слову моему,
Читатель, ты поверишь неохотно:
Мне, видевшему, чудно самому.

¹ *Как* — в ант. миф. сын бога Вулкана, похитивший у Геркулеса быков и убитый им за это,

² Речь идет об *Аньелло*, *Буозо* и *Пуччо*, далее появятся еще двое: *Чанфа* и *Франческо* — все это представители знатных флорент. фамилий.

Едва я оглянул их мимолетно,
Взметнулся шестиногий змей, внаскок
Облапил одного и стиснул плотно.

Зажав ему бока меж средних ног,
Передними он в плечи уцепился
И вгрызся духу в каждую из щек;

А задними за ляжки ухватился
И между них ему просунул хвост,
Который кверху вдоль спины извился.

Плющ, дереву опутав мощный рост,
Не так его глушит, как зверь висячий
Чужое тело обмотал взмахлест.

И оба слиплись, точно воск горячий,
И смешиваться начал цвет их тел,
Окрашенных теперь уже иначе,

Как если бы бумажный лист горел
И бурый цвет распространялся в зное,
Еще не черен и уже не бел.

«Увы, Аньель, да что с тобой такое? —
Кричали, глядя, остальные два.—
Смотри, уже ты ни один, ни двое».

Меж тем единой стала голова,
И смесь двух лиц явилась перед нами,
Где прежние мерещились едва.

Четыре отрасли — двумя руками,
А бедра, ноги, и живот, и грудь
Невиданными сделались частями.

Всё бывшее в одну смешилось муть;
И жуткий образ медленной походкой,
Ничто и двое, продолжал свой путь.

Как ящерица под широкой плеткой
Палящих дней, меняя тын, мелькнет
Через дорогу молнией короткой,

Так, двум другим кидаясь на живот,
Мелькнул змееныш лютый, желто-черный,
Как шарик перца; и туда, где плод

Еще в утробе влагой жизнетворной
Питается, ужалил одного;
Потом скользнул к его ногам, проворный.

Пронзенный не промолвил ничего
И лишь зевнул, как бы от сна содея
Иль словно лихорадило его.

Змей смотрит на него, а он — на змея;
Тот — язвой, этот — ртом пускают дым,
И дым смыкает гада и злодея.

Лукан да смолкнет там, где назван им
Злосчастливый Сабелл или Насидий¹,
И да внимает замыслам моим.

Пусть Кадма с Аретузой пел Овидий
И этого — змеей, а ту — ручьем
Измыслил обратить,— я не в обиде:

Два естества, вот так, к лицу лицом,
Друг в друга он не претворял телесно,
Заставив их меняться веществом.

У этих превращенье шло совместно:
Змееныш хвост, как вилку, расколол,
А раненый стопы содвинул тесно.

Он голени и бедра плотно свел,
И, самый след сращенья уничтожа,
Они сомкнулись в нераздельный ствол.

У змея вилка делалась похожа
На гибнущее там, и здесь мягка,
А там корява становилась кожа.

¹ Сабелл и Насидий — воины, погибшие, по рассказу Лукана, в пустыне от укусов ядовитых змей. Далее упомин. Кадм, основатель Фив, который был обращен в змея, и нимфа Аретуза, превращенная Дианой в подземный ручей.

Суставы рук вошли до кулака
Под мышки, между тем как удлинялись
Коротенькие лапки у зверька.

Две задние конечности смотались
В тот член, который человек таит,
А у бедняги два образовались.

Покамест дымом каждый был повит
И новым цветом начал облекаться,
Тут — облысев, там — волосом покрыт,—

Один успел упасть, другой — подняться,
Но луч бесчестных глаз был так же прям,
И в нем их морды начали меняться.

Стоявший растянул лицо к вискам,
И то, что лишнего туда наплыло,
Пошло от щек на вещество ушам.

А то, что не сползло назад, застыло
Комком, откуда ноздри отросли
И вздулись губы, сколько надо было.

Лежавший рыло вытянул в пыли,
А уши, убывая еле зримо,
Как рожки у улитки, внутрь ушли.

Язык, когда-то росший неделимо
И бойкий, треснул надвое, а тот,
Двойной, стянулся,— и не стало дыма.

Душа в обличье гадины ползет
И с шипом удаляется в лощину,
А тот вдогонку, говоря, плюет.

Он, повернув к ней новенькую спину,
Сказал другому: «Пусть теперь ничком,
Как я, Буозо оползет долину».

Так, видел я, менялась естеством
Седьмая свалка; и притом так странно,
Что я, быть может, прегрешил пером.

Хотя уж видеть начали туманно
Мои глаза и самый дух блуждал,
Те не могли укрыться столь неожиданно,

Чтоб я хромого Пуччо не узнал;
Из всех троих он был один нетронут
С тех пор, как подошел к подножью скал;

Другой был тот, по ком в Гавилле стонут.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Гордись, Фьоренца, долей величавой!
Ты над землей и морем бьешь крылом,
И самый Ад твоей наполнен славой!

Я пять таких в собранье воровском
Нашёл сограждан, что могу стыдиться;
Да и тебе немного чести в том.

Но если нам под утро правда снится,
Ты ощутишь в один из близких дней,
К чему и Прато, как и все, стремится;

Поэтому — тем лучше, чем скорей;
Раз быть должно, так пусть бы миновало!
С теченьем лет мне будет тяжелей.

По выступам, которые сначала
Вели нас вниз, поднялся спутник мой,
И я, влекомый им, взошел устало;

И дальше, одинокою тропой
Меж трещин и камней хребта крутого,
Нога не шла, не подсобясь рукой.

Тогда страдал и я страдаю снова,
Когда припомню то, что я видал;
И взнуздываю ум сильней былого,

Чтоб он без добрых правил не блуждал,
И то, что мне дала звезда благая
Иль кто-то лучший, сам я не поправ.

Как селянин, на холме отдыхая,—
Когда сокроет ненадолго взгляд
Тот, кем страна озарена земная,

И комары, сменяя мух, кружат,—
Долину видит полной светляками
Там, где он жнет, где режет виноград,

Так, видел я, вся искрилась огнями
Восьмая глубь, как только с двух сторон
Расщелина открылась перед нами.

И как, конями поднят в небосклон,
На колеснице Илия вздымался,
А тот, кто был медведями отмщен,

Ему вослед глазами устремлялся
И только пламень различал едва,
Который вверх, как облачко, взвивался,—

Так движутся огни в гортани рва,
И в каждом замкнут грешник утаенный,
Хоть взор не замечает воровства.

С вершины моста я смотрел, склоненный,
И, не держись я за одну из плит,
Я бы упал, никем не понужденный;

И вождь, приметив мой усердный вид,
Сказал мне так: «Здесь каждый дух затерян
Внутри огня, которым он горит».

«Теперь, учитель, я вполне уверен,—
Ответил я.— Уж я и сам постиг,
И даже так спросить я был намерен:

Кто в том огне, что там вдали возник,
Двойной вверху, как бы с костра подъятый,
Где с братом был положен Полиник?»¹

¹ *Полиник* и *Этеокл* — в ант. миф. сыновья Эдипа, убившие друг друга из-за права обладания Фивами; когда их тела были положены на костер, пламя раздвоилось. Далее упомин.: *Улисс* (Одиссей) и *Диомед* — герои троян. войны, совместно действовавшие в боях и хитроумных предприятиях; греч. герой *Ахилл* и его возлюбленная *Дейдамия*, а также *Палладий* — статуя *Афины*, охранявшая Трои и похищенная Улиссом и Диомедом.

«В нем мучатся,— ответил мой вожатый,—
Улисс и Диомед, и так вдвоем,
Как шли на гнев, идут путем расплаты;

Казнятся этим стонущим огнем
И ввод коня, разверзший стены града,
Откуда римлян вышел славный дом,

И то, что Дейдамия в сенях Ада
Зовет Ахилла, мертвая, стена,
И за Палладий в нем дана награда».

«Когда есть речь у этого огня,
Учитель,— я сказал,— тебя молю я,
Сто раз тебя молю, утешь меня,

Дождись, покуда, меж других кочуя,
Рогатый пламень к нам не подойдет:
Смотри, как я склонен к нему, тоскуя».

«Такая просьба,— мне он в свой черед,—
Всегда к свершенью сердце расположит;
Но твой язык на время пусть замрет.

Спрошу их я; то, что тебя тревожит,
И сам я понял; а на твой вопрос
Они, как греки, промолчат, быть может».

Когда огонь пришел под наш утес
И место и мгновенье подобало,
Учитель мой, я слышал, произнес:

«О вы, чей пламень раздвояет жало!
Когда почтил вас я в мой краткий час,
Когда почтил вас много или мало,

Слагая в мире мой высокий сказ,
Постойте; вы поведать мне повинны,
Где, заблудясь, погиб один из вас».

С протяжным ропотом огонь старинный
Качнул свой большой рог; так иногда
Томится на ветру костер пустынный.

Туда клоня вершину и сюда,
Как если б это был язык вещавший,
Он издал голос и сказал: «Когда

Расстался я с Цирцеей ¹, год скрывавшей
Меня вблизи Гаэты, где потом
Пристал Эней, так этот край назвавший,—

Ни нежность к сыну, ни перед отцом
Священный страх, ни долг любви спокойный
Близ Пенелопы с радостным челом

Не возмogli смирить мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор
И всё, чем дурны люди и достойны.

И я в морской отважился простор,
На малом судне выйдя одиноко
С моей дружиной, верной с давних пор.

Я видел оба берега, Моррокко,
Испанию, край сардов, рубежи
Всех островов, раскиданных широко.

Уже мы были древние мужи,
Войдя в пролив, в том дальнем месте света,
Где Геркулес воздвиг свои межи,

Чтобы пловец не преступал запрета;
Севиля справа отошла назад,
Осталась слева, перед этим, Сетта.

«О братья,— так сказал я,— на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят

Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!

¹ Цирцея — в ант. миф. прекрасная волшебница, обращавшая людей в животных; полюбив Улисса, она целый год удерживала его у себя.

Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанию рождены».

Товарищей так живо укололи
Мои слова и ринули вперед,
Что я и сам бы не сдержал их воли.

Кормой к рассвету, свой шальной полет
На крыльях весел судно устремило,
Всё время влево уклоняя ход.

Уже в ночи я видел все светила
Другого остья, и морская грудь
Склонившееся наше заслонила.

Пять раз успел внизу луны блеснуть
И столько ж раз погаснуть свет заемный,
С тех пор как мы пустились в дерзкий путь,

Когда гора, далекой грудой темной,
Открылась нам; от века своего
Я не видал еще такой огромной.

Сменилось плачем наше торжество:
От новых стран поднялся вихрь, с налета
Ударил в судно, повернул его

Три раза в быстрине водоворота;
Корма взметнулась на четвертый раз,
Нос канул книзу, как назначил Кто-то,

И море, хлынув, поглотило нас».

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Уже горел прямым и ровным светом
Умолкший пламень, уходя во тьму,
Отпущенный приветливым поэтом,—

Когда другой, возникший вслед ему,
Невнятным гулом, рвущимся из жала,
Привлек наш взор к верховью своему.

Как сицилийский бык, взревев сначала
От возгласов того, — и поделом, —
Чье мастерство его образовало,

Ревел от голоса казнимых в нем
И, хоть он был всего лишь медь литая,
Страдающим казался существом,

Так, в пламени пути не обретая,
В его наречье, в нераздельный рык,
Слова преображались, вылетая.

Когда же звук их наконец проник
Сквозь острие, придав ему дрожанье,
Которое им сообщал язык,

К нам донеслось: «К тебе мое воззванье,
О ты, что, по-ломбардски говоря,
Сказал: «Иди, я утолил желанье!»

Мольбу, быть может, позднюю творя,
Молю, помедли здесь, где мы страдаем:
Смотри, я медлю пред тобой, горя!

Когда, простясь с латинским милым краем,
Ты только что достиг слепого дна,
Где я за грех содеянный терзаем,

Скажи: в Романье — мир или война?
От стен Урбино и до горной сени,
Вскормившей Тибр, лежит моя страна».

Я вслушивался, полон размышлений,
Когда вожатый, тронув локоть мне,
Промолвил так: «Ответь латинской тени»¹.

¹ Речь идет о графе Монтефельтро, искусном полководце, то враждовавшем с папским Римом, то мирившимся с ним, который перед смертью постригся в монахи. Далее упомянуты: *Веррукьо Малатеста* — ярый гвельф; *Монтанью* — вождь гибеллинов, убитый Малатестино Одноглазым, сыном Малатеста; *верховный пастырь* — папа Бонифаций VIII; *Сильвестр* — св. папа, который, согласно легенде, крещением исцелил заболевшего проказой императора *Константина*, и *Франциск* — патрон франциск. ордена.

Уже ответ мой был готов вполне,
И я сказал, мгновенно речь построя:
«О дух, сокрытый в этой глубине,

Твоя Романья даже в дни покоя
Без войн в сердцах тиранов не жила;
Но явного сейчас не видно боя.

Равенна — всё такая, как была:
Орел Поленты в ней обосновался,
До самой Червьи распластав крыла.

Оплот, который долго защищался
И где французов алый холм полег,
В зеленых лапах ныне оказался.

Барбос Верруккьо и его щенок,
С Монтаньей обошедшие скверно,
Сверлят зубами тот же всё кусок.

В твердынях над Ламоне и Сантерпо
Владычит львенок белого герба,
Друзей меняя дважды в год примерно;

А та, где льется Савьо, той судьба
Между горой и долом находиться,
Живя меж волей и ярмом раба.

Но кто же ты, прошу тебя открыться;
Ведь я тебе охотно отвечал,—
Пусть в мире память о тебе продлится!»

Сперва огонь немного помычал
По-своему, потом, качнув не сразу
Колючую вершину, прозвучал:

«Когда б я знал, что моему рассказу
Внимает тот, кто вновь увидит свет,
То мой огонь не дрогнул бы ни разу.

Но так как в мир от нас возврата нет
И я такого не слышал примера,
Я, не страшась позора, дам ответ.

Я меч сменил на пояс кордильера
И верил, что приемлю благодать;
И так моя исполнилась бы вера,

Когда бы в грех не ввел меня опять
Верховный пастырь (злой ему судьбины!);
Как это было,— я хочу сказать.

Пока я нес, в минувшие години,
Дар материнский мяса и костей,
Обычай мой был лисий, а не львиный.

Я знал все виды потайных путей
И ведал ухищренья всякой масти;
Край света слышал звук моих затей.

Когда я понял, что достиг той части
Моей стези, где мудрый человек,
Убрав свой парус, сматывает снасти,

Всё, что меня пленяло, я отсек;
И, сокрушенно исповедь содеяв,—
О горе мне! — я спасся бы навек.

Первоначальник новых фарисеев,
Воюя в тех местах, где Латеран,
Не против сарацин иль иудеев,

Затем что в битву шел на христиан,
Не виноватых в том, что Арка взята,
Не торговавших в землях басурман,

Свой величавый сан и всё, что свято,
Презрел в себе, во мне — смиренный чин
И вервь, тела сушившую когда-то,

И, словно прокаженный Константин,
Сильвестра из Сираттских недр призвавший,
Призвал меня, решив, что я один

Уйму надменный жар, его снедавший;
Я слушал и не знал, что возразить:
Как во хмелю казался вопрошавший.

«Не бойся,— продолжал он говорить,—
Ты согрешенью будешь непричастен,
Подав совет, как Пенестрино скрыть.

Рай заперать и отпирать я властен;
Я два ключа недаром получил,
К которым мой предместник был бесстрастен».

Меня столь важный довод оттеснил
Туда, где я молчать не смел бы доле,
И я: «Отец, когда с меня ты смыл

Мой грех, творимый по твоей же воле,—
Да будет твой посул длиннее дел,
И возликуешь на святом престоле».

В мой смертный час Франциск за мной слетел,
Но некий черный херувим вступился,
Сказав: «Не тронь; я им давно владел.

Пора, чтоб он к моим рабам спустился;
С тех пор как он коварный дал урок,
Ему я крепко в волосы вцепился;

Не каясь, он прощенным быть не мог,
А каяться, грешить желая всё же,
Нельзя: в таком сужденье есть порок».

Как содрогнулся я, великий Боже,
Когда меня он ухватил, спросив:
«А ты не думал, что я логик тоже?»

Он снес меня к Миносу; тот, обвив
Хвост восемь раз вокруг спины могучей,
Его от злобы даже укусив,

Сказал: «Ввергается в огонь крадучий!»
И вот я гибну, где ты зрел меня,
И скорбно движусь в этой ризе жгучей».

Свою dokonчив повесть, столб огня
Покинул нас, терзаньем объятый,
Колючий рог свивая и клоня.

И дальше, гребнем, я и мой вожатый
Прошли туда, где нависает свод
Над рвом, в котором требуют расплаты

От тех, кто, разделяя, копит гнет.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Кто мог бы, даже вольными словами,
Поведать, сколько б он ни повторял,
Всю кровь и раны, виденные нами?

Любой язык наверно бы сплошал:
Объем рассудка нашего и речи,
Чтобы вместить так много, слишком мал.

Когда бы вновь сошлись, в крови увечий,
Все, кто в Пулийской роковой стране,
Страдая, изнемог на поле сечи

От рук троян и в длительной войне,
Перстнями заплатившей дань гордыне,
Как пишет Ливий¹, истинный вполне;

И те, кто тщился дать отпор дружине,
Которую привел Руберт Гвискар,
И те, чьи кости отрывают ныне

Близ Чеперано, где нанес удар
Обман пулийцев, и кого лукавый
У Тальякоццо одолел Алар;

И кто култыгу, кто разруб кровавый
Казать бы стал,— их превзойдет в сто крат
Девятый ров чудовищной расправой.

¹ *Тит Ливий* (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.), рим. историк, пишет, что во время 2-й Пунической войны (218—201 гг. до н. э.) Ганнибал отослал в Карфаген золотые перстни, снятые с рим. всадников. Далее упоминает: Роберт *Гвискар*, изгнавший в XI в. из Южной Италии арабов и византийцев; *пулийцы* — подданные короля Манфреда, предавшие его; *Алар* — старый рыцарь, своей хитростью способствовавший победе Карла I Анжуйского над 16-летним Конрандином, претендентом на сицил. престол.

Не так дыряв, утратив дно, ушат,
Как здесь нутро у одного зияло
От самых губ дотуда, где смердят:

Копна кишок между колен свисала,
Виднелось сердце с мерзостной мошной,
Где съеденное переходит в кало.

Несчастный, взглядом встретившись со мной,
Разверз руками грудь, от крови влажен,
И молвил так: «Смотри на образ мой!

Смотри, как Магомет обезображен!
Передо мной, стена, идет Али ¹,
Ему весь череп надвое рассажен.

И все, кто здесь, и рядом, и вдали,—
Виновны были в распрах и раздорах
Среди живых, и вот их рассекли.

Там сзади дьявол, с яростью во взорах,
Калечит нас и не дает пройти,
Кладя под лезвие все тот же ворох

На повороте скорбного пути;
Затем что раны, прежде чем мы снова
К нему дойдем, успеют зарости.

А ты, что с гребня смотришь так сурово,
Кто ты? Иль медлишь и страшишься дна,
Где мука для повинного готова?»

Вождь молвил: «Он не мертв, и не вина
Ведет его подземною тропюю;
Но чтоб он мог изведать всё сполна,

Мне, мертвому, назначено судьбою
Вести его сквозь Ад из круга в круг;
И это — так, как я — перед тобою».

¹ *Магомет* (ок. 570—632) — основатель ислама, новой религии, появившейся после христианства; *Али* — зять Магомета, убитый в 661 г. ударом сабли по черепу, почитатели которого (ишниты) образовали со временем особую секту. Данте считает, что первый внес раскол в мир, а второй способствовал расколу в самом исламе.

Их больше ста остановилось вдруг,
Услышав это, и с недвижным взглядом
Дивилось мне, своих не помня мук.

«Скажи Дольчино ¹, если вслед за Адом
Увидишь солнце: пусть снабдится он,
Когда не жаждет быть со мною рядом,

Припасами, чтоб снеговой заслон
Не подоспел новарцам на подмогу;
Тогда нескоро будет побежден».

Так молвил Магомет, когда он ногу
Уже приподнял, чтоб идти; потом
Ее простер и двинулся в дорогу.

Другой, с насквозь пронзенным кадыком,
Без носа, отсеченного по брови,
И одноухий, на пути своем

Остановясь при небывалом слове,
Всех прежде растворил гортань, извне
Багровую от выступавшей крови,

И молвил: «Ты, безвинный, если мне
Не лжет подобьем внешняя личина,
Тебя я знал в латинской стороне;

И ты припомни Пьер да Медичина ²,
Там, где от стен Верчелли вьет межи
До Маркабó отрадная равнина,

И так мессеру Гвидо расскажи
И Анджолелло, лучшим людям Фано,
Что, если здесь в провиденье нет лжи,

¹ *Дольчино* — глава секты, проповедовавшей братскую любовь, бедность и скорое пришествие царства справедливости; против этого движения папа Климент V объявил крестовый поход; из-за суровой зимы и истощения припасов Дольчино, прятавшийся в горах, вынужден был сдаться и был сожжен на костре.

² *Пьер да Медичина* — зачинщик многих раздоров; в своей речи он предсказывает гибель *Гвидо* и *Анджолелло* — двух влиятельных людей — из-за коварства Малатестино Одноглазого, а также упоминает *Куриона* — народного трибуна, перешедшего на сторону Цезаря в его борьбе с Помпеем (49 г. до н. э.), и *Моску*, чье имя связано с началом разделения флорент. знати на гибеллинов и гвельфов.

Их с корабля наемники обмана
Столкнут вблизи Каттолики в бурун,
По вероломству злобного тирана.

От Кипра до Майорки, сколько лун
Ни буйствуют пираты или греки,
Черней злодейства не видал Нептун.

Обоих кривоглазый изверг некий,
Владелец мест, которых мой сосед
Хотел бы лучше не видеть вовеки,

К себе заманит как бы для бесед;
Но у Фокары им уже ненужны
Окажутся молитва и обет».

И я на это: «Чтобы в мир наружный
Весть о тебе я подал тем, кто жив,
Скажи: чьи это очи так недужны?»

Тогда, на челюсть руку положив
Товарищу, он рот ему раздвинул,
Вскричав: «Вот он; теперь он молчалив.

Он, изгнанный, от Цезаря отринул
Сомнения, сказав: «Кто снаряжен,
Не должен ждать, чтоб час удобный минул».

О, до чего казался мне смущен,
С обрубком языка, торчащим праздно,
Столь дерзостный на речи Курион!

И тут другой, увечный безобразно,
Подняв остатки рук в окрестной мгле,
Так что лицо от крови стало грязно,

Вскричал: «И Москву вспомни в том числе,
Сказавшего: «Кто кончил,— дело справил».
Он злой посев принес родной земле».

«И смерть твоим сокровным!» — я добавил.
Боль болью множа, он в тоске побрел
И словно здоровый ум его оставил.

А я смотрел на многолюдный дол
И видел столь немыслимое дело,
Что речь о нем я вряд ли бы повел,

Когда бы так не совесть мне велела,
Подруга, ободряющая нас
В кольчугу правды облекаться смело.

Я видел, вижу словно и сейчас,
Как тело безголовое шагало
В толпе, кружащей неисчетный раз,

И срезанную голову держало
За космы, как фонарь, и голова
Взирала к нам и скорбно восклицала.

Он сам себе светил, и было два
В одном, единый в образе двойного,
Как — знает Тот, чья власть во всем права.

Остановясь у свода мостового,
Он кверху руку с головой простер,
Чтобы ко мне свое приблизить слово,

Такое вот: «Склони к мученьям взор,
Ты, что меж мертвых дышишь невозбранно!
Ты горших мук не видел до сих пор.

И если весть и обо мне желанна,
Знай: я Бертрам де Борн¹, тот, что в былом
Учил дурному короля Иоанна.

Я брань воздвиг меж сыном и отцом:
Не так Ахитофеловым советом
Давид был ранен и Авессалом.

Я связь родства расторг пред целым светом;
За это мозг мой отсечен навек
От корня своего в обрубке этом:

И я, как все, возмездья не избег».

¹ *Бертрам де Борн* — знаменитый провансальский трубадур XII в., отличавшийся большой воинственностью. Далее упоминается *Ахитофел* — в библ. легенде советник царя Давида, поощрявший его сына *Авессалома* восстать против отца.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Вид этих толп и этого терзанья
Так упоил мои глаза, что мне
Хотелось плакать, не тая страданья.

«Зачем твой взор прикован к глубине?
Чего ты ищешь,— мне сказал Вергилий,—
Среди калек на этом скорбном дне?

Другие рвы тебя не так манили;
Знай, если душам ты подводишь счет,
Что путь их — в двадцать две окружных мили.

Уже луна у наших ног плывет;
Недолгий срок осталось нам скитаться,
И впереди тебя другое ждет».

Я отвечал: «Когда б ты мог дознаться,
Что́ я хотел увидеть, ты и сам
Велел бы мне, быть может, задержаться».

Так говоря в ответ его словам,
Уже я шел, а впереди вожатый,
И я добавил: «В этой яме, там,

Куда я взор стремил, тоской объятый,
Один мой родич должен искупать
Свою вину, платя столь тяжкой платой».

И вождь: «Раздумий на него не трать;
Что ты его не встретил,— нет потери,
И не о нем ты должен помышлять.

Я видел с моста: гневен в высшей мере,
Он на тебя указывал перстом;
Его, я слышал, кто-то назвал Джери¹.

Ты в это время думал о другом,
Готфорского приметив властелина,
И не видал; а он ушел потом».

¹ Джери — брат деда Данте, зачинщик многих распрей, сам павший от руки некоего Саккетти.

И я: «Мой вождь, насильная кончина,
Которой не отмстили за него
Те, кто понес бесчестье,— вот причина

Его негодованья; оттого
Он и ушел, со мною нелюдимый;
И мне тем больше стало жаль его».

Так говоря, на новый свод взошли мы,
Над следующим рвом, и, будь светлей,
Нам были бы до самой глуби зримы

Последняя обитель Злых Щелей
И вся ее бесчисленная братья;
Когда мы стали, в вышине, над ней,

В меня вонзились вопли и проклятья,
Как стрелы, заостренные тоской;
От боли уши должен был зажать я.

Какой бы стон был, если б в летний зной
Собрать гуртом больницы Вальдикьяны,
Мареммы и Сардиньи и в одной

Сгрудить дыре,— так этот ров поганый
Вопил внизу, и смрад над ним стоял,
Каким смердят гноящиеся раны.

Мой вождь и я сошли на крайний вал,
Свернув, как прежде, влево от отрога,
И здесь мой взгляд живее проникал

До глуби, где, служительница Бога,
Суровая карает Правота
Поддельщиков, которых числит строго.

Едва ли горше мука разлита
Была над вымирающей Эгиной,
Когда зараза стала так люта,

Что все живые твари до единой
Побило мором, и былой народ
Воссоздан был породой муравьиной,

Как из певцов иной передает,—
Чем здесь, где духи вдоль по дну слепому
То кучами томились, то вразброд.

Кто на живот, кто на плечи другому
Упав, лежал, а кто ползком, в пыли,
По скорбному передвигался дому.

За шагом шаг, мы молчаливо шли,
Склоняя взор и слух к толпе болевших,
Бессильных приподняться от земли.

Я видел двух¹, спина к спине сидевших,
Как две сковороды поверх огня,
И от ступней по темя острупевших.

Поспешней конюх не скребет коня,
Когда он знает — господин заждался,
Иль утомившись на исходе дня,

Чем тот и этот сам в себя вгрызался
Ногтями, чтоб на миг унять свербеж,
Который только этим облегчался.

Их ногти кожу обдирали сплошь,
Как чешую с крупночешуйной рыбы
Или с леща соскабливает нож.

«О ты, чьи все растерзаны изгибы,
А пальцы, словно клещи, мясо рвут,—
Вождь одному промолвил,— не могли бы

Мы от тебя услышать, нет ли тут
Каких латинян? Да не обломаешь
Вовек ногтей, несущих этот труд!»

Он всхлипнул так: «Ты и сейчас зриаешь
На двух латинян и на их беду.
Но кто ты сам, который вопрошаешь?»

И вождь сказал: «Я с ним, живым, иду
Из круга в круг по темному простору,
Чтоб он увидел всё, что есть в Аду».

¹ Речь идет о двух алхимиках — Гриффолино и Капоккьо, сожженных как еретики на костре.

Тогда, сломав взаимную опору,
Они, дрожа, взглянули на меня,
И все, кто был свидетель разговору.

Учитель, ясный взор ко мне склоня,
Сказал: «Скажи им, что тебе угодно».
И я, охотно волю подчиня:

«Пусть память ваша не пройдет бесплодно
В том первом мире, где вы рождены,
Но много солнц продлится всенародно!

Скажите, кто вы, из какой страны;
Вы ваших омерзительных мучений
Передо мной стыдиться не должны».

«Я из Ареццо; и Альберо в Съене,—
Ответил дух,— спалил меня, хотя
И не за то, за что я в царстве теней.

Я, правда, раз ему сказал, шутя:
«Я и полет по воздуху изведаль»;
А он, живой и глупый, как дитя,

Просил его наставить; так как Дедал
Не вышел из него, то тот, кому
Он был как сын, меня сожженью предал.

Но я алхимик был, и потому
Минос, который ввек не ошибется,
Меня послал в десятую тюрьму».

И я поэту: «Где еще найдется
Народ беспутней съенцев? И самим
Французам с ними нелегко бороться!»

Тогда другой лишавый, рядом с ним,
Откликнулся: «За исключением Стрикки,
Умевшего в расходах быть скупым;

И Никколó, любителя гвоздики,
Которую он первый насадил
В саду, принесшем урожай великий;

И дружества, в котором прокутил
Ашанский Качча и сады, и чащи,
А Аббальято разум истошил.

И чтоб ты знал, кто я, с тобой трунящий
Над сьенцами, всмотрись в мои черты
И убедись, что этот дух скорбящий —

Капоккьо, тот, что в мире суеты
Алхимией поддельывал металлы;
Я, как ты помнишь, если это ты,

Искусник в обезьянстве был немалый».

ПЕСНЬ ТРИДЦАТАЯ

В те дни, когда Юнона¹ воспылала
Из-за Семелы гневом на фивян,
Как многократно это показала, —

На разум Афаманта пал туман,
И, на руках увидев у царицы
Своих сынов, безумством обуян,

Царь закричал: «Поставим сеть для львицы
Со львятами и путь им преградим!» —
И, простирая когти хищной птицы,

Схватил Леарха, размахнулся им
И раздробил младенца о каменья;
Мать утопилась вместе со вторым.

И в дни, когда с вершины дерзновенья
Фортуна Трою свергла в глубину
И сгнули владетель и владенья,

Гекуба, в горе, в бедствиях, в плену,
Увидев Поликсену умерщвленной,
А там, где море в берег бьет волну,

¹ Юнона — в ант. миф. верховная богиня, супруга Юпитера; когда тот полюбил дочь фиван. царя Семелу, Юнона посоветовала мужу явиться перед ней во всей своей славе, и это зрелище испепелило Семелу; затем она ввергла в безумие царя Афаманта, мужа сестры Семелы. Далее упомин. Гекуба — жена троян. царя Приама, сошедшая с ума от пережитых потрясений — гибели Трои, мужа и детей — Поликсены и Полидора.

Труп Полидора, страшно искаженный,
Залаяла, как пес, от боли взыв:
Не устоял рассудок потрясенный.

Но ни троянский гнев, ни ярость Фив
Свирепей не являли исступлений,
Зверям иль людям тело изъязвив,

Чем предо мной две бледных голых тени ¹,
Которые, кусая всех кругом,
Неслись, как боров, поломавший сени.

Одна Капоккьо в шею вгрызлась ртом
И с ним помчалась; испуская крики,
Он скреб о жесткий камень животом,

Дрожа всем телом: «Это Джанни Скикки,—
Промолвил аретинец.— Всем постыл,
Он донимает всех, такой вот дикий».

«О, чтоб другой тебя не укусил!
Пока он здесь, дай мне ответ нетрудный,
Скажи, кто он»,— его я попросил.

Он молвил: «Это Мирры безрассудной
Старинный дух, той, что плотских утех
С родным отцом искала в страсти блудной.

Она такой же с ним свершила грех,
Себя подделав и обману рада,
Как тот, кто там бежит, терзая всех,

Который, пожелав хозяйку стада,
Подделал старого Буозо, лег
И завещанье совершил, как надо».

Когда и тот, и этот стал далек
Свирепый дух, мой взор, опять спокоен,
К другим несчастным обратиться мог.

¹ Речь идет о флорентийце *Джанни Скикки*, который лег в постель умершего и, подражая его голосу, продиктовал нотариусу поддельное завещание, и *Мирре* — дочери кипр, царя Кинира, которая, восплавав грешной любовью к своему отцу, утоляла свою страсть, пользуясь темнотой и чужим именем.

Один совсем как лютня был устроен;
Ему бы лишь в паху отсечь долой
Весь низ, который у людей раздвоен.

Водянка породила в нем застой
Телесных соков, всю его середку
Раздув несоразмерно с головой.

И он, от жажды разевая глотку,
Распялил губы, как больной в огне,
Одну наверх, другую к подбородку.

«Вы, почему-то здоровыми вполне
Сошедшие в печальные овраги,—
Сказал он нам,— склоните взор ко мне!

Вот казнь Адамо, мастера-бедняги ¹!
Я утолял все прихоти свои,
А здесь я жажду хоть бы каплю влаги.

Всё время казентинские ручьи,
С зеленых гор свергающие в Арно
По мягким руслам свежие струи,

Передо мною блещут лучезарно.
И я в лице от этого иссох;
Моя болезнь, и та не так коварна.

Там я грешил, там схвачен был врасплох,
И вот теперь — к местам, где я лукавил,
Я осужден стремить за вздохом вздох.

Я там, в Ромене, примесью бесславил
Крестителем запечатленный сплав,
За что и тело на костре оставил.

Чтоб здесь увидеть, за их гнусный нрав,
Тень Гвидо, Алессандро иль их братца,
Всю Бранду я отдам, возликовав.

¹ Адамо — мастер, который чеканил фальшивые флорины для графов Гвидо да Ромена, за что был, по приговору Флорент. республики, сожжен на костре. Далее упомин. жена царедворца Потифара, пытавшаяся обольстить и оклеветать служившего у нее в доме прекрасного *Иосифа*, и *Синон* — греч. юноша, лживым рассказом убедивший ввести в Троию деревянного коня.

Один уж прибыл, если полагаться
На этих буйных, бегающих тут.
Да что мне в этом, раз нет сил подняться?

Когда б я был чуть-чуть поменьше вздут,
Чтоб дюйм пройти за сотню лет усилий,
Я бы давно предпринял этот труд,

Ища его среди всей этой гнили,
Хотя дорожных миль по кругу здесь
Одиннадцать да поперек полмили.

Я из-за них обезображен весь;
Для них я подбавлял неутомимо
К флоринам трехкратную подмесь».

И я: «Кто эти двое, в клубе дыма,
Как на морозе мокрая рука,
Что справа распростерты недвижимо?»

Он отвечал: «Я их, к щеке щека,
Так и застал, когда был втянут Адом;
Лежать им, видно, вечные века.

Вот лгавшая на Иосифа; а рядом
Троянский грек и лжец Синон; их жжет
Горячка, потому и преют чадом».

Сосед, решив, что не такой почет
Заслуживает знатная особа,
Ткнул кулаком в его тугой живот.

Как барабан, откликнулась утроба;
Но мастер по лицу его огрел
Рукой, насколько позволяла злоба,

Сказав ему: «Хоть я отяжелел
И мне в движенье тело непокорно,
Рука еще годна для этих дел».

«Шагая в пламя,— молвил тот задорно,—
Ты был не так-то на руку ретив,
А деньги бить она была проворна».

И толстопузый: «В этом ты правдив,
Куда правдивей, чем когда троянам
Давал ответ, душою покривив».

И грек: «Я словом лгал, а ты — чеканом!
Всего один проступок у меня,
А ты всех бесов превзошел обманом!»

«Клятвопреступник, вспомни про коня,—
Ответил вздутый,— и казись позором,
Всем памятным до нынешнего дня!»

«А ты казись,— сказал Синон,— напором
Гнилой водицы, жаждой иссушен
И животом заставлясь, как забором!»

Тогда монетчик: «Искони времен
Твою гортань от скверны раздирало;
Я жажду, да, и соком наводнен,

А ты горишь, мозг болью изглодало,
И ты бы кинулся на первый зов
Лизнуть разок Нарциссово зеркало».

Я вслушивался в звуки этих слов,
Но вождь сказал: «Что ты нашел за диво?
Я рассердиться на тебя готов».

Когда он так проговорил гневливо,
Я на него взглянул с таким стыдом,
Что до сих пор воспоминанье живо.

Как тот, кто, удрученный скорбным сном,
Во сне хотел бы, чтобы это снилось,
О сущем грезя, как о небылом,

Таков был я: мольба к устам теснилась;
Я ждал, что, вняв ей, он меня простит,
И я не знал, что мне уже простилось.

«Крупней вину смывает меньший стыд,—
Сказал мой вождь,— и то, о чем мы судим,
Тебя уныньем пусть не тяготит.

Но знай, что я с тобой, когда мы будем
Идти, быть может, так же взор склонив
К таким вот препирающимся людям:

Позыв их слушать — низменный позыв».

ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Язык, который так меня ужалил,
Что даже изменился цвет лица,
Мне сам же и лекарством язву залил;

Копье Ахилла и его отца
Бывало так же, слышал я, причиной
Начальных мук и доброго конца.

Спиной к больному рву, мы шли равниной,
Которую он поясом облегал,
И слова не промолвил ни единый.

Ни ночь была, ни день, и я не мог
Проникнуть взором в дали окоема,
Но вскоре я услышал зычный рог,

Который громче был любого грома,
И я глаза навел на этот рев,
Как будто зренье было им влекомо.

В плачевной сече, где святых бойцов
Великий Карл утратил в оны лета,
Не так ужасен был Орландов зов¹.

И вот возник из сумрачного света
Каких-то башен вознесенный строй;
И я: «Учитель, что за город это?»

«Ты мечешь взгляд,— сказал вожатый мой,—
Сквозь этот сумрак слишком издалека,
А это может обмануть порою.

¹ Старофр. «Песнь о Роланде» рассказывает, как племянник Карла Великого Роланд (*Орланд*), подвергшись нападению сарацин, с такой силой затрубил в рог, что у него лопнули жилы на висках.

Ты убедишься, приближая око,
Как, издали судя, ты был неправ;
Так подбодрись же и шагай широко».

И, ласково меня за руку взяв:
«Чтобы тебе их облик не был страшен,
Узнай сейчас, еще не увидав,

Что это — строй гигантов, а не башен;
Они стоят в колодце, вокруг жерла,
И низ их, от пупа, оградой скрашен».

Как, если тает облачная мгла,
Взгляд начинает различать немного
Всё то, что муть туманная краля,

Так, с каждым шагом, ведшим нас полого
Сквозь этот плотный воздух под уклон,
Обман мой таял, и росла тревога:

Как башнями по кругу обнесен
Монтереджоне на своей вершине,
Так здесь, венчая круговой заслон,

Маячили, подобные твердыне,
Ужасные гиганты, те, кого
Дий¹, в небе грохоча, страшит поныне.

Уже я различал у одного
Лицо и грудь, живот до бедер тучных
И руки книзу вдоль боков его.

Спасла Природа многих злополучных,
Подобные пресекши племена,
Чтоб Марс не мог иметь таких подручных;

И если нераскаянна она
В слонах или китах, тут есть раскрытый
Для взора смысл, и мера здесь видна;

¹ Дий — Зевс. Далее упоминается: Немрод — в библ. легенде царь, замысливший построить башню до небес, за что разгневанный Бог разделил единый прежде язык, и люди перестали понимать друг друга; Эфиальт, Бриарей и др. — в ант. миф. гиганты, восставшие против богов.

Затем что там, где властен разум, слитый
Со злобной волей и громадой сил,
Там для людей нет никакой защиты.

Лицом он так широк и длинен был,
Как шишка в Риме близ Петрова храма;
И весь костяк размером подходил;

От кромки — ноги прикрывала яма —
До лба не дотянулись бы вовек
Три фриза, стоя друг на друге прямо;

От места, где обычно человек
Скрепляет плащ, до бедер — тридцать клалось
Больших пядей. «Rafel mai atesch

Izabi almi», — яростно раздалось
Из диких уст, которым искони
Нежнее петь псалмы не полагалось.

И вождь ему: «Ты лучше в рог звени,
Безумный дух! В него — избыток злобы
И всякой страсти из себя гони!

О смутный дух, ощупай шею, чтобы
Найти ремень; тогда бы ты постиг,
Что рог подвешен у твоей утробы».

И мне: «Он сам явил свой истый лик;
То царь Немврод, чей замысел ужасный
Виной, что в мире не один язык.

Довольно с нас; беседы с ним напрасны:
Как он ничьих не понял бы речей,
Так никому слова его не ясны».

Мы продолжали путь, свернув левой,
И, отойдя на выстрел самострела,
Нашли другого, больше и дичей.

Чья сила великана одолела,
Не знаю; сзади — правая рука,
А левая вдоль переда висела

Прикрученной, и, оплетя бока,
Цепь завивалась, по открытой части,
От шеи вниз, до пятого витка.

«Гордец, насильем домогаясь власти,
С верховным Дием в бой вступил, и вот,—
Сказал мой вождь,— возмездье буйной страсти.

То Эфиальт; он был их верховод,
Когда богов гиганты устрашали;
Теперь он рук вовек не шевельнет».

И я сказал учителю: «Нельзя ли,
Чтобы, каков безмерный Бриарей,
Мои глаза на опыте узнали?»

И он ответил: «Здесь вблизи Антей;
Он говорит, он в пропасти порока
Опустит нас, свободный от цепей.

А тот, тобою названный,— далеко;
Как этот — скован, и такой, как он;
Лицо лишь разве более жестоко».

Так мощно башня искони времен
Не содрогалась от землетрясения,
Как Эфиальт сотрясся, разъярен.

Я ждал, в испуге, смертного мгновенья,
И впрямь меня убил бы страх один,
Когда бы я не видел эти звенья.

Мы вновь пошли, и новый исполин,
Антей, возник из темной котловины,
От чресл до шеи ростом в пять аршин.

«О ты, что в дебрях роковой долины,—
Где Сципион был вознесен судьбой,
Рассеяв Ганнибаловы дружины,—

Не счел бы львов, растерзанных тобой,
Ты, о котором говорят: таков он,
Что, если б он вел братьев в горний бой,

Сынам Земли венец был уготован,
Спусти нас — и не хмурь надменный взгляд —
В глубины, где Коцит морозом скован.

Тифей и Титий далеко стоят;
Мой спутник дар тебе вручит бесценный;
Не корчи рот, нагнись; он будет рад

Тебя опять прославить во вселенной,
Он жив и долгий век себе сулит,
Когда не будет призван в свет блаженный».

Так молвил вождь; и вот гигант спешит
Принять его в простертые ладони,
Которых крепость испытал Алкид.

Вергилий, ощутив себя в их лоне,
Сказал: «Стань тут», — и, чтоб мой страх исчез,
Обвил меня рукой, надежней брони.

Как Гаризенда, если стать под свес,
Вершину словно клонит понемногу
Навстречу туче в высоте небес,

Так надо мной, взиравшим сквозь тревогу,
Навис Антей, и в этот миг я знал,
Что сам не эту выбрал бы дорогу.

Но он легко нас опустил в провал,
Где поглощен Иуда тьмой предельной
И Люцифер. И, разогнувшись, встал,

Взнесясь подобно мачте корабельной.

ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Когда б мой стих был хриплый и скрипучий,
Как требует зловещее жерло,
Куда спадают все другие кручи,

Мне б это крепче выжать помогло
Сок замысла; но здесь мой слог некстати,
И речь вести мне будет тяжело;

Ведь вовсе не из легких предприятий —
Представить образ мирового дна;
Тут не отделаешься «мамой-тятей».

Но помощь Муз да будет мне дана,
Как Амфиону¹, строившему Фивы,
Чтоб в слове сущность выразить сполна.

Жалчайший род, чей жребий несчастливый
И молвить трудно, лучше б на земле
Ты был овечьим стадом, нечестивый!

Мы оказались в преисподней мгле,
У ног гиганта, на равнине гладкой,
И я дивился шедшей вверх скале,

Как вдруг услышал крик: «Шагай с оглядкой!
Ведь ты почти что на головы нам,
Злосчастливым братьям, наступаешь пяткой!»

Я увидел, взглянув по сторонам,
Что подо мною озеро, от стужи
Подобное стеклу, а не волнам.

В разгар зимы не облечен снаружи
Таким покровом в Австрии Дунай,
И дальний Танаис твердеет хуже;

Когда бы Тамбернику невзначай
Иль Пьетрапане дать сюда свалиться,
У озера не хрустнул бы и край.

И как лягушка выставить ловчится,
Чтобы поквакать, рыльце из пруда,
Когда жнее страда и ночью снится,

Так, вмерзши до таилища стыда
И аисту под звук стуча зубами,
Синели души грешных изо льда.

Свое лицо они склоняли сами,
Свидетельствуя в облике таком
О стуже — ртом, о горести — глазами.

¹ В ант. миф. Амфион, воцарясь в Фивах, окружил город стеною, причем камни под звуки его лиры сами ложились один на другой.

Взглянув окрест, я вновь поник челом
И увидал двоих, так сжатых рядом,
Что волосы их сбились в цельный ком.

«Вы, грудь о грудь окованные хладом,—
Сказал я,— кто вы?» Каждый шею взнес
И на меня оборотился взглядом.

И их глаза, набухшие от слез,
Излились влагой, и она застыла,
И веки им обледенил мороз.

Бревно с бревном скоба бы не скрепила
Столь прочно; и они, как два козла,
Боднулись лбами,— так их злость душила.

И кто-то молвил, не подняв чела,
От холода безухий: «Что такое?
Зачем ты в нас глядишь, как в зеркала?»

Когда ты хочешь знать, кто эти двое:
Им завещал Альберто, их отец,
Бизенцкий дол, наследье родовое.

Родные братья ¹; из конца в конец
Обшарь хотя бы всю Кайну,— гаже
Не вязнет в студне ни один мертвец:

Ни тот, которому, на зоркой страже,
Артур пронзил копьем и грудь, и тень,
Ни сам Фокачча, ни вот этот даже,

Что головой мне застит скудный день
И прозывался Сассоль Маскерони;
В Тоскане слышали про эту тень.

А я,— чтоб всё явить, как на ладони,—
Был Камичон де'Пацци, и я жду
Карлино, для затмения беззаконий».

¹ Речь идет о братьях Альберти, графах Мангона, взаимная вражда которых довела до того, что они убили друг друга. Далее упомин. *Фокачча*, *Бокка* и др.— предатели своих родственников или родины.

Потом я видел сотни лиц во льду,
Подобных песьим мордам; и донныне
Страх у меня к замерзшему пруду.

И вот, пока мы шли к той середине,
Где сходится всех тяжестей поток,
И я дрожал в темнеющей пустыне,—

Была то воля, случай или рок,
Не знаю,— только, меж голов ступая,
Я одному ногой ушиб висок.

«Ты что дерешься?» — вскрикнул дух, стеная.—
Ведь не пришел же ты меня толкнуть,
За Монтаперти лишний раз отмщая?»

И я: «Учитель, подожди чуть-чуть;
Пусть он меня избавит от сомнений;
Потом ускорим, сколько хочешь, путь».

Вожатый стал; и я промолвил тени,
Которая ругалась всем дурным:
«Кто ты, к другим столь злобный средь мучений?»

«А сам ты кто, ступающий другим
На лица в Антеноре,— он ответил,—
Больней, чем если бы ты был живым?»

«Я жив, и ты бы утешенье встретил,—
Был мой ответ,— когда б из рода в род
В моих созвучьях я тебя отметил».

И он сказал: «Хочу наоборот,
Отстань, уйди; хитрец ты плоховатый:
Нашел, чем льстить средь ледяных болот!»

Вцепясь ему в затылок волосатый,
Я так сказал: «Себя ты назовешь
Иль без волос останешься, проклятый!»

И он в ответ: «Раз ты мне космы рвешь,
Я не скажу, не обнаружу, кто я,
Хотя б меня ты изувечил сплошь».

Уже, рукой в его загривке роя,
Я не одну ему повыдрал прядь,
А он глядел всё книзу, громко воя.

Вдруг кто-то крикнул: «Бокка, брось орать!
И без того уж челюстью грохочешь.
Разлалялся! Кой черт с тобой опять?»

«Теперь молчи,— сказал я,— если хочешь,
Предатель гнусный! В мире свой позор
Через меня навеки ты упрочишь».

«Ступай,— сказал он,— врать тебе простор.
Но твой рассказ пусть в точности означает
И этого, что на язык так скор.

Он по французским денежкам здесь плачет.
«Дуэра,— ты расскажешь,— водворен
Там, где в прохладе грешный люд маячит».

А если спросят, кто еще, то вон —
Здесь Беккерия, ближе братья прочей,
Которому нашейник рассечен;

Там Джанни Сольданьер потупил очи,
И Ганеллон, и Тебальделло с ним,
Тот, что Фаэнцу отомкнул средь ночи».

Мы отошли, и тут глазам моим
Предстали двое, в яме леденя;
Один, как шапкой, был накрыт другим.

Как хлеб грызет голодный, стервенея,
Так верхний зубы нижнему вонзал
Туда, где мозг смыкаются и шея.

И сам Тидей не яростней глодал
Лоб Меналиппа, в час перед кончиной,
Чем этот призрак череп пожирал.

«Ты, одержимый злобою звериной
К тому, кого ты истерзал, жуя,
Скажи,— промолвил я,— что ей причиной.

И если праведна вражда твоя,—
Узнав, кто вы и чем ты так обижен,
Тебе на свете послужу и я,

Пока не станет мой язык недвижим».

ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Подняв уста от мерзостного брашна,
Он вытер свой окровавленный рот
О волосы, в которых грыз так страшно,

Потом сказал: «Отчаянных невзгод
Ты в скорбном сердце обновляешь бремя;
Не только речь, и мысль о них гнетет.

Но если слово прорастет, как семя,
Хулой врагу, которого гложу,
Я рад вещать и плакать в то же время.

Не знаю, кто ты, как прошел между
Печальных стран, откуда нет возврата,
Но ты тосканец, как на слух сужу.

Я графом Уголино был когда-то,
Архиепископом Руджери¹ — он;
Недаром здесь мы ближе, чем два брата.

Что я злодейски был им обойден,
Ему доверяюсь, заточен как пленник,
Потом убит,— известно испокон;

Но ни один не ведал современник
Про то, как смерть моя была страшна.
Внемли и знай, что сделал мой изменник.

В отверстие клетки — с той поры она
Голодной Башней называться стала,
И многим в ней неволя суждена —

¹ Граф Уголино — глава Пизанск. республики; обвиненный архиепископом Руджери в гос. измене, он был заточен с детьми и внуками в башню и уморен голодом.

Я новых лун перевидал немало,
Когда зловещий сон меня потряс,
Грядущего разверзши покрывало.

Он, с ловчими, — так снилось мне в тот час, —
Гнал волка и волчат от их стоянки
К холму, что Лукку заслонил от нас;

Усердных псиц задорил дух приманки,
А головными впереди неслись
Гваланди, и Сисмонди, и Ланфранки.

Отцу и детям было не спастись:
Охотникам досталась их потреба,
И в ребра зубы острые впились.

Очнувшись раньше, чем зарделось небо,
Я услышал, как, мучимые сном,
Мои четыре сына просят хлеба.

Когда без слез ты слушаешь о том,
Что этим стоном сердцу возвещалось, —
Ты плакал ли когда-нибудь о чем?

Они проснулись; время приближалось,
Когда тюремщик пищу подает,
И мысль у всех недавним сном терзалась.

И вдруг я слышу — забивают вход
Ужасной башни; я глядел, застылый,
На сыновей; я чувствовал, что вот —

Я каменею, и стонать нет силы;
Стонали дети; Ансельмуччо мой
Спросил: «Отец, что ты так смотришь, милый?»

Но я не плакал; молча, как немой,
Провел весь день и ночь, пока денница
Не вышла с новым солнцем в мир земной.

Когда луча ничтожная частица
Проникла в скорбный склеп и я открыл,
Каков я сам, взглянув на эти лица, —

Себе я пальцы в муке укусил.

Им думалось, что это голод нудит
Меня кусать; и каждый, встав, просил:

«Отец, ешь нас, нам это легче будет;
Ты дал нам эти жалкие тела,—
Возьми их сам; так справедливость судит».

Но я утих, чтоб им не делать зла.
В безмолвье день, за ним другой промчался.
Зачем, земля, ты нас не пожрала!

Настал четвертый. Гаддо зашатался
И бросился к моим ногам, стения:
«Отец, да помоги же!» — и скончался.

И я, как ты здесь смотришь на меня,
Смотрел, как трое пали друг за другом
От пятого и до шестого дня.

Уже слепой, я щупал их с испугом,
Два дня звал мертвых с волями тоски;
Но злей, чем горе, голод был недугом».

Тут он умолк и вновь, скосив зрачки,
Вцепился в жалкий череп, в кость вонзая
Как у собаки крепкие клыки.

О Пиза, стыд пленительного края,
Где раздается si! Коль медлит суд
Твоих соседей,— пусть, тебя карая,

Капрара и Горгона с мест сойдут
И устье Арно заградят заставой,
Чтоб утонул весь твой бесчестный люд!

Как ни был бы ославлен темной славой
Граф Уголино, замки уступив,—
За что детей вести на крест неправый!

Невинны были, о исчадь Фив,
И Угуччоне с молодым Бригатой,
И те, кого и назвал, в песнь вложив.

Мы шли вперед равниною покатою
Туда, где, лежа навзничь, грешный род
Терзается, жестоким льдом зажатый.

Там самый плач им плакать не дает,
И боль, прорвать не в силах покрывала,
К сугубой муке снова внутрь идет;

Затем что слезы с самого начала,
В подбровной накопляясь глубине,
Твердеют, как хрустальные забрала.

И в этот час, хоть и казалось мне,
Что всё мое лицо, и лоб, и веки
От холода бесчувственны вполне,

Я ощутил как будто ветер некий.
«Учитель,— я спросил,— чем он рожден?
Ведь всякий пар угашен здесь навеки».

И вождь: «Ты вскоре будешь приведен
В то место, где, узрев ответ воочью,
Постигнешь сам, чем воздух возмущен».

Один из тех, кто скован льдом и ночью,
Вскричал: «О души, злые до того,
Что вас послали прямо к средоточью,

Снимите гнет со взгляда моего,
Чтоб скорбь излилась хоть на миг слезою,
Пока мороз не затянул его».

И я в ответ: «Тебе я взор открою,
Но назовись; и если я солгал,
Пусть окажется под ледяной корою!»

«Я — инок Альбериго¹, — он сказал, —
Тот, что плоды растил на злое дело
И здесь на финик смокву променял».

¹ *Альбериго* — член ордена братьев-гаудентов, один из гвельф. главарей, отдавший распоряжение убить своего родственника и его сына у себя на пиру, мстя за нанесенную ему когда-то пощечину. Далее упомин. *Бранка д'Орля* — рыцарь, достигший власти благодаря браку с дочерью Микеля Цанке (см. с. 103) и предательски убивший его.

«Ты разве умер?» — с уст моих слетело.
И он в ответ: «Мне ведать не дано,
Как здравствует мое земное тело.

Здесь, в Толмее, так заведено,
Что часто души, раньше, чем сразила
Их Атропос, уже летят на дно.

И чтоб тебе еще приятней было
Снять у меня стеклянный полог с глаз,
Знай, что, едва предательство свершила,

Как я, душа, вселяется тотчас
Ей в тело бес, и в нем он остается,
Доколе срок для плоти не угас.

Душа катится вниз, на дно колодца.
Еще, быть может, к мертвым не причли
И ту, что там за мной от стужи жметя.

Ты это должен знать, раз ты с земли:
Он звался Бранка д'Орья; наши братья
С ним свыклись, годы вместе провели».

«Что это правда, мало вероятья,—
Сказал я.— Бранка д'Орья жив, здоров,
Он ест, и пьет, и спит, и носит платья».

И дух в ответ: «В смолой кипящий ров
Еще Микеле Цанке не направил,
С землюю разлучась, своих шагов,

Как этот беса во плоти оставил
Взамен себя, с сородичем одним,
С которым вместе он себя прославил.

Но руку протяни к глазам моим,
Открой мне их!» И я рукой не двинул,
И было доблестью быть подлым с ним.

О генуэзцы, вы, в чьем сердце минул
Последний стыд и все осквернено,
Зачем ваш род еще с земли не сгинул?

С гнуснейшим из романцев заодно
Я встретил одного из вас, который
Душой в Коците погружен давно,

А телом здесь обманывает взоры.

ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

«Vexilla regis prodeunt inferni¹

Навстречу нам,— сказал учитель.— Вот,
Смотри, уже он виден в этой черни».

Когда на нашем небе ночь встает
Или в тумане меркнет ясность взгляда,
Так мельница вдали крылами бьет,

Как здесь во мгле встававшая громада.
Я хоронился за вождем, как мог,
Чтобы от ветра мне была пощада.

Мы были там,— мне страшно этих строк,—
Где тени в недрах ледяного слоя
Сквозят глубоко, как в стекле сучок.

Одни лежат; другие вмерзли стоя,
Кто вверх, кто книзу головой застыв;
А кто — дугой, лицо ступнями края.

В безмолвии дальнейший путь свершив
И пожелав, чтобы мой взгляд окинул
Того, кто был когда-то так красив,

Учитель мой вперед меня подвинул,
Сказав: «Вот Дит, вот мы пришли туда,
Где надлежит, чтоб ты боязнь оттринул».

Как холоден и слаб я стал тогда,
Не спрашивай, читатель; речь — убоже;
Писать о том не стоит и труда.

Я не был мертв, и жив я не был тоже;
А рассудить ты можешь и один:
Ни тем, ни этим быть — с чем это схоже.

¹ «Близятся знамена царя Ада» (лат.).

Мучительной державы властелин
 Грудь изо льда вздымал наполовину;
 И мне по росту ближе исполин,

Чем руки Люцифера исполину;
 По этой части ты бы сам расчел,
 Каков он весь, ушедший телом в льдину.

О, если вежды он к Творцу возвел
 И был так дивен, как теперь ужасен,
 Он, истинно, первопричина зол!

И я от изумленья стал безгласен,
 Когда увидел три лица на нем;
 Одно — над грудью, цвет его был красен;

А над одним и над другим плечом
 Два смежных с этим в стороны грозило,
 Смыкаясь на затылке под хохлом.

Лицо направо — бело-желтым было;
 Окраска же у левого была,
 Как у пришедших с водопадов Нила.

Росло под каждым два больших крыла,
 Как должно птице, столь великой в мире;
 Таких ветрил и мачта не несла.

Без перьев, вид у них был нетопырий;
 Он ими веял, движа рамена,
 И гнал три ветра вдоль по темной шири,

Струи Коцита леденя до дна.
 Шесть глаз точило слезы, и стекала
 Из трех пастей кровавая слюна.

Они все три терзали, как трепала,
 По грешнику; так с каждой стороны
 По одному, в них трое изнывало.

Переднему не зубы так страшны,
 Как ногти были, всё одну и ту же
 Сдирающие кожу со спины.

«Тот, наверху, страдающий всех хуже,—
Промолвил вождь,— Иуда Искарьот¹,
Внутри головой и пятками наруже.

А эти — видишь — головой вперед:
Вот Брут, свисающий из черной пасти;
Он корчится — и губ не разомкнет!

Напротив — Кассий, телом коренастей.
Но наступает ночь; пора и в путь;
Ты видел всё, что было в нашей власти».

Велев себя вкруг шеи обомкнуть
И выбрав миг и место, мой вожатый,
Как только крылья обнажили грудь,

Приблизился, вцепился в стан косматый
И стал спускаться вниз, с клона на клон,
Меж корок льда и грудью волосатой.

Когда мы пробирались там, где бок,
Загнув к бедру, дает уклон пологий,
Вождь, тяжело дыша, с усиьем лег

Челом туда, где прежде были ноги,
И стал по шерсти подыматься ввысь,
Я думал — вспять, по той же вновь дороге.

Учитель молвил: «Крепче ухватись,—
И он дышал, как человек усталый.—
Вот путь, чтоб нам из бездны зла спастись».

Он в толще скал проник сквозь отступ малый,
Помог мне сесть на край, потом ко мне
Уверенно перешагнул на скалы.

Я ждал, глаза подьемля к Сатане,
Что он такой, как я его покинул,
А он торчал ногами к вышине.

¹ *Иуда Искариот* — один из апостолов, предавший своего учителя Христа за 30 сребреников. Далее упомин. *Брут* и *Кассий*, убившие (в 44 г. до н. э.) Юлия Цезаря, основоположника Рим. республики.

И что за трепет на меня нахлынул,
Пусть судят те, кто, слыша мой рассказ,
Не угадал, какой рубеж я минул.

«Встань,— вождь промолвил.— Ожидает нас
Немалый путь, и нелегка дорога,
А солнце входит во второй свой час».

Мы были с ним не посреди чертога;
То был, верней, естественный подвал,
С неровным дном, и свет мерцал убого.

«Учитель,— молвил я, как только встал,—
Пока мы здесь, на глубине безвестной,
Скажи, чтоб я в сомненьях не блуждал:

Где лед? Зачем вот этот в яме тесной
Торчит стремглав? И как уже пройден
От ночи к утру солнцем путь небесный?»

«Ты думал — мы, как прежде,— молвил он,—
За средоточьем, там, где я вцепился
В руно червя, которым мир пронзен?»

Спускаясь вниз, ты там и находился;
Но я в той точке сделал поворот,
Где гнет всех грузов отовсюду слился;

И над тобой теперь небесный свод,
Обратный своду, что взнесен навеки
Над сушей и под сенью чьих высот

Угасла жизнь в безгрешном Человеке;
Тебя держащий каменный настил
Есть малый круг, обратный лик Джудекки.

Тут — день встает, там — вечер наступил;
А этот вот, чья лестница мохната,
Все так же воткнут, как и прежде был.

Сюда с небес вонзился он когда-то;
Земля, что раньше наверху цвела,
Застлалась морем, ужасом объята,

И в наше полушарье перешла;
И здесь, быть может, вверх горой скакнула,
И он остался в пустоте дупла».

Там место есть, вдали от Вельзевула,
Насколько стены склепа вдаль ведут;
Оно приметно только из-за гула

Ручья, который вытекает тут,
Пробившись через камень, им точимый;
Он вьется сверху, и наклон не крут.

Мой вождь и я на этот путь незримый
Ступили, чтоб вернуться в ясный свет,
И двигались всё вверх, неутомимы,

Он — впереди, а я ему вослед,
Пока моих очей не озарила
Краса небес в зияющий просвет;

И здесь мы вышли вновь узреть светила.

ЧИСТИЛИЩЕ

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Для лучших вод подъемля парус ныне,
Мой гений вновь стремится свою ладью,
Блуждавшую в столь яростной пучине,

И я второе царство воспою,
Где души обретают очищенье
И к вечному восходят бытию.

Пусть мертвое воскреснет песнопенье,
Святые Музы,— я взываю к вам;
Пусть Каллиопа, мне в сопровожденье,

Поднявшись вновь, ударит по струнам,
Как встарь, когда Сорок сразила лира
И нанесла им беспощадный срам¹.

Отрадный цвет восточного сапфира,
Накопленный в воздушной вышине,
Прозрачной вплоть до первой тверди мира,

¹ Пиериды, дочери фессал. царя, дерзнули состязаться в искусстве песнопения с музами, на стороне которых выступала *Каллиопа*, муза эпической поэзии, но были посрамлены и превращены в сорок.

Опять мне очи упоил вполне,
Чуть я расстался с тьмью без рассвета,
Глаза и грудь отяготившей мне.

Маяк любви, прекрасная планета,
Зажгла восток улыбкою лучей,
И ближних Рыб затмила ясность эта.

Я вправо, к остью, поднял взгляд очей,
И он пленился четырьмя звездами¹,
Чей отсвет первых озарял людей.

Казалось, твердь ликует их огнями;
О северная сирая страна,
Где их сверканье не горит над нами!

Покинув оком эти пламена,
Я обратился к остью полуночи,
Где Колесница не была видна;

И некий старец мне предстал пред очи,
Исполненный почтенности такой,
Какой для сына полон облик отчий.

Цвет бороды был исчерна-седой,
И ей волна волос уподоблялась,
Ложась на грудь раздвоенной грядой.

Его лицо так ярко украшалось
Священным светом четырех светил,
Что это блещет солнце — мне казалось.

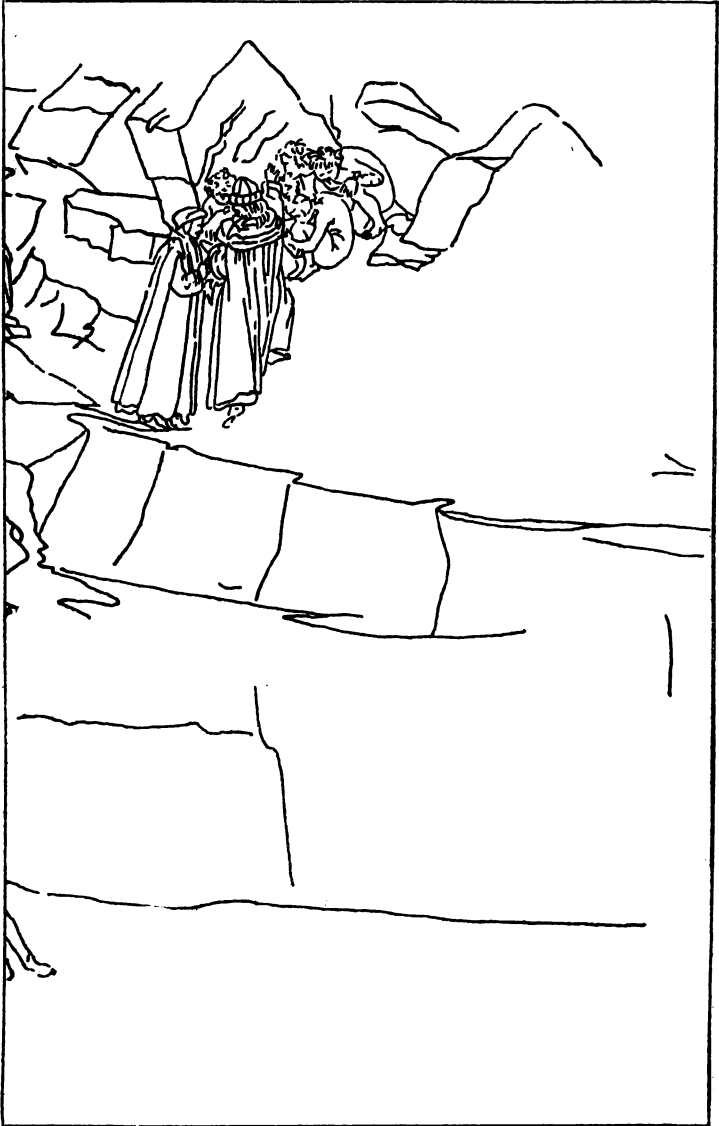
«Кто вы, и кто темницу вам открыл,
Чтобы к слепому выйти водопаду? —
Колебля оперенье, он спросил.—

Кто вывел вас? Где взяли вы лампаду,
Чтоб выбраться из глубины земли
Сквозь черноту, разлитую по Аду?

Вы ль над законом бездны возмogli,
Иль новое решилось в горней сени,
Что падшие к скале моей пришли?»

¹ Четыре звезды символизируют добродетели: мудрость, справедливость, мужество и умеренность.





Мой вождь, внимая величавой тени,
И голосом, и взглядом, и рукой
Мне преклонил и веки, и колени.

Потом сказал: «Я здесь не сам собой.
Жена сошла с небес, ко мне взывая,
Чтоб я помог идущему со мной.

Но раз ты хочешь точно знать, какая
У нас судьба, то это мне закон,
Который я уважу, исполняя.

Последний вечер не изведаль он;
Но был к нему так близок, безрассудный,
Что срок ему недолгий был сужден.

Как я сказал, к нему я в этот трудный
Был послан час; и только через тьму
Мог вывести его стезею чудной.

Весь грешный люд я показал ему;
И души показать ему желаю,
Врученные надзору твоему.

Как мы блуждали, я не излагаю;
Мне сила свыше помогла, и вот
Тебя я вижу и тебе внимаю.

Ты благосклонно встретить его приход:
Он восхотел свободы, столь бесценной,
Как знают все, кто жизнь ей отдает.

Ты это знал, приняв, как дар блаженный,
Смерть в Утике, где ризу бытия
Совлек, чтоб в грозный день ей стать нетленной¹.

Запретов не ломал ни он, ни я:
Он — жив, меня Минос нигде не тронет,
И круг мой — тот, где Марция твоя

¹ Речь идет о Катоне Младшем, гос. деятеле конца Рим. республики, который, не пожелав пережить ее крушение, покончил с собой; Данте делает его стражем Чистилища. *Марция* — жена Катона.

На дне очей мольбу к тебе хоронит,
О чистый дух, считать ее своей.
Пусть мысль о ней и к нам тебя преклонит!

Дай нам войти в твои семь царств¹, чтоб ей
Тебя я славил, ежели пристала
Речь о тебе средь горестных теней».

«Мне Марция настолько взор пленяла,
Пока я был в том мире,— он сказал,—
Что для нее я делал всё, бывало.

Теперь меж нас бежит зловещий вал;
Я, изведенный силою чудесной,
Блюда устав, к ней безучастен стал.

Но если ты посол жены небесной,
Достаточно и слова твоего,
Без всякой льстивой речи, здесь неуместной.

Ступай и тростью опояшь его
И сам ему омой лицо, стирая
Всю грязь, чтоб не осталось ничего.

Нельзя, глазами мглистыми взирая,
Идти навстречу первому из слуг,
Принадлежащих к светлым сонмам Рая.

Весь этот островок обвив вокруг,
Внизу, где море бьет в него волною,
Растет тростник вдоль илистых излук.

Растения, обильные листвою
Иль жесткие, не могут там расти,
Затем что неуступчивы прибою.

Вернитесь не по этому пути;
Восходит солнце и покажет ясно,
Как вам удобней на гору взойти».

Так он исчез; я встал с колен и, страстно
Прильнув к тому, кто был моим вождем,
Его глаза я вопрошал безгласно.

¹ Данте изображает Чистилище в виде горы, опоясанной семью уступами — кругами Чистилища.

Он начал: «Сын, ступай за мной; идем
В ту сторону; мы здесь на косогоре
И по уклону книзу повернем».

Уже заря одолевала в споре
Нестойкий мрак, и, устремляя взгляд,
Я различал трепещущее море.

Мы шли, куда нас вел безлюдный скат,
Как тот, кто вновь дорогу обретает
И, лишь по ней шагая, будет рад.

Дойдя дотуда, где роса вступает
В боренье с солнцем, потому что там,
На ветерке, нескоро исчезает,—

Раскрыв ладони, к влажным муравам
Нагнулся мой учитель знаменитый,
И я, поняв, к нему приблизил сам

Слезами орошенные ланиты;
И он вернул мне цвет,— уже навек,
Могло казаться, темным Адом скрытый.

Затем мы вышли на пустынный берег,
Не видевший, чтобы отсюда начал
Обратный путь по волнам человек.

Здесь пояс он мне свил, как тот назначил.
О удивленье! Чуть он выбирал
Смиренный стебель, как уже маячил

Сейчас же новый там, где он сорвал.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Уже сближалось солнце, нам незримо,
С тем горизонтом, чей полдневный круг
Вершиной лег поверх Ерусалима;

А ночь, напротив двигаясь вокруг,
Взошла из Ганга и весы держала,
Чтоб, одолев, их выронить из рук;

И на щеках Авроры, что сияла
Там, где я был, мерк бело-алый цвет,
От времени желтея обветшало.

Мы ждали там, где нас застал рассвет,
Как те, что у распутья, им чужого,
Душою движутся, а телом нет.

И вот, как в слое воздуха густого,
На западе, над самым лоном вод,
В час перед утром Марс горит багрово,

Так мне сверкнул — и снова да сверкнет! —
Свет, по волнам стремившийся так скоро,
Что не сравнится никакой полет.

Пока глаза от водного простора
Я отстранял, чтобы спросить вождя,
Свет ярче стал и явственней для взора.

По сторонам, немного погода,
Какой-то белый блеск разросся чудно,
Другой — под ним, отвесно нисходя.

Мой вождь молчал, но было уж нетрудно
Узнать крыла в той первой белизне,
И он, поняв, кто направляет судно,

«Склони, склони колена! — крикнул мне.—
Молись, вот ангел Божий! Ты отныне
Их много встретишь в горней вышине.

Смотри, как этот, в праведной гордыне,
Ни вёсел не желает, ни ветрил,
И правит крыльями в морской пустыне!

Смотри, как он их к небу устремил,
Взвевая воздух вечным опереньем,
Не переменным, как у смертных крыл».

А тот, светлея с каждым мановеньем,
Господней птицей путь на нас держал;
Я, дольше не выдерживая зреньем,

Потупил взгляд; а он к земле пристал,
И челн его такой был маловесный,
Что даже и волну не рассекал.

Там на корме стоял пловец небесный,
Такой, что счастье — даже речь о нем;
Вмещал сто душ и больше струг чудесный.

«In exitu Israēl»¹ — так, в одном
Сливаясь хоре, их звучало пенье,
И всё, что дальше говорит псалом.

Он дал им крестное благословенье,
И все на берег кинулись гурьбой,
А он уплыл, опять в одно мгновенье.

Толпа дичилась, видя пред собой
Безвестный край, смущенная немного,
Как тот, кто повстречался с новизной.

Уже лучи во все концы отлого
Метало солнце, их стрелами сбив
С небесной середины Козерога,

Когда отряд прибывших, устремив
На нас глаза, сказал нам: «Мы не знаем,
Каким путем подняться на обрыв».

Вергилий им ответил: «С этим краем
Знакомимся мы сами в первый раз;
Мы тоже здесь как странники ступаем.

Мы прибыли немного раньше вас,
Другим путем, где круча так сурова,
Что вверх идти — теперь игра для нас».

Внимавшие, которым было ново,
Что у меня дыханье на устах,
Дивясь, бледнели, увидав живого.

Как на гонца с оливою в руках
Бежит народ, чтобы узнать, в чем дело,
И все друг друга давят второпях,

¹ «Когда вышел Израиль» (лат.).

Так и толпа счастливых душ глядела
В мое лицо, забыв стезю высот
И чаянье прекрасного удела.

Одна ко мне продвинулась вперед,
Объятия раскрыв так благодатно,
Что я ответил тем же в свой черед.

О призрачные тени! Троекратно
Сплетал я руки, чтоб ее обнять,
И трижды приводил к груди обратно.

Смушенья ли была на мне печать,
Но тень с улыбкой стала отдаляться,
И ей вослед я двинулся опять.

Она сказала мне не приближаться;
И тут ее узнал я без труда
И попросил на миг со мной остаться.

«Как в смертном теле,— молвил дух тогда,—
Тебя любил я, так люблю вне тленья.
Я подожду; а ты идешь куда?»

«Каселла мой, я ради возвращенья
Сюда же,— я сказал,— предпринял путь.
Но где ты был, чтоб так терять мгновенья?»

И он: «Обидой не было отнюдь,
Что он, беря, кого ему угодно,
Мне долго к прочим не давал примкнуть;

Его желанье с высшей правдой сходно.
Теперь уже три месяца подряд
Всех, кто ни просит, он берет свободно.

И вот, на взморье устремляя взгляд,
Где Тибр горчит, растворясь в соленом,
Я был им тоже в этом устье взят,

Куда сейчас он реет водным лоном
И где всегда в ладью сажает он
Того, кто не притянут Ахероном».

И я: «О, если ты не отлучен
От дара нежных песен, что, бывало,
Мою тревогу погружали в сон,

Не уходи, не спев одну сначала
Моей душе, которая, в земной
Идущая личине, так устала!»

«Любовь, в душе беседа со мной», —
Запел он так отрадно, что отрада
И до сих пор звенит во мне струной.

Мой вождь, и я, и душ блаженных стадо
Так радостно ловили каждый звук,
Что лучшего, казалось, нам не надо.

Мы напряженно слушали, но вдруг
Величественный старец крикнул строго:
«Как, мешкотные души? Вам досуд

Вот так стоять, когда вас ждет дорога?
Спешите в гору, чтоб очистить взор
От шелухи, для лицезренья Бога».

Как голуби, клюя зерно иль сор,
Толпятся, молчаливые, без счета,
Прервав свой горделивый разговор,

Но, если вдруг их испугает что-то,
Тотчас бросают корм и прочь спешат,
Затем что поважней у них забота, —

Так, видел я, неопытный отряд,
Бросая песнь, спешил к пяте обрыва,
Как человек, идущий наугад;

Была и наша поступь тороплива.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

В то время как внезапная тревога
Гнала их россыпью к подножью скал,
Где правда нас испытывает строго,

Я верного вождя не покидал:
Куда б я устремился, одинокий?
Кто путь бы мне к вершине указал?

Я чувствовал его самоупреки.
О совесть тех, кто праведен и благ,
Тебе и малый грех — укол жестокий!

Когда от спешки он избавил шаг,
Которая в движеньях неприглядна,
Мой ум, который всё не мог никак

Расшириться, опять раскрылся жадно,
И я глаза возвел перед стеной,
От моря к небу взнесшейся громадно.

Свет солнца, багровевшего за мной,
Ломался впереди меня, покорный
Преграде тела, для него сплошной.

Я оглянулся с дрожью непритворной,
Боясь, что брошен,— у моих лишь ног
Перед собою видя землю черной.

И пестун мой: «Ты ль это думать мог? —
Сказал, ко мне всей грудью обращенный.—
Ведь я с тобой, и ты не одинок.

Теперь уж вечер там, где, погребенный,
Почиет прах, мою кидавший тень,
Неаполю Брундузием врученный¹.

И если я не затмеваю день,
Дивись не больше, чем кругам небесным:
Луч, не затмясь, проходит сквозь их сень.

Но стуже, зною и скорбям телесным
Подвержены и наши существа
Могуществом, в путях своих безвестным.

Поистине безумные слова —
Что постижима разумом стихия
Единого в трех лицах естества!

¹ По велению императора Августа тело Вергилия, умершего *Брундузии*, было перенесено в Неаполь.

О род людской, с тебя довольно quia ¹;
Будь всё открыто для очей твоих,
То не должна бы и рождать Мария.

Ты видел жажду тщетную таких,
Которые бы жажду утолили,
Навеки мукой ставшую для них.

Средь них Платон и Аристотель были
И многие». И взор потупил он
И смолк, и горечь губы затаили.

Уже пред нами вырос горный склон,
Стеной такой обрывистой и строгой,
Что самый ловкий был бы уstraшен.

Какой бы дикой ни идти дорогой
От Лериче к Турбии, худший путь
В сравненье был бы лестницей пологой.

«Как знать, не ниже ль круча где-нибудь,—
Сказал, остановившись, мой вожатый,—
Чтоб мог бескрылый на нее шагнуть?»

Пока он медлил, думою объятый,
Не отрывая взоров от земли,
А я оглядывал крутые скаты,—

Я увидал левей меня, вдали,
Чреду теней, к нам подвигавших ноги,
И словно тщетно,— так все тихо шли.

«Взгляни, учитель, и рассея тревоги,—
Сказал я.— Вот кто нам подаст совет,
Когда ты сам не ведаешь дороги».

Взглянув, он молвил радостно в ответ:
«Пойдем туда, они идут так вяло.
Мой милый сын, вот путеводный свет».

Толпа от нас настолько отстояла
И после нашей тысячи шагов,
Что бросить камень — только бы достало,

¹ «Потому что» (лат.) — Вергилий советует довольствоваться первоначальными знаниями и не вникать в причины того, что есть.

Как вдруг они, всем множеством рядов
Теснясь к скале, свой ход остановили,
Как тот, кто шел и стал, дивясь без слов.

«Почивший в правде,— молвил им Вергилий,—
Сонм избранных, и мир да примет вас,
Который, верю, все вы заслужили,

Скажите, есть ли тут тропа для нас,
Чтоб мы могли подняться кручей склона;
Для умудренных ценен каждый час».

Как выступают овцы из загона,
Одна, две, три, и головы, и взгляд
Склоняя робко до земного лона,

И все гурьбой за первую спешат,
А стоит стать ей,— смирно, ряд за рядом,
Стоят, не зная, почему стоят;

Так шедшие перед блаженным стадом
К нам приближались с думой на челе,
С достойным видом и смиренным взглядом.

Но видя, что пред ними на земле
Свет разорвался и что тень сплошная
Ложится вправо от меня к скале,

Ближайшие смутились, отступая;
И весь шагавший позади народ
Отхлынул тоже, почему — не зная.

«Не спрошенный, ответу наперед,
Что это — человеческое тело;
Поэтому и свет к земле нейдет.

Не удивляйтесь, но поверьте смело:
Иная воля, свыше нисходя,
Ему осилить этот склон велела».

На эти речи моего вождя:
«Идите с нами»,— было их ответом;
И показали, руку отводя.

«Кто б ни был ты,— сказал один при этом,—
Вглядись в меня, пока мы так идем!
Тебе знаком я по земным приметам?»

И я свой взгляд остановил на нем;
Он русый был, красивый, взором светел,
Но бровь была рассечена рубцом.

Я искренне неведеньем ответил.
«Смотри!» — сказал он, и смертельный след
Я против сердца у него заметил.

И он сказал с улыбкой: «Я Манфред ¹,
Родимый внук Костанцы величавой;
Вернувшись в мир, прошу, снеси привет

Моей прекрасной дочери, чьей славой
Сицилия горда и Арагон,
И ей скажи не верить лжи лукавой.

Когда я дважды насмерть был пронзен,
Себя я предал, с плачем сокрушенья,
Тому, которым и злодей прощен,

Мои ужасны были прегрешенья;
Но милость Божья рада всех обнять,
Кто обратится к ней, ища спасенья.

Умей страницу эту прочитать
Козенцкий пастырь, Климентом избранный
На то, чтобы меня, как зверя, гнать,—

Мои останки были бы сохранны
У моста Беневенто, как в те дни,
Когда над ними холм воздвигся бранный.

Теперь в изгнанье брошены они
Под дождь и ветер, там, где Верде льется,
Куда он снес их, погасив огни.

¹ *Манфред* — король Неаполя и Сицилии (с 1258 по 1266), непримиримый противник папства, отлученный от церкви; согласно воле папы *Климента IV* останки погибшего в бою короля были вырыты из могилы и перенесены за пределы Неаполит. королевства.

Предвечная любовь не отвернется
И с тех, кто ими проклят, снимет гнет,
Пока хоть листик у надежды бьется.

И всё ж, кто в распре с церковью умрет,
Хотя в грехах успел бы повиниться,
Тот у подножья этой кручи ждет,

Доколе тридцать раз не завершится
Срок отщепенства, если этот срок
Молитвами благих не сократится.

Ты видишь сам, как ты бы мне помог,
Моей Костанце возвестив, какая
Моя судьба, какой на мне зарок:

От тех, кто там, вспомога здесь большая».

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Когда одну из наших сил душевных
Боль или радость поглотит сполна,
То, отрешась от прочих чувств вседневных,

Душа лишь этой силе отдана;
И тем опровержимо заблужденье,
Что в нас душа пылает не одна.

Поэтому, как только слух иль зренье
К чему-либо всю душу обратит,
Забудется и времени теченье;

За ним одна из наших сил следит,
А душу привлекла к себе другая;
И эта связана, а та парит.

Дивясь Манфреду и ему внимая,
Я в этом убедился без труда,
Затем что солнце было выше края

На добрых пятьдесят долей, когда
Все эти души, там, где было надо,
Вскричали дружно: «Вот теперь сюда».

Подчас крестьянин в изгороди сада
Пошире щель заложит шипняком,
Когда темнеют гроздья винограда,

Чем оказался ход, куда вдвоем
Мой вождь и я за ним проникли с воли,
Оставив тех идти своим путем.

К Сан-Лео всходят и нисходят к Ноли,
И пеший след к Бисмантове ведет;
А эту кручу крылья побороли,—

Я разумею окрыленный взлет
Великой жажды, вслед вождю, который
Дарил мне свет и чаянье высот.

Путь шел в утесе, тяжкий и нескорый;
Мы подымались между сжатых скал,
Для ног и рук ища себе опоры.

Когда мы вышли, как на плоский вал,
На верхний край стремнины оголенной:
«Куда идти, учитель?» — я сказал.

И он: «Иди стезею неуклонной
Всё в гору вслед за мной, покуда нам
Не встретится водитель умудренный».

К вершине было не взнестись очам,
А склон был много круче полуоси,
Секущей четверть круга пополам.

Устав, я начал, медля на откосе:
«О мой отец, постой и оглянись,
Ведь я один останусь на утесе!»

А он: «Мой сын, дотуда дотянись!»
И указал мне на уступ над нами,
Который кругом опоясал высь.

И я, подстегнутый его словами,
Напрягся, чтобы взлезть хоть как-нибудь,
Пока на кромку не ступил ногами.

И здесь мы оба сели отдохнуть,
Лицом к востоку; путник ослабелый
С отрадой смотрит на пройденный путь.

Я глянул вниз, на берег опустелый,
Затем на небо, и не верил глаз,
Что солнце слева посылает стрелы.

Поэт заметил, как меня потряс
Нежданный вид, что колесница света
Загородила Аквилон от нас.

«Будь Диоскуры,— молвил он на это,—
В соседстве с зеркалом, светящим так,
Что всё кругом в его лучи одето,

Ты видел бы, что рдяный Зодиак
Еще тесней вблизи Медведиц кружит,
Пока он держит свой старинный шаг.

Причину же твой разум обнаружит,
Когда себе представит, что Сион
Горе, где мы, противоточьем служит;

И там, и здесь — отдельный небосклон,
Но горизонт один; и та дорога,
Где несчастливый правил Фаэтон,

Должна лежать вдоль звездного чертога
Здесь — с этой стороны, а там — с другой,
Когда ты в этом разберешься строго».

«Впервые,— я сказал,— учитель мой,
Я вижу с ясностью столь совершенной
Казавшееся мне покрытым тьмой,—

Что средний круг вращателя вселенной,
Или экватор, как его зовут,
Между зимой и солнцем неизменный,

По сказанной причине виден тут
К полночи, а еврейскому народу
Был виден к югу. Но, когда не в труд,

Поведай, сколько нам осталось ходу;
Так высока скалистая стена,
Что выше зренья всходит к небосводу».

И он: «Гора так мудро сложена,
Что поначалу подыматься трудно;
Чем дальше вверх, тем мягче крутизна.

Поэтому, когда легко и чудно
Твои шаги начнут тебя нести,
Как по теченью нас уносит судно,

Тогда ты будешь у конца пути.
Там схлынут и усталость, и забота.
Вот всё, о чем я властен речь вести».

Чуть он умолк, вблизи промолвил кто-то:
«Пока дойдешь, не раз, да и не два,
Почувствуешь, что и присесть охота».

Мы, обернувшись на его слова,
Увидели левей валун огромный,
Который не заметили сперва.

Мы подошли; за ним в тени укромной
Расположились люди; вид их был,
Как у людей, объятых ленью томной.

Один сидел как бы совсем без сил:
Руками он обвил свои колени
И голову меж ними уронил.

И я сказал при виде этой тени:
«Мой милый господин, он так ленив,
Как могут быть родные братья лени».

Он обернулся и, глаза скосив,
Поверх бедра взглянул на нас устало;
Потом сказал: «Лезь, если так ретив!»

Тут я узнал его; хотя дышала
Еще с трудом взволнованная грудь,
Мне это подойти не помешало.

Тогда он поднял голову чуть-чуть,
Сказав: «Ты разобрал, как мир устроен,
Что солнце влево может повернуть?»

Поистине улыбки был достоин
Его ленивый вид и вялый слог.
Я начал так: «Белаква¹, я спокоен

За твой удел; но что тебе за прок
Сидеть вот тут? Ты ждешь еще народа
Иль просто впал в обычный свой порок?»

И он мне: «Брат, что толку от похода?
Меня не пустит к мытарствам сейчас
Господня птица, что сидит у входа,

Пока вокруг меня не меньше раз,
Чем в жизни, эта твердь свой круг опишет,
Затем что поздний вздох мне душу спас;

И лишь сердца, где милость Божья дышит,
Могли бы мне молитвами помочь.
В других — что пользы? Небо их не слышит».

А между тем мой спутник, идя прочь,
Звал сверху: «Где ты? Солнце уж высоко
И тронуло меридиан, а ночь

У берега ступила на Моррокко».

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

Вослед вождю, послушливым скитальцем,
Я шел от этих теней всё вперед,
Когда одна, указывая пальцем,

Вскричала: «Гляньте, слева луч нейдет
От нижнего, да и по всем приметам
Он словно как живой себя ведет!»

Я обратил глаза при слове этом
И увидал, как изумлен их взгляд
Мной, только мной и рассеченным светом.

¹ *Белаква* — друг Данте, музыкант.

«Ужель настолько, чтоб смотреть назад,—
Сказал мой вождь,— они твой дух волнуют?
Не всё ль равно, что люди говорят?

Иди за мной, и пусть себе толкуют!
Как башня стой, которая вовек
Не дрогнет, сколько ветры ни бушуют!

Цель от себя отводит человек,
Сменяя мысли каждое мгновенье:
Дав ход одной, другую он пресекает».

Что мог бы я промолвить в извиненье?
«Иду»,— сказал я, краску чуя сам,
Дарующую иногда прощенье.

Меж тем повыше, идя накрест нам,
Толпа людей на склоне появилась
И пела «Miserege»¹, по стихам.

Когда их зренье точно убедилось,
Что сила света сквозь меня не шла,
Их песнь глухим и долгим «О!» сменилась.

И тотчас двое, как бы два посла,
Сбежали к нам спросить: «Скажите, кто вы,
И участь вас какая привела?»

И мой учитель: «Мы сказать готовы,
Чтоб вы могли поведать остальным,
Что этот носит смертные покровы.

И если их смутила тень за ним,
То всё объяснено таким ответом:
Почтённый ими, он поможет им».

Я не видал, чтоб в сумраке нагретом
Горящий пар быстрее прорезал высь
Иль облака заката поздним летом,

Чем те наверх обратно поднялись;
И тут на нас помчалась вся их стая,
Как взвод несется, ускоряя рысь.

¹ «Помилуй меня» (лат.) — псалом.

«Сюда их к нам валит толпа густая,
Чтобы тебя просить,— сказал поэт.—
Иди всё дальше, на ходу внимая».

«Душа, идущая в блаженный свет
В том образе, в котором в жизнь вступала,
Умерь свой шаг! — они кричали вслед.—

Взгляни на нас: быть может, нас ты знала
И весть прихватишь для земной страны?
О, не спеши так! Выслушай сначала!

Мы были все в свой час умерщвлены
И грешники до смертного мгновенья,
Когда, лучом небес озарены,

Покаялись, простили оскорбленья
И смерть прияли в мире с божеством,
Здесь нас томящим жаждой лицезренья».

И я: «Из вас никто мне не знаком;
Чему, скажите, были бы вы рады,
И я, по мере сил моих, во всем

Готов служить вам, ради той отрады,
К которой я, по следу этих ног,
Из мира в мир иду сквозь все преграды».

Один¹ сказал: «К чему такой зарок?
В тебе мы верим доброму желанью,
И лишь бы выполнить его ты мог!

Я, первый здесь взывая к состраданию,
Прошу тебя: когда придешь к стране,
Разъявшей землю Карла и Романью,

И будешь в Фано, вспомни обо мне,
Чтоб за меня воздели к небу взоры,
Дабы я мог очиститься вполне.

¹ Речь идет об Якопо дель Кассеро, убитом наемниками его врага Адзо, маркиза Феррары. Далее упомин. *Бонконте* — граф Монтефельтро, предводитель гибеллинов, павший при *Кампальдино*, и *Джованна* — его жена.

Я сам оттуда; но удар, который
Дал выход крови, где душа жила,
Я встретил там, где властны Антеноры

И где вовеки я не чаял зла;
То сделал Эсте, чья враждебность шире
Пределов справедливости была.

Когда бы я бежать пустился к Мире,
В засаде под Орьяко очутясь,
Я до сих пор дышал бы в вашем мире,

Но я подался в камыши и грязь;
Там я упал; и видел, как в трясине
Кровь жил моих затоном разлилась».

Затем другой: «О, да взойдешь к вершине,
Надежду утоленную познав,
И да не презришь и мою отныне!

Я был Бонконте, Монтефельтрский граф.
Забытый всеми, даже и Джованной,
Я здесь иду среди склоненных глав».

И я: «Что значил этот случай странный,
Что с Кампальдино ты исчез тогда
И где-то спишь в могиле безымянной?»

«О! — молвил он. — Есть горная вода,
Аркьяно; ею, вниз от Камальдоли,
Изрыта Казентинская гряда.

Туда, где имя ей не нужно боле,
Я, ранен в горло, идя напрямик,
Пришел один, окровавляя поле.

Мой взор погас, и замер мой язык
На имени Марии; плоть земная
Осталась там, где я к земле поник.

Знай и поведай людям: ангел Рая
Унес меня, и ангел адских врат
Кричал: «Небесный! Жадность-то какая!

Ты вечное себе присвоить рад
И, пользуясь слезинкой, поживиться;
Но прочего меня уж не лишат!»

Ты знаешь сам, как в воздухе клубится
Пар, снова истекающий водой,
Как только он, поднявшись, охладится.

Ум сочетая с волей вечно злой
И свой природный дар пуская в дело,
Бес двинул дым и ветер над землей.

Долину. он, как только солнце село,
От Пратоманьо до большой гряды
Покрыл туманом; небо почернело,

И воздух стал тяжелым от воды;
Пролился дождь, стремя по косогорам
Всё то, в чем почве не было нужды,

Потоками свергаясь в беге скором
К большой реке, переполняя дол
И всё сметая бешеным напором.

Мой хладный труп на берегу нашел
Аркьяно буйный; как обломок некий,
Закинул в Арно; крест из рук расплел,

Который я сложил, смыкая веки:
И, мутною обвив меня волной,
Своей добычей придавил навеки».

«Когда ты возвратишься в мир земной
И тягости забудешь путевые,—
Сказала третья тень вослед второй,—

То вспомни также обо мне, о Пии ¹!
Я в Съене жизнь, в Маремме смерть нашла,
Как знает тот, кому во дни былые

Я, обручаясь, руку отдала».

¹ Пиа — жена Нелло деи Панноккьески, тайно убитая им из ревности.

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

Когда кончается игра в три кости,
То проигравший снова их берет
И мечет их один, в унылой злости;

Другого провожает весь народ;
Кто спереди зайдет, кто сзади тронет,
Кто сбоку за себя словцо ввернет.

А тот идет и только ухо клонит;
Подаст кому,— идти уже вольней,
И так он понемногу всех разгонит.

Таков был я в густой толпе теней,
Чье множество казалось превелико,
И, обещая, управлялся с ней.

Там аретинец был, чью жизнь так дико
Похитил Гин ди Такко¹; рядом был
В погоне утонувший; Федерико

Новелло, руки протянув, молил;
И с ним пизанец, некогда явивший
В незлобивом Марцукко столько сил;

Граф Орсо был средь них; был дух, твердивший,
Что он враждой и завистью убит,
Его безвинно с телом разлучившей,—

Пьер де ла Бросс; брабантка пусть спешит,
Пока жива, с молитвами своими,
Не то похуже стадо ей грозит.

Когда я, наконец, расстался с ними,
Просившими, чтобы просил другой,
Дабы скорей им сделаться святыми,

¹ *Гин ди Такко* — рыцарь-разбойник, убивший и обезглавивший судью-аретинца. Далее упомин.: *Марцукко* — пизанец, простивший убийцу своего сына, *Орсо* — граф Мангона, убитый своим двоюродным братом, *Пьер де ла Бросс* — придворный фр. короля Филиппа Смелого, казненный из-за происков жены короля Марии Брабантской, и *Сорделло* — поэт XIII в., погибший насильственной смертью.

Я начал так: «Я помню, светоч мой,
Ты отрицал, в стихе, тобою спетом,
Что суд небес смягчается мольбой;

А эти люди просят лишь об этом.
Иль их надежда тщетна, или мне
Твои слова не озарились светом?»

Он отвечал: «Они ясны вполне,
И этих душ надежда не напрасна,
Когда мы трезво поглядим извне.

Вершина правосудия согласна,
Чтоб огонь любви мог уничтожить вмиг
Долг, ими здесь платимый повсечасно.

А там, где стих мой у меня возник,
Молитва не служила искупленьем,
И звук ее небес бы не достиг.

Но не смущайся тягостным сомненьем:
Спроси у той, которая прольет
Свет между истиной и разуменьем.

Ты понял ли, не знаю: речь идет
О Беатриче. Там, на выси горной,
Она с улыбкой, радостная, ждет».

И я: «Идем же поступью проворной;
Уже и сам я меньше утомлен,
А видишь — склон оделся тенью черной».

«Сегодня мы пройдем,— ответил он,—
Как можно больше; много — не придется,
И этим ты напрасно обольщен.

Пока взойдешь, не раз еще вернется
Тот, кто сейчас уже горой закрыт,
Так что и луч вокруг тебя не рвется.

Но видишь — там какой-то дух сидит,
Совсем один, взирая к нам безгласно;
Он скажет нам, где краткий путь лежит».

Мы шли к нему. Как гордо и бесстрашно
Ты ждал, ломбардский дух, и лишь едва
Водил очами, медленно и властно!

Он про себя таил свои слова,
Нас, на него идущих, озирая
С осанкой отдыхающего льва.

Вождь подошел к нему узнать, какая
Удобнее дорога к вышине;
Но он, на эту речь не отвечая,

Спросил о нашей жизни и стране.
Чуть «Мантуя...» успел сказать Вергилий,
Как дух, в своей замкнутой глубине,

Встал, и уста его проговорили:
«О мантуанец, я же твой земляк,
Сорделло!» И они объятья слили.

Италия, раба, скорбей очаг,
В великой буре судно без кормила,
Не госпожа народов, а кабак!

Здесь доблестной душе довольно было
Лишь звук услышать милой стороны,
Чтобы она сородича почтила;

А у тебя не могут без войны
Твои живые, и они грызутся,
Одной стеной и рвом окружены.

Тебе, несчастной, стоит оглянуться
На берега твои и города:
Где мирные обители найдутся?

К чему тебе подправил повода
Юстиниан ¹, когда седло пустоует?
Безуздой, меньше было бы стыда.

¹ Юстиниан — визант. император (с 527 по 565), при котором была произведена кодификация рим. права и отвоевана у остготов Италия. Далее упомин. Альберт — Альбрехт I, герм. император и «король римлян» (с 1298 по 1308).

О вы, кому молиться долженствует,
Так чтобы Кесарь не слезал с седла,
Как вам Господне слово указывает,—

Вы видите, как эта лошадь зла,
Уже не укрощаемая шпорой
С тех пор, как вы взяли за удила?

И ты, Альберт немецкий, ты, который
Был должен утвердиться в стременах,
А дал ей одичать,— да грянут скорой

И правой карой звезды в небесах
На кровь твою, как ни на чью доселе,
Чтоб твой преемник ведал вечный страх!

Затем, что ты и твой отец терпели,
Чтобы пустыней стал имперский сад,
А сами, сидя дома, богатели.

Приди, беспечный, кинуть только взгляд:
Мональди, Филиппески, Каппеллетти,
Монтекки,— те в слезах, а те дрожат!

Приди, взгляни на знать свою, на эти
Насилия, которые мы зрим,
На Сантафьор во мраке лихолетий!

Приди, взгляни, как сетует твой Рим,
Вдова, в слезах зовущая супруга:
«Я Кесарем покинута моим!»

Приди, взгляни, как любят все друг друга!
И, если нас тебе не жаль, приди
Хоть устыдиться нашего недуга!

И, если смею, о верховный Дий,
За род людской казненный казнию крестной,
Свой правый взор от нас не отводи!

Или, быть может, в глубине чудесной
Твоих судеб ты нам готовишь клад
Великой радости, для нас безвестной?

Ведь города Италии кишат
Тиранами, и в образе клеветы
Любой мужик пролезть в Марцеллы¹ рад.

Флоренция моя, тебя всё это
Касаться не должно, ты — вдалеке,
В твоём народе каждый — муж совета!

У многих правда — в сердце, в тайнике,
Но необдуманно стрельнуть — бояться;
А у твоих она на языке.

Иные общим делом тяготятся;
А твой народ, участливый к нему,
Кричит незванный: «Я согласен взяться!»

Ликуй же ныне, ибо есть чему:
Ты мирна, ты разумна, ты богата!
А что я прав, то видно по всему.

И Спарта, и Афины, где когда-то
Гражданской правды занялась заря,
Перед тобою — малые ребята:

Тончайшие уставы мастера,
Ты в октябре примеришь их, бывало,
И сносишь к середине ноября.

За краткий срок ты сколько раз меняла
Законы, деньги, весь уклад и чин
И собственное тело обновляла!

Опомнившись хотя б на миг один,
Поймешь сама, что ты — как та больная,
Которая не спит среди перин,

Ворочаясь и отдыха не зная.

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ

И трижды, и четырежды успело
Приветствие возникнуть на устах,
Пока не молвил, отступив, Сорделло:

¹ *Марцелл* — полит. враг Юлия Цезаря; здесь: влиятельный противник император. власти.

«Вы кто?» — «Когда на этих высотах
Достойные спастись еще не жили,
Октавиан похоронил мой прах.

Без правой веры был и я, Вергилий,
И лишь за то утратил вечный свет».
Так на вопрос слова вождя гласили.

Как тот, кто сам не знает — явь иль бред
То дивное, что перед ним предстало,
И, сомневаясь, говорит: «Есть... Нет...» —

Таков был этот; изумясь сначала,
Он взор потупил и ступил вперед
Обнять его, как низшему пристало.

«О свет латинян, — молвил он, — о тот,
Кто нашу речь вознес до полной власти,
Кто род мой почтил из рода в род,

Награда мне иль милость в этом счастье?
И если просьбы мне разрешены,
Скажи: ты был в Аду? в которой части?»

«Сквозь все круги отверженной страны, —
Ответил вождь мой, — я сюда явился;
От неба силы были мне даны.

Не делом, а неделаньем лишился
Я Солнца, к чьим лучам стремишься ты;
Его я поздно ведать научился.

Есть край внизу, где скорбь — от темноты,
А не от мук, и в сумраках бездонных
Не возгласы, а вздохи разлиты.

Там я, — среди младенцев, уязвленных
Зубами смерти в свете их зари,
Но от людской вины не отрешенных;

Там я, — среди тех, кто не облекся в три
Святые добродетели и строго
Блюл остальные, их нося внутри.

Но как дойти скорее до порога
Чистилища? Не можешь ли ты нам
Дать указанье, где лежит дорога?»

И он: «Скитаться здесь по всем местам,
Вверх и вокруг, я не стеснен нимало.
Насколько в силах, буду спутник вам.

Но видишь — время позднее настало,
А ночью вверх уже нельзя идти;
Пора наметить место для привала.

Здесь души есть направо по пути,
Которые тебе утешат очи,
И я готов тебя туда свести».

«Как так? — ответ был.— Если кто среди ночи
Пойдет наверх, ему не даст другой?
Иль просто самому не станет мочи?»

Сорделло по земле черкнул рукой,
Сказав: «Ты видишь? Стоит солнцу скрыться,
И ты замрешь пред этою чертой;

Причем тебе не даст наверх стремиться
Не что другое, как ночная тень;
Во тьме бессильем воля истребится.

Но книзу, со ступени на ступень,
И вокруг горы идти легко повсюду,
Пока укрыт за горизонтом день».

Мой вождь внимал его словам, как чуду,
И отвечал: «Веди же нас туда,
Где ты сказал, что я утешен буду».

Мы двинулись в дорогу, и тогда
В горе открылась выемка, такая,
Как здесь в горах бывает иногда.

«Войдем туда,— сказала тень благая,—
Где горный склон как бы раскрыл врата,
И там пробудем, утра ожидая».

Тропинка, не ровна и не крута,
Виясь, на край долины приводила,
Где меньше половины высота.

Сребро и золото, червлень и белила,
Отколотый недавно изумруд,
Лазурь и дуб-светляк превосходило

Сияние произраставших тут
Трав и цветов и верх над ними брало,
Как ббльшие над мёньшими берут.

Природа здесь не только расцвечала,
Но как бы некий непостижный сплав
Из сотен ароматов создавала.

«Salve, Regina ¹»,— меж цветов и трав
Толпа теней, внизу сидевших, пела,
Незримое убежище избрав.

«Покуда солнце всё еще не село,—
Наш мантуанский спутник нам сказал,—
Здесь обождать мы с вами можем смело.

Вы разглядите, став на этот вал,
Отчетливей их лица и движенья,
Чем если бы их сонм вас окружал.

Сидящий выше, с видом сокрушенья
О том, что он призваньем пренебрег,
И губ не раскрывающий для пенья,—

Был кесарем Рудольфом, и он мог
Помочь Италии воскреснуть вскоре,
А ныне этот час опять далек.

Тот, кто его ободрить хочет в горе,
Царил в земле, где воды вдоль дубрав
Молдава в Лабу льет, а Лаба в море.

¹ «Славься, царица» (лат.) — церк. гимн. Толпа теней — души земных властителей, которые были поглощены мирскими делами и за это наказаны судьбою: император так наз. «священной Рим. империи» Рудольф, фр. король Филипп Смелый (курносый), наваррск. король Генрих Толстый (добряк), Педро III Арагонск. (кряжистый), Карл I Анжуйск. (носач) и др.

То Оттокар; он из пелен не встав,
Был доблестней, чем бороду наживший
Его сынок, беспутный Венцеслав.

А тот курносый, в разговор вступивший
С таким вот благодушным добряком,
Пал, как беглец, честь лилий омрачивший.

И как он в грудь колотит кулаком!
А этот, щеку на руке лелея,
Как на постели, вздохи шлет тайком.

Отец и тесть французского злодея,
Они о мерзости его скорбят,
И боль язвит их, в сердце пламенея.

А этот кряжистый, поющий в лад
С тем носачом, смотрящим величаво,
Был опоясан всем, что люди чтят.

И если бы в руках была держава
У юноши, сидящего за ним,
Из чаши в чашу перешла бы слава,

Которой не хватило остальным:
Хоть воцарились Яков с Федериком,
Всё то, что лучше, не досталось им.

Не часто доблесть, данная владыкам,
Восходит в ветви; тот ее дарит,
Кто может всё в могуществе великом.

Носач изведаль так же этот стыд,
Как с ним поющий Педро знаменитый:
Прованс и Пулья стонут от обид.

Он выше был, чем отпрыск, им отвитый,
Как и Костанца мужем посланней,
Чем были Беатриче с Маргеритой.

А вот смиреннейший из королей,
Английский Генрих, севший одиноко;
Счастливее был рост его ветвей.

Там, ниже всех, где дол лежит глубоко,
Маркиз Гульельмо подымает взгляд;
Алессандрия за него жестоко

Казнила Канавез и Монферрат».

ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ

В тот самый час, когда томят печали
Отпльвших вдаль и нежит мысль о том,
Как милые их утром провожали,

А новый странник на пути своем
Пронзен любовью, дальний звон внимая,
Подобный плачу над умершим днем,—

Я начал, слух невольно отрешая,
Следить, как средь теней встает одна,
К вниманью мановеньем приглашая.

Сложив и вскинув кисти рук, она
Стремилась взор к востоку и, казалось,
Шептала Богу: «Я одним полна».

«Te lucis ante»¹,— с уст ее раздалось
Так набожно, и так был нежен звук,
Что о себе самом позабывалось.

И, набожно и нежно, весь их круг
С ней до конца исполнил песнопенье,
Взор воздымая до верховных дуг.

Здесь в истину вонзи, читатель, зренье;
Покровы так прозрачны, что сквозь них
Уже совсем легко проникновенье.

Я видел: сонм властителей земных,
С покорно вознесенными очами,
Как в ожиданье, побледнев, затих.

И видел я: два ангела, над нами
Спускаясь вниз, держали два клинка,
Пылающих, с неострыми концами.

¹ «Тебя, у предела света...» (лат.) — церк. гимн.

И, зеленее свежего листка,
Одежда их, в ветру зеленых крылий,
Вилась вослед, волниста и легка.

Один слетел чуть выше, чем мы были,
Другой — на обращенный к нам откос,
И так они сидевших окаймили.

Я различал их русый цвет волос,
Но взгляд темнел, на лицах их почия,
И яркости чрезмерной я не снес.

«Они сошли из лона, где Мария,—
Сказал Сорделло,— чтобы дол стеречь,
Затем что близко появленье змия».

И я, не зная, как себя беречь,
Взглянул вокруг и поспешил укрыться,
Оледенелый, возле верных плеч.

И вновь Сорделло: «Нам пора спуститься
И славным теням о себе сказать;
Им будет радость с вами очутиться».

Я, в три шага, ступил уже на гладь;
И видел, как одна из душ взирала
Всё на меня, как будто чтоб узнать.

Уже и воздух почернел немало,
Но для моих и для ее очей
Он всё же вскрыл то, что таил сначала.

Она ко мне подвинулась, я — к ней.
Как я был счастлив, Нино¹ благородный,
Тебя узреть не между злых теней!

Приветствий дань была поочередной;
И он затем: «К побережью под горой
Давно ли ты приплыл пустыней водной?»

¹ *Нино* Висконти — правитель одного из округов Сардинии. Далее упомин. маркиз *Куррадо* (Коррадо) Маласпина, у которого изгнанник Данте нашел пристанище, и его дочь *Джованна*.

«О,— я сказал,— я вышел пред зарей
Из скорбных мест и жизнь влачу земную,
Хоть, идя так, забочусь о другой».

Из уст моих услышав речь такую,
Он и Сорделло подались назад,
Дивясь тому, о чем я повествую.

Один к Вергилию направил взгляд,
Другой — к сидевшим, крикнув: «Встань, Куррадо!
Взгляни, как Бог щедротами богат!»

Затем ко мне: «Ты, избранное чадо,
К которому так милостив был тот,
О чьих путях и мудрствовать не надо,—

Скажи в том мире, за простором вод,
Чтоб мне моя Джованна пособила
Там, где невинных верный отклик ждет.

Должно быть, мать ее меня забыла,
Свой белый плат носив недолгий час,
А в нем бы ей, несчастной, лучше было.

Ее пример являет напоказ,
Что пламень в женском сердце вечно хочет
Глаз и касанья, чтобы он не гас.

И не такое ей надгробье прочит
Ехидна, в бой ведущая Милан,
Какое создал бы галлурский кочет».

Так вел он речь, и взор его и стан
Несли печать горячего порыва,
Которым дух пристойно обуян.

Мои глаза стремились в твердь пытливо,
Туда, где звезды обращают ход,
Как сердце колеса, неторопливо.

И вождь: «О сын мой, что твой взор влечет?»
И я ему: «Три этих ярких света,
Зажегшие вокруг остья небосвод».

И он: «Те, что ты видел до рассвета,
Склонились, все четыре, в должный срок;
На смену им взошло трехзвездье¹ это».

Сорделло вдруг его к себе привлек,
Сказав: «Вот он! Взгляни на супостата!» —
И указал, чтоб тот увидеть мог.

Там, где стена расселины разъята,
Была змея, похожая на ту,
Что Еве горький плод дала когда-то.

В цветах и травах бороздя черту,
Она порой свивалась, чтобы спину
Лизнуть, как зверь наводит красоту.

Не видел сам, я речь о том откину,
Как тот и этот горный ястреб взмыл;
Я их полет застал наполовину.

Едва слыша взмах зеленых крыл,
Змей ускользнул, и каждый ангел снова
Взлетел туда же, где он прежде был.

А тот, кто подошел к нам после зова
Судьи, всё это время напролет
Следил за мной и не промолвил слова.

«Твой путеводный светоч да найдет,—
Он начал,— нужный воск в твоей же воле,
Пока не ступишь на финифть высот!

Когда ты ведаешь хоть в малой доле
Про Вальдимагру и про те края,
Подай мне весть о дедовском престоле.

Куррадо Маласпина звался я;
Но Старый — тот другой, он был мне дедом;
Любовь к родным светлеет здесь моя».

«О,— я сказал,— мне только по беседам
Знаком ваш край; но разве угол есть
Во всей Европе, где б он не был ведом?»

¹ Три звезды символизируют веру, надежду, любовь.

Ваш дом стяжал заслуженную честь,
Почет владыкам и почет державе,
И даже кто там не был, слышал весть.

И, как стремлюсь к вершине, так я вправе
Сказать: ваш род, за что ему хвала,
Кошель и меч в старинной держит славе.

В нем доблесть от привычки возросла,
И, хоть с пути дурным главой всё сбито,
Он знает цель и сторонится зла».

И тот: «Иди; поведаю открыто,
Что солнце не успеет лечь семь раз
Там, где Овен расположил копыта,

Как это мненье лестное о нас
Тебе в средину головы вклинится
Гвоздями, крепче, чем чужой рассказ,

Раз приговор не может не свершиться».

ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ

Наложница старинного Тифона
Взошла белеть на утренний помост,
Забыв объятья друга, и корона

На ней сияла из лучистых звезд,
С холодным зверем сходная чертами,
Который бьет нас, изгибая хвост;

И ночь означила двумя шагами
В том месте, где мы были, свой подъем,
И даже третий поникал крылами,

Когда, с Адамом в существе своем,
Я на траву склонился, засыпая,
Там, где мы все сидели впятером.

В тот час, когда поет, зарю встречая,
Касатка, и напев ее тосклив,
Как будто скорбь ей памятна былая,

И разум наш, себя освободив
От дум и сбросив тленные покровы,
Бывает как бы веще прозорлив,

Мне снилось — надо мной орел суровый
Навис, одетый в золотистый цвет,
Распластанный и ринуться готовый,

И будто бы я там, где Ганимед,
Своих покинув, дивно возвеличен,
Восхищен был в заоблачный совет.

Мне думалось: «Быть может, он привычен
Разить лишь тут, где он настиг меня,
А иначе к добыче безразличен».

Меж тем, кругами землю осеня,
Он грозовым перуном опустился
И взмыл со мной до самого огня.

И тут я вместе с ним воспламенился;
И призрачный пожар меня палил
С такою силой, что мой сон разбился.

Не меньше вздрогнул некогда Ахилл,
Водя окрест очнувшиеся веки
И сам не зная, где он их раскрыл,

Когда он от Хироновой опеки
Был матерью на Скир перенесен,
Хотя и там его настигли греки,—

Чем вздрогнул я, когда покинул сон
Мое лицо; я побледнел и хладом
Пронизан был, как тот, кто утрашен.

Один Вергилий был со мною рядом,
И третий час сияла солнцем высь,
И море расстилалось перед взглядом.

Мой господин промолвил: «Не страшись!
Оставь сомненья, мы уже у цели;
Не робостью, но силой облекись!

Мы, наконец, Чистилище узрели:
Вот и кругом идущая скала,
А вот и самый вход, подобный щели.

Когда заря была уже светла,
А ты дремал душой, в цветах почив
Среди долины, женщина пришла,

И так она сказала: «Я Лючия¹;
Чтобы тому, кто спит, помочь верней,
Его сама хочу перенести я».

И от Сорделло и других теней
Тебя взяла и, так как солнце встало,
Пошла наверх, и я вослед за ней.

И, здесь тебя оставив, указала
Прекрасными очами этот вход;
И тотчас ни ее, ни сна не стало».

Как тот, кто от сомненья перейдет
К познанию правды и, ее оплотом
Оборонясь, решимость обретет,

Так ожил я; и, видя, что заботам
Моим конец, вождь на крутой откос
Пошел вперед, и я за ним — к высотам.

Ты усмотрел, читатель, как вознес
Я свой предмет; и поневоле надо,
Чтоб вместе с ним и я в искусстве рос.

Мы подошли, и, где сперва для взгляда
В скале чернела только пустота,
Как если трещину дает ограда,

Я увидал перед собой врата,
И три больших ступени, разных цветом,
И вратника, сомкнувшего уста.

¹ Лючия — христ. святая; аллегорически — «просвещенная благодать» (от лат. lux — свет).

Сидел он, как я различил при этом,
Над самой верхней, чтобы вход стеречь,
Таков лицом, что я был ранен светом.

В его руке был обнаженный меч,
Где отраженья солнца так дробились,
Что я глаза старался оберечь.

«Скажите с места: вы зачем явились? —
Так начал он.— Кто вам дойти помог?
Смотрите, как бы вы не поплатились!»

«Жена с небес, а ей знаком зарок,—
Сказал мой вождь,— явив нам эти сени,
Промолвила: «Идите, вот порог».

«Не презрите благих ее велений! —
Нас благосклонный вратарь пригласил.—
Придите же подняться на ступени».

Из этих трех уступов первый был
Столь гладкий и блестящий мрамор белый,
Что он мое подобье отразил;

Второй — шершавый камень обгорелый,
Растресканный и вдоль и поперек,
И цветом словно пурпур почернелый;

А третий, тот, который сверху лег,—
Кусок порфира, огранный строго,
Огнисто-алый, как кровавый ток.

На нем стопы покоил вестник Бога;
Сидел он, обращенный к ступеням,
На выступе алмазного порога.

Ведя меня, как я хотел и сам,
По плитам вверх, мне молвил мой вожатый:
«Проси смиренно, чтоб он отпер нам».

И я, благоговением объятый,
К святым стопам, моля открыть, упал,
Себя рукой ударя в грудь трикраты.

Семь Р¹ на лбу моем он начертал
Концом меча и: «Смой, чтобы он сгинул,
Когда войдешь, след этих ран»,— сказал.

Как если б кто сухую землю вскинул
Иль разбросал золу, совсем такой
Был цвет его одежд. Из них он вынул

Ключи — серебряный и золотой;
И, белый с желтым взяв поочередно,
Он сделал с дверью чаемое мной.

«Как только тот иль этот ключ свободно
Не ходит в скважине и слаб нажим,—
Сказал он нам,— то и пытаться бесплодно.

Один ценней; но чтоб владеть другим,
Умом и знаньем нужно изошряться,
И узел без него неразрешим.

Мне дал их Петр, веля мне ошибиться,
Скорей впустив, чем отослав назад,
Тех, кто пришел у ног моих склониться».

Потом, толкая створ священных врат:
«Войдите, но запомните сначала,
Что изгнан тот, кто обращает взгляд».

В тот миг, когда святая дверь вращала
В своих глубоких гнездах стержни стрел
Из мощного и звонкого металла,

Не так боролся и не так гудел
Тарпей, лишаясь доброго Метелла²,
Которого утратив — оскудел.

Я поднял взор, когда она взгремела,
И услышал, как сквозь отраднй гуд
Далекое «Те Деум»³ долетело.

¹ *Семь Р* (от лат. *peccatum* — грех) означает семь смертных грехов, от которых надлежит очиститься по мере восхождения на гору Чистилища.

² *Метелл* — народный трибун, отказавшийся выдать Цезарю гос. казну, и тот силой завладел ею.

³ «Тебя, Бога» (лат.) — церк. гимн.

И точно то же получилось тут,
Что слышали мы все неоднократно,
Когда стоят и под орган поют,

И пение то внятно, то невнятно.

ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ

Когда мы очутились за порогом,
Заброшенным из-за любви дурной,
Ведущей души по кривым дорогам,

Дверь, загремев, захлопнулась за мной;
И, оглянься я на дверные своды,
Что б я сказал, подавленный виной?

Мы подымались в трещине породы,
Где та и эта двигалась стена,
Как набегают, чтоб отхлынуть, воды.

Мой вождь сказал: «Здесь выучка нужна,
Чтоб угадать, какая в самом деле
Окажется надежней сторона».

Вперед мы подвигались еле-еле,
И скудный месяц, канув глубоко,
Улегся раньше на своей постеле,

Чем мы прошли игольное ушко.
Мы вышли там, где горный склон от края
Повсюду отступил недалеко,

Я — утомясь, и вождь и я — не зная,
Куда идти; тропа над бездной шла,
Безлюднее, чем колея степная.

От кромки, где срывается скала,
И до стены, вздымавшейся высоко,
Она в три роста шириной была.

Докуда крылья простирало око,
Налево и направо,— весь извив
Дороги этой шел равно широко.

Еще вперед и шагу не ступив,
Я, озираясь, убедился ясно,
Что весь белевший надо мной обрыв

Был мрамор, изваянный так прекрасно,
Что подражать не только Поликлет¹,
Но и природа стала бы напрасно.

Тот ангел, что земле принес обет
Столь слезно чаемого примиренья
И с неба вековечный снял завет,

Являлся нам в правдивости движенья
Так живо, что ни в чем не походил
На молчаливые изображенья.

Он, я бы клялся, «Ave!»² — говорил
Склонившейся жене благословенной,
Чей ключ любовь в высотах отворил.

В ее чертах ответ ее смиренный,
«Ессе ancilla Dei», был ясней,
Чем в мягком воске образ впечатленный.

«В такой неподвижности не цепеней!» —
Сказал учитель мой, ко мне стоявший
Той стороной, где сердце у людей.

Я, отрывая взгляд мой созерцавший,
Увидел за Марией, в стороне,
Где находился мне повелевавший,

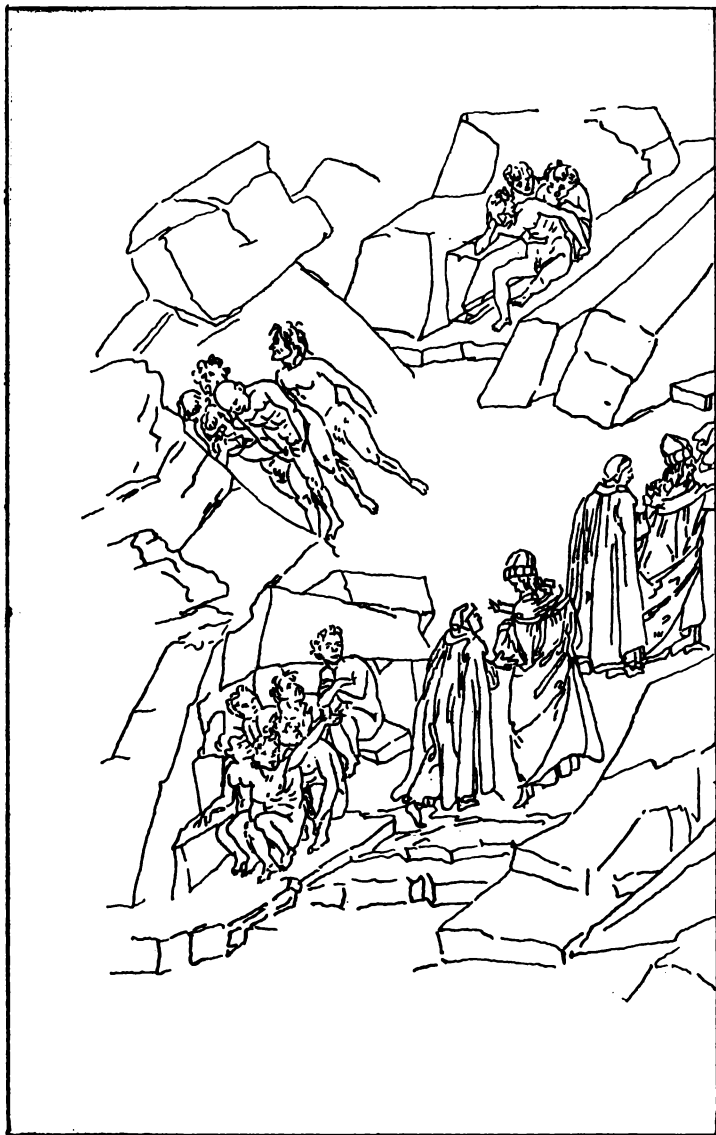
Другой рассказ, иссеченный в стене;
Я стал напротив, обойдя поэта,
Чтобы глазам он был открыт вполне.

Изображало изваянье это,
Как на волах святой ковчег везут,
Ужасный тем, кто не блюдет запрета.

И на семь хоров разделенный люд
Мои два чувства вовлекал в раздоры;
Слух скажет: «Нет», а зренье: «Да, поют»,

¹ *Поликлет* — знаменитый греч. ваятель V в. до н. э.

² «Радуйся!» И далее — «Вот раба Господня» (*лат.*).





Как и о дыме ладанном, который
Там был изображен, глаз и ноздря
О «да» и «нет» вели друг с другом споры.

А впереди священного ларя
Смиранный Псалмопевец, пляс творящий,
И больше был, и меньше был царя.

Мелхола, изваянная смотрящей
Напротив из окна больших палат,
Имела облик гневной и скорбящей.

Я двинулся, чтобы насытить взгляд
Другою повестью, которой вправо,
Вслед за Мелхой, продолжался ряд.

Там возвещалась истинная слава
Того владыки римлян, чьи дела
Григорий обессмертил величаво.

Вдовица, ухватясь за удила,
Молила императора Траяна
И слезы, сокрушенная, лила.

От всадников тесна была поляна,
И в золоте колеблемых знамен
Орлы парили, кесарю охрана.

Окружена людьми со всех сторон,
Несчастливая звала с тоской во взоре:
«Мой сын убит, он должен быть отмщен!»

И кесарь ей: «Повремени, я вскоре
Вернусь». — «А вдруг, — вдовица говорит,
Как всякий тот, кого торопит горе, —

Ты не вернешься?» Он же ей: «Отмстит
Преемник мой». А та: «Не оправданье —
Когда другой добро за нас творит».

И он: «Утешься! Чтя мое призванье,
Я не уйду, не сотворив суда.
Так требуют мой долг и состраданье».

Кто нового не видел никогда,
Тот создал чудо этой речи зримой,
Немыслимой для смертного труда.

Пока мой взор впивал, неутомимый,
Смирение всех этих душ людских,
Всё, что изваял мастер несравнимый¹,

«Оттуда к нам, но шаг их очень тих,—
Шепнул поэт,— идет толпа густая;
Путь к высоте узнаем мы у них».

Мои глаза, которые, взирая,
Пленялись созерцаньем новизны,
К нему метнулись, мига не теряя.

Читатель, да не будут смущены
Твоей души благие помышленья
Тем, как Господь взывает долг с вины.

Подумай не о тягости мученья,
А о конце, о том, что крайний час
Для худших мук — час грозного решенья.

Я начал так: «То, что идет на нас,
И на людей по виду непохоже,
А что идет — не различает глаз».

И он в ответ: «Едва ль есть кара строже,
И ею так придавлены они,
Что я и сам сперва не понял тоже.

Но присмотришься и зреньем расчлени,
Что движется под этими камнями:
Как бьют они самих себя, взгляни!»

О христиане, гордые сердцами,
Несчастные, чьи тусклые умы
Уводят вас попятными путями!

Вам невдомек, что только черви мы,
В которых зреет мотылек нетленный,
На Божий суд взлетающий из тьмы!

¹ Описанные барельефы изображают библ. сюжеты и прославляют смирение.

Чего возносится ваш дух надменный,
Коль сами вы не разнитесь ничуть
От плоти червяка несовершенной?

Как если истукан какой-нибудь,
Чтоб крыше иль навесу дать опору,
Колени, скрючась, упирает в грудь

И мнимой болью причиняет взору
Прямую боль; так, наклонясь вперед,
И эти люди обходили гору.

Кто легче нес, а кто тяжеле гнет,
И так, согбенный, двигался по краю;
Но с виду терпеливейший и тот

Как бы взывал в слезах: «Изнемогаю!»

ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ

О наш Отец, на небесах царящий,
Не замкнутый, но первенцам своим
Благоволенье прежде всех дарящий,

Пред мощью и пред именем твоим
Да склонится вся тварь, как песнью славы
Мы твой сладчайший дух благодарим!

Да снидет к нам покой твоей державы,
Затем что сам найти дорогу к ней
Бессилен разум самый величавый!

Как, волею пожертвовав своей,
К тебе взывают ангелы «Осанна¹»,
Так на земле да будет у людей!

Да ниспошлется нам дневная манна,
Без коей по суровому пути
Отходит вспять идущий неустанно!

Как то, что нам далось перенести,
Прощаем мы, так наши прегрешенья
И ты, не по заслугам, нам прости!

¹ *Осанна* (др.-евр.— спаси, сохрани) — приветственное восклицание.

И нашей силы, слабой для боренья,
В борьбу с врагом исконным не вводи,
Но охрани от козней искушенья!

От них, великий Боже, огради
Не нас, укрытых сенью безопасной,
А тех, кто там остался позади».

Так, о себе и нас в мольбе всечасной,
Шли тени эти и несли свой гнет,
Как сонное удушие ужасный,

Неравно бедствуя и всё вперед
По первой кромке медленно шагая,
Пока с них тьма мирская не спадет.

И если там о нас печаль такая,
Что здесь должны сказать и сделать те,
В ком с добрым корнем воля есть благая,

Чтоб эти души, в легкой чистоте,
Смыв принесенные отсюда пятна,
Могли подняться к звездной высоте?

«Скажите,— и да снидут благодатно
К вам суд и милость, чтоб, раскрыв крыла,
Вы вознеслись отсюда безвозвратно,—

Где здесь тропа, которая бы шла
К вершине? Если же их две иль боле,
То где не так обрывиста скала?

Идущего со мной в немалой доле
Адамово наследие гнетет,
И он, при восходе медлен поневоле».

Ответ на эту речь, с которой тот,
Кто был мой спутник, обратился к теням,
Неясно было, от кого идет,

Но он гласил: «Есть путь к отрадным сеням;
Идите с нами вправо: там, в скале,
И человек взберется по ступеням.

Когда бы камень не давил к земле
Моей строптивой шен так сурово,
Что я лицом склонился к пыльной мгле,

На этого безвестного живого
Я бы взглянул — узнать, кто он такой,
И вот об этой ноше молвить слово.

Я был латинянин; родитель мой —
Тосканский граф Гульельм Альдобрандески;
Могло к вам имя и дойти молвой.

Рожден от мощных предков, в древнем блеске
Из славных дел, и позабыв, что мать
У всех одна, заносчивый и резкий,

Я стал людей так дерзко презирать,
Что сам погиб, как это Съена знает
И знает в Кампаньятико вся чадь.

Меня, Омберто, гордость удручает
Не одного; она моих родных
Сгубила всех, и каждый так страдает.

И я несу мой груз, согбен и тих,
Пока угодно Богу, исполняя
Средь мертвых то, что презрел средь живых»,

Я опустил лицо мое, внимая;
Один из них,— не тот, кто речь держал,—
Извившись из-под каменного края,

Меня увидел и, узнав, позвал,
С натугою стремясь взглядеться ближе
В меня, который, лоб склонив, шагал.

И я: «Да ты же Одеризи¹, ты же
Честь Губбьо, тот, кем горды мастера
«Иллюминур», как говорят в Париже!»

«Нет, братец, в красках веселей игра
У Франко из Болоньи,— он ответил.—
Ему и честь, моя прошла пора.

¹ *Одеризи* и далее — *Франко*, *Чимабуэ*, *Джотто* — известные ит. художники, живописцы и миниатюристы.

А будь я жив, во мне бы он не встретил
Хвалителя, наверно, и поднесь;
Быть первым я всегда усердно метил.

Здесь платят пеню за такую спесь;
Не воззови я к милости Владыки,
Пока грешил,— я не был бы и здесь.

О, тщетных сил людских обман великий,
Сколь малый срок вершина зелена,
Когда на смену век идет не дикий!

Кисть Чимабуэ славилась одна,
А ныне Джотто чествуют без лести,
И живопись того затемнена.

За Гвидо новый Гвидо высшей чести
Достигнул в слове; может быть, рожден
И тот, кто из гнезда спугнет их вместе.

Мирской молвы многоголосый звон —
Как вихрь, то слева мчащийся, то справа;
Меняя путь, меняет имя он.

В тысячелетье так же сгинет слава
И тех, кто тело ветхое совлек,
И тех, кто смолк, сказав «ням-ням» и «вава»;

А перед вечным — это меньший срок,
Чем если ты сравнишь мгновенье ока
И то, как звездный кружится чертог.

По всей Тоскане прогремел широко
Тот, кто вот там бредет, не торопясь;
Теперь о нем и в Сьене нет намека,

Где он был вождь, когда надорвалась
Злость флорентийцев, гордая в те лета,
Потом, как шлюха,— втопанная в грязь.

Цвет славы — цвет травы: лучом согрета,
Она линяет от того как раз,
Что извлекло ее к сиянью света».

И я ему: «Правдивый твой рассказ
Смирил мне сердце, сбив нарост желаний;
Но ты о ком упомянул сейчас?»

И он в ответ: «То Провенцан Сальвани¹,
И здесь он потому, что захотел
Держать один всю Сьену в крепкой длани.

Так он идет и свой несет удел,
С тех пор как умер; вот оброк смиренный,
Платимый каждым, кто был слишком смел».

И я: «Но если дух, в одежде тленной
Не каявшийся до исхода лет,
Обязан ждать внизу горы блаженной,—

Когда о нем молитвы доброй нет,—
Пока срок жизни вновь не повторился,
То как же этот — миновал запрет?»

«Когда он в полной славе находился,—
Ответил дух,— то он, без лишних слов,
На сьенском Кампо сесть не постыдился,

И там, чтоб друга вырвать из оков,
В которых тот томился, Карлом взятый,
Он каждой жилой был дрожать готов.

Мои слова, я знаю, темноваты;
И в том, что скоро ты поймешь их сам,
Твои соседи будут виноваты.

За это он и не остался там».

ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

Как вол с волом идет под игом плужным,
Я шел близ этой сгорбленной души,
Пока считал мой добрый пестун нужным;

¹ *Провенцан Сальвани* — глава Сьенск. республики; когда за его друга, взятого в плен, потребовали огромный выкуп, гордый Сальвани сел на площади и собрал эти деньги с горожан.

Но чуть он мне: «Оставь его, спеши;
Здесь, чтобы легче подвигалась лодка,
Все паруса и весла хороши»,

Я, как велит свободная походка,
Расправил стан, и стройность вновь обрел,
Хоть мысль, смиряясь, поникала кротко.

Я двинулся и радостно пошел
Вослед учителю, и путь пологий
Обоим нам был явно не тяжел;

И он сказал мне: «Посмотри под ноги!
Тебе увидеть ложе стоп твоих
Полезно, чтоб не чувствовать дороги».

Как для того, чтоб не забыли их,
Над мертвыми в пол вделанные плиты
Являют, кто чем был среди живых,

Так что бывают и слезой политы,
Когда воспоминание кольнет,
Хоть от него лишь добрым нет защиты,

Так точно здесь, но лучше тех работ
И по искусству много превосходней,
Украшен путь, который вкруг идет.

Я видел — тот, кто создан благородней,
Чем все творенья, молнии быстрей
Свергался с неба в бездны преисподней.

Я видел, как перуном Бриарей
Пронзен с небес, и хладная громада
Прижала землю тяжестью своей.

Я видел, как Тимбрей, Марс и Паллада,
В доспехах, вкруг отца, от страшных тел
Гигантов падших не отводят взгляда.

Я видел, как Немврод уныло сел
И посреди трудов своих напрасных
На сennaарских гордецов глядел.

О Ниобея ¹, сколько мук ужасных
Таил твой облик, изваяньем став,
Меж семерых и семерых безгласных!

О царь Саул, на свой же меч упав,
Как ты, казалось, обаграл Гелвую,
Где больше нет росы, дождя и трав!

О дерзкая Арахна, как живую
Тебя я видел, полупауком,
И ткань раздранной видел роковую!

О Ровоам, ты в облике таком
Уже не грозен, страхом обуянный
И в бегстве колесницею влеком!

Являл и дальше камень изваянный,
Как мать свою принудил Алкмеон
Проклясть убор, ей на погибель данный.

Являл, как меч во храме занесен
Двумя сынами на Сеннахирима
И как, сраженный, там остался он.

Являл, как мщенье грозное творимо
И Тамириса Киру говорит:
«Ты жаждал крови, пей ненасытимо!»

Являл, как ассирийский стан бежит,
Узнав, что Олоферн простерт, безглавый,
А также и останков жалкий вид.

Я видел Трою пепелищем славы;
О Илион, как страшно здесь творец
Являл разгром и смерть твоей державы!

¹ *Ниобея* — в ант. миф. мать 14 детей, окаменевшая от горя, когда все ее дети были убиты Аполлоном и Дианой за то, что она, похваляясь своим многочисленным потомством, смеялась над их матерью Латоной. Далее упоминается: *Саул* — израил. царь, павший на свой меч после победы филистимлян; *Ровоам* — жестокий израил. царь, бежавший от народного восстания; *Сеннахи-рим*. — ассир. царь, убитый своими сыновьями; *Тамириса* — скиф. царица, разгромившая персов и обезглавившая царя *Кира* в отместку за гибель сына; *Олоферн* — ассир. полководец, обезглавленный иудеяночкой Юдифью.

Чья кисть повторит или чей свинец,
Чаруя разум самый прихотливый,
Тех черт и теней дивный образец?

Казался мертвый мертв, живые живы;
Увидеть явь отчетливей нельзя,
Чем то, что попираю я, молчаливый.

Кичись же, шествуй, веждами грозя,
Потомство Евы, не давая взору,
Склоняясь, увидеть, как дурна стезя!

Уже мы дальше обогнули гору,
И солнце дальше унеслось в пути,
Чем мой плененный дух считал в ту пору,

Как вдруг привыкший надо мной блюсти
Сказал: «Вскинь голову! — ко мне зывая.—
Так отрешась, уже нельзя идти.

Взгляни: подходит ангел, нас встречая;
А из прислужниц дня идет назад,
Свой отслужив черед, уже шестая.

Укрась почтеньем действия и взгляд,
Чтоб с нами речь была ему приятна.
Такого дня тебе не возвратят!»

Меня учил он столь неоднократно
Не тратить времени, что без труда
И это слово я воспринял внятно.

Прекрасный дух, представший нам тогда,
Шел в белых ризах, и глаза светили,
Как трепетная на заре звезда.

С широким взмахом рук и взмахом крылий,
«Идите,— он сказал,— ступени тут,
И вы теперь взойдете без усилий.

На этот зов немногие идут:
О род людской, чтобы взлетать рожденный,
Тебя к земле и ветерки гнетут!»

Он обмахнул у кручи иссеченной
Мое чело тем и другим крылом
И обещал мне путь незатрудненный.

Как если вправо мы на холм идем,
Где церковь смотрит на юдоль порядка
Над самым Рубаконтовым мостом,

И в склоне над площадкою площадка
Устроены еще с тех давних лет,
Когда блюлась тетрадь и чтилась кадка,—

Так здесь к другому кругу тесный след
Ведет наверх в почти отвесном скате;
Но восходящий стенами задет.

Едва туда свернули мы: «Beati
Paureges spiritu»¹,— раздался вдруг
Напев неизреченной благодати.

О, как несходен доступ в новый круг
Здесь и в Аду! Под звуки песнопений
Вступают тут, а там — под вопли мук.

Я попирал священные ступени,
И мне казался легче этот всход,
Чем ровный путь, которым идут тени.

И я: «Скажи, учитель, что за гнет
С меня ниспал? И силы вновь берутся,
И тело от ходьбы не устает».

И он: «Когда все Р, что остаются
На лбу твоём, хотя тусклей и те,
Совсем, как это первое, сотрутся,

Твои стопы, в стремленье к высоте,
Не только поспешат неутомимо,
Но будут радоваться быстроте».

Тогда, как тот, кому неощутимо
Что-либо прицепилось к волосам,
Заметя взгляды проходящих мимо,

¹ «Блаженны нищие духом» (лат.).

На ощупь проверяет это сам,
И шарит, и находит, и руками
Свершает недоступное глазам,—

Так я, широко поводя перстами,
Из врезанных рукою ключаря
Всего шесть букв нащупал над бровями;

Вождь улыбнулся, на меня смотря.

ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ

Мы были на последней из ступеней,
Там, где вторично срезан горный склон,
Ведущий ввысь стезею очищений;

Здесь точно так же кромкой обведен
Обрыв горы, и с первой сходна эта,
Но только выгиб круче закруглен.

Дорога здесь резьбою не одета;
Стена откоса и уступ под ней —
Сплошного серокаменного цвета.

«Ждать для того, чтоб расспросить людей,—
Сказал Вергилий,— это путь нескорый,
А выбор надо совершить быстрей».

Затем, на солнце устремляя взоры,
Недвижным стержнем сделал правый бок,
А левый повернул вокруг опоры.

«О милый свет, средь новых мне дорог
К тебе зову,— сказал он.— Помоги нам,
Как должно, чтобы здесь ты нам помог.

Тепло и день ты льешь земным долинам;
И, если нас не иначе ведут,
Вождя мы видим лишь в тебе едином».

То, что как мило исчисляют тут,
Мы там прошли, не ощущая дали,
Настолько воля ускоряла труд.

А нам навстречу духи пролетали,
Хоть слышно, но невидимо для глаз,
И всех на вечерю любви сзывали.

Так первый голос, где-то возле нас,
«Vinum non habent!»¹ — молвил, пролетая,
И вновь за нами повторил не раз.

И, прежде чем он скрылся, замирая
За далью, новый голос: «Я Орест!» —
Опять воскликнул, мимо проплывая.

Я знал, что мы среди безлюдных мест,
Но чуть спросил: «Чья это речь?», как третий:
«Врагов любите!» — возгласил окрест.

И добрый мой наставник: «Выси эти
Бичуют грех завистливых; и вот,
Сама любовь свивает вервья плети.

Узда должна звучать наоборот;
Быть может, на пути к стезе прощенья
Тебе до слуха этот звук дойдет.

Но устрями сквозь воздух силу зренья,
И ты увидишь — люди там сидят,
Спиною опираясь о камень».

И я увидел, расширяя взгляд,
Людей, одетых в мантии простые;
Был цвета камня этот их наряд.

Приблизясь, я услышал зов к Марии:
«Моли о нас!» Так призван был с мольбой
И Михаил, и Петр, и все святые.

Навряд ли ходит по земле такой
Жестокосердый, кто бы не смутился
Тем, что предстало вскоре предо мной;

¹ «Вина нет у них!» (лат.) И далее — восклицание Ореста, подо спевшего в тот миг, когда его друг Пилад хотел принять казнь вместо него (ант. миф.).

Когда я с ними рядом очутился
И видеть мог подробно их дела,
Я тяжкой скорбью сквозь глаза излился.

Их тело власяница облекла,
Они плечом друг друга подпирают,
А вместе подпирает всех скала.

Так нищие слепцы на хлеб собирают
У церкви, в дни прощения грехов,
И друг на друга голову склоняют,

Чтоб всякий пожалеть их был готов,
Подвигнутый не только звуком слова,
Но видом, вопиющим громче слов.

И как незримо солнце для слепого,
Так и от этих душ, сидящих там,
Небесный свет себя замкнул сурово:

У всех железной нитью по краям
Зашиты веки, как для прирученья
Их зашивают диким ястребам.

Я не хотел чинить им огорченья,
Пройдя невидимым и видя их,
И оглянулся, алча наставленья.

Вождь понял смысл немых речей моих
И так сказал, не требуя вопроса:
«Спроси, в словах коротких и живых!»

Вергилий шел по выступу откоса
Тем краем, где нетрудно, оступясь,
Упасть с неогражденного утеса.

С другого края, к скалам прислонясь,
Сидели тени, и по лицам влага
Сквозь страшный шов у них волной лилась.

Я начал так, не продолжая шага:
«О вы, чей взор увидит свет высот
И кто другого не желает блага,

Да растворится пенистый налет,
Мрачащий вашу совесть, и сияя,
Над нею память вновь да потечет!

И если есть меж вами мне родная
Латинская душа, я был бы рад
И мог бы ей быть в помощь, это зная».

«У нас одна отчизна — вечный град.
Ты разумел — душа, что обитала
Пришелицей в Италии, мой брат».

Немного дальше эта речь звучала,
Чем стали я и мудрый мой певец;
В ту сторону подвинувшись сначала,

Я меж других увидел, наконец,
Того, кто ждал. Как я его заметил?
Он поднял подбородок, как слепец.

«Дух,— я сказал,— чей жребий станет светел!
Откуда ты иль как зовут тебя,
Когда ты тот, кто мне сейчас ответил?»

И тень: «Из Съены я и здесь, скорбя,
Как эти все, что жизнь свою пятнали,
Зову, чтоб Вечный нам явил себя.

Не мудрая, хотя меня и звали
Сапия¹, меньше радовалась я
Своим удачам, чем чужой печали.

Сам посуди, правдива ль речь моя
И был ли кто безумен в большей доле,
Уже склонясь к закату бытия.

Моих сограждан враг теснил у Колле,
А я молила нашего Творца
О том, что случилось по его же воле.

Их одолели, не было бойца,
Что б не бежал; я на разгром глядела
И радости не ведала конца;

¹ Сапия — знатная съенск. дама. Далее упомин. Пьер Петтинайо — по ремеслу гребенщик, прославивший святым.

Настолько, что, лицо подъявля смело,
Вскричала: «Бог теперь не страшен мне!» —
Как черный дрозд, чуть только потеплело.

У края дней я, в скорбной тишине,
Прибегла к Богу; но мой долг ужасный
Еще на мне бы тяготел вполне,

Когда б не вышло так, что сердцем ясный
Пьер Петтинайо мне помог, творя,
По доброте, молитвы о несчастной.

Но кто же ты, который, нам даря
Свое вниманье, ходишь, словно зрячий,
Как я сужу, и дышишь, говоря?»

И я: «Мой взор замкнется не иначе,
Чем ваш, но ненадолго, ибо он
Кривился редко при чужой удаче.

Гораздо большим ужасом смущен
Мой дух пред мукой нижнего обрыва;
Той ношей я заране пригнетен».

«Раз ты там не был,— словно слыша диво,
Сказала тень,— кто дал тебе взойти?»
И я: «Он здесь и внемлет молчаливо.

Еще я жив; лишь волю возвести,
Избранная душа, и я земные,
Тебе служа, готов топтать пути».

«О,— тень в ответ,— слова твои такие,
Что, несомненно, Богом ты любим;
Так помолись иной раз о Сапии.

Прошу тебя всем, сердцу дорогим:
Быть может, ты пройдешь землей Тосканы,
Так обо мне скажи моим родным.

В том городе все люди обуяны
Любовью к Таламонэ, но успех
Обманет их, как поиски Дианы,

И адмиралам будет хуже всех».

ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«Кто это кружит здесь, как странник некий,
Хоть смертью он еще не окрылен,
И подымает и смыкает веки?»

«Не знаю, кто; он кем-то приведен;
Спроси, ты ближе; только не сурово,
А ласково, чтобы ответил он».

Так, наклонясь один к плечу другого,
Шептались двое, от меня правей;
Потом, подняв лицо, чтоб молвить слово,

Один сказал: «Дух, во плоти своей
Идущий к небу из земного края,
Скажи нам и смущение развей:

Откуда ты и кто ты, что такая
Тебе награда дивная дана,
Редчайшая, чем всякая иная?»

И я: «В Тоскане речка есть одна;
Сбегая с Фальтероны, вьется смело
И сотой милей не утолена.

С тех берегов принес я это тело;
Сказать мое вам имя — смысла нет,
Оно еще не много прозвенело».

И вопрошавший: «Если в твой ответ
Суждение мое проникнуть властно,
Ты говоришь об Арно». А сосед

Ему сказал: «Должно быть, не напрасно
Названья этой речки он избег,
Как будто до того оно ужасно».

И тот: «Что думал этот человек,
Не ведаю; но по заслугам надо,
Чтоб это имя сгинуло навек!

Вдоль всей реки, оттуда, где громада
Хребта, с которым разлучен Пелор,
Едва ль не толще остального ряда,

Дотуда, где опять в морской простор
Спешит вернуться то, что небо сушит,
А реки снова устремляют с гор,

Всё доброе, что змея, каждый душит;
Места ли эти под найтем зла,
Или дурной обычай правду рушит,

Но жалкая долина привела
Людей к такой утрате их природы,
Как если бы Цирцея их пасла.

Сперва среди дрянной свиной породы,
Что только желудей не жрет пока,
Она струит свои скупые воды;

Затем к дворняжкам держит путь река,
Задорным без какого-либо права,
И нос от них воротит свысока.

Спадая вниз и ширясь величаво,
Уже не псов находит, а волков
Проклятая несчастная канава.

И, наконец, меж темных омутов,
Она к таким лисицам попадает,
Что и хитрец пред ними бестолков.

К чему молчать? Пусть всякий мне внимает!
И этому полезно знать вперед
О том, что мне правдивый дух внушает.

Я вижу, как племянник твой идет
Охотой на волков и как их травит
На побережьях этих злобных вод.

Живое мясо на продажу ставит;
Как старый скот, ведет их на зарез;
Безглавит многих и себя бесславит.

Сыт кровью, покидает скорбный лес
Таким, чтоб он в былой красе и силе
Еще тысячулетье не воскрес».

Как тот, кому несчастье возвестили,
В смятении меняется с лица,
Откуда бы невзгоды ни грозили,

Так, выслушав пророчество слепца,
Второй, я увидал, поник в печали,
Когда слова воспринял до конца.

Речь этого и вид того рождали
Во мне желанье знать, как их зовут;
Мои слова как просьба прозвучали.

И тот же дух ответил мне и тут:
«Ты о себе мне не сказал ни звука,
А сам меня зовешь на этот труд!

Но раз ты взыскан Богом, в чем порука
То, что ты здесь, отвечу, не тая.
Узнай: я Гвидо, прозванный Дель Дука¹.

Так завистью пылала кровь моя,
Что, если было хорошо другому,
Ты видел бы, как зеленею я.

И вот своих семян я жну солому.
О род людской, зачем тебя манит
Лишь то, куда нет доступа второму?

А вот Риньер, которым знаменит
Дом Кальболи, где в нисходящем ряде
Никто его достоинств не хранит.

И не его лишь кровь теперь в разладе,—
Меж По и Рено, морем и горой,—
С тем, что служило правде и отраде;

В пределах этих порослью густой
Теснятся ядовитые растенья,
И вырвать их нет силы никакой.

¹ *Гвидо дель Дука* — романец-гибеллин; выше он предсказал своему собеседнику *Риньери* да Кальболи злодеяния его племянника Фульчери, который подвергнет жестоким казням своих полит. противников; ниже он перечисляет романцев (*Лицио* и др.) прежнего времени, которых считает образцом добродетели.

Где Лицио, где Гвидо ди Карпенья?
Пьер Траверсаро и Манарди где?
Увы, романцы, мерзость вырожденья!

Болонью Фабро не спасет в беде,
И не сыскать Фаэнце Бернардина,
Могучий ствол на скромной борозде!

Тосканец, слезы льет моя кручина,
Когда я Гвидо Прата вспомяну
И доблестного д'Адзо, Уголина;

Тиньозо, шумной братьи старшину,
И Траверсаро, живших в блеске славы,
И Анастаджи, громких в старину;

Дам, рыцарей, и войны, и забавы,
Во имя благородства и любви,
Там, где теперь такие злые нравы!

О Бреттиноро, больше не живи!
Ушел твой славный род, и с ним в опале
Все, у кого пылала честь в крови.

Нет, к счастью, сыновей в Баньякавале;
А Коньо — стыд, и Кастрокаро — стыд,
Плодящим графов, хуже, чем вначале.

Когда их демон будет в прах зарыт,
Не станет сыновей и у Пагани,
Но это славы их не обелит.

О Уголин де'Фантолин, заране
Твой дом себя от поношенья спас:
Никто не омрачит его преданий!

Но ты иди, тосканец; мне сейчас
Милей беседы — дать слезам излиться;
Так душу мне измучил мой рассказ!»

Мы знали — шаг наш должен доноситься
До этих душ; и, раз молчат они,
Мы на дорогу можем положиться.

И вдруг на нас, когда мы шли одни,
Нагрнул голос, мчавшийся вдоль кручи
Быстрей перуна в грозовые дни:

«Меня убьет, кто встретит!» — и, летучий,
Затих вдали, как затихает гром,
Прорвавшийся сквозь оболочку тучи.

Едва наш слух успел забыть о нем,
Раздался новый, словно повторенный
Удар грозы, бушующей кругом:

«Я тень Аглавры, в камень превращенной!»
И я, правей, а не вперед ступив,
К наставнику прижался, устрешенный.

Уже был воздух снова молчалив.
«Вот жесткая узда,— сказал Вергилий,—
Чтобы греховный сдерживать порыв.

Но вас влечет наживка, без усилий
На удочку вас ловит супостат,
И проку нет в поводьях и вабиле.

Вкруг вас, взывая, небеса кружат,
Где всё, что зримо,— вечно и прекрасно,
А вы на землю устремили взгляд;

И вас карает тот, кому всё ясно».

ПЕСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ

Какую долю, дневный путь свершая,
Когда к исходу близок третий час,
Являет сфера, как дитя, живая,

Такую долю и теперь как раз
Осталось солнцу опуститься косо;
Там вечер был, и полночь здесь у нас.

Лучи нам били в середину носа,
Затем что мы к закатной стороне
Держали путь по выступу утеса,

Как вдруг я ощутил, что в очи мне
Ударил новый блеск, струясь продольно,
И удивился этой новизне.

Тогда ладони я поднес невольно
К моим бровям, держа их козырьком,
Чтобы от света не было так больно.

Как от воды иль зеркала углом
Отходит луч в противном направленьи,
Причем с паденьем сходствует подъем,

И от отвеса, в равном отдаленьи,
Уклон такой же точно он дает,
Что подтверждается при наблюденьи,

Так мне казалось, что в лицо мне бьет
Сиянье отражаемого света,
И взор мой сделал быстрый поворот.

«Скажи, отец возлюбленный, что это
Так неотступно мне в глаза разит,
Всё надвигаясь?» — я спросил поэта.

«Не диво, что тебя еще слепит
Семья небес, — сказал он. — К нам, в сиянье,
Идет посол — сказать, что путь открыт.

Но скоро в тяжком для тебя сверканье
Твои глаза отраду обретут,
Насколько услаждаться в состоянье».

Когда мы подошли: «Ступени тут, —
Сказал, ликуя, вестник благодати, —
И здесь подъем гораздо меньше крут».

Уже мы подымались, и «Beati
Misericordes!»¹ пелось нам вослед
И «Радуйся, громящий вражьи рати!»

Мы шли всё выше, я и мой поэт,
Совсем одни; и я хотел, шагая,
Услышать наставительный ответ;

¹ «Блаженны милостивые!» (лат.)

И так ему промолвил, вопрошая:
«Что тот слепой романец разумел,
О «доступе другим» упоминая?»

И вождь: «Познав, какой грозит удел
Позарившимся на чужие крохи,
Он вас от слез предостеречь хотел.

Богатства, вас влекущие, тем плохи,
Что, чем вас больше, тем скуднее часть,
И зависть мехом раздувает вздохи.

А если бы вы устремляли страсть
К верховной сфере, беспокойство ваше
Должно бы неминуемо отпасть.

Ведь там — чем больше говорящих «наше»,
Тем большей долей каждый наделен,
И тем любовь горит светлей и краше».

«Теперь я даже меньше утолен,—
Ответил я ему,— чем был сначала,
И бóльшими сомненьями смущен.

Ведь если достоянье общим стало
И совладельцев много, почему
Они богаче, чем когда их мало?»

И он в ответ: «Ты снова дал уму
Отвлечься в сторону земного дела
И вместо света почерпнешь тьму.

Как луч бежит на световое тело,
Так нескончаемая благодать
Спешит к любви из горнего предела,

Даря ей то, что та способна взять;
И чем сильнее пыл, в душе зажженный,
Тем большей славой ей дано сиять.

Чем больше сонм, любовью озаренный,
Тем больше в нем благой любви горит,
Как в зеркалах взаимно отраженной.

Когда моим ответом ты не сыт,
То Беатриче все твои томленья,
И это, и другие, утолит.

Стремись быстрее достигнуть исцеленья
Пяти рубцов, как истребились два,
Изглаженные силой сокрушенья».

«Ты мне даруешь...» — начал я едва,
Как следующий круг возник пред нами,
И жадный взор мой оттеснил слова.

И вдруг я словно был восхищен снами,
Как если бы восторг меня увлек,
И я увидел сборище во храме;

И женщина, переступив порог,
С заботой материнской говорила:
«Зачем ты это сделал нам, сынок?»¹

Отцу и мне так беспокойно было
Тебя искать!» Так молвила она,
И первое видение уплыло.

И вот другая, болью пронзена,
Которую родит негодование,
Льет токи слез, и речь ее слышна:

«Раз ты властитель града, чье названье
Среди богов посеяло разлад
И где блистает всяческое знанье,

Отмсти рукам бесстыдным, Писистрат,
Обнявшим нашу дочь!» Но был спокоен
К ней обращенный властелином взгляд,

И он сказал, нимало не расстроен:
«Чего ж тогда достоин наш злодей,
Раз тот, кто любит нас, суда достоин?»

¹ Мария, найдя своего пропавшего сына, 12-летнего Иисуса, беседующего в храме с учителем, говорит ему кроткие слова. Далее упоминает *Писистрат* — афин. тиран, который не послушался своей жены, требовавшей, чтобы дерзкий юноша, поцеловавший их дочь, был наказан, и дело кончилось свадьбой.

Потом я видел яростных людей,
Которые, столпившись, побивали
Камнями юношу, крича: «Бей! Бей!»

А тот, давимый гибелью, чем далее,
Тем всё бессильней поникал к земле,
Но очи к небу двери отверзали,

И он молил, чтоб грешных в этом зле
Господь всевышний гневом не коснулся,
И зрелась кротость на его челе.

Как только дух мой изнутри вернулся
Ко внешней правде в должную чреду,
Я от неложных грез моих очнулся.

Вождь, увидав, что я себя веду,
Как тот, кого внезапно разбудили,
Сказал мне: «Что с тобой? Ты как в чаду,

Прошел со мною больше полумили,
Прикрыв глаза и шатко семеня,
Как будто хмель иль сон тебя клонили».

И я: «Отец мой, выслушай меня,
И я тебе скажу, что мне предстало,
Суставы ног моих окостеня».

И он: «Хотя бы сто личин скрывало
Твои черты, я бы до дна проник
В рассудок твой сквозь это покрывало.

Тебе был сон, чтоб сердце ни на миг
Не отвращало влагу примиренья,
Которую предвечный льет родник.

Я «Что с тобой?» спросил не от смятенья,
Как тот, чьи взоры застигает мрак,
Сказал бы рухнувшему без движенья;

А я спросил, чтоб укрепить твой шаг:
Ленивых надобно будить, а сами
Они не расшевелиются никак».

Мы шли сквозь вечер, меря даль глазами,
Насколько солнце позволяло им,
Сиявшее закатными лучами;

А нам навстречу — нараставший дым
Скоплялся, темный и подобный ночи,
И негде было скрыться перед ним;

Он чистый воздух нам затмил и очи.

ПЕСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ

Во мраке Ада и в ночи, лишенной
Своих планет и слоем облаков
Под небом скудным плотно затемненной,

Мне взоров не давил такой покров,
Как этот дым, который всё сгущался,
Причем и ворс нещадно был суров.

Глаз, не стерпев, невольно закрывался;
И спутник мой придвинулся слегка,
Чтоб я рукой его плеча касался.

И как слепец, держась за вожака,
Идет, боясь отстать и опасаясь
Ушиба иль смертельного толчка,

Так, мглой густой и горькой пробираясь,
Я шел и новых не встречал помех,
А вождь твердил: «Держись, не отрываясь!»

И голоса я слышал, и во всех
Была мольба о мире и прощенье
Пред агнцем Божьим, снявшим с мира грех.

Там «Agnus Dei»¹ пелось во вступленье;
И речи соблюдались, и напев
Одни и те же, в полном единенье.

«Учитель, это духи?» — осмелев,
Спросил я. Он в ответ: «Мы рядом с ними.
Здесь, расторгая, сбрасывают гнев».

¹ «Агнец Божий» (лат.) — катол. молитва.

«А кто же ты, идущий в нашем дыме
И вопрошающий про нас, как те,
Кто мерит год календами земными?»

Так чей-то голос молвил в темноте.
«Ответь,— сказал учитель,— и при этом
Дознайся, здесь ли выход к высоте».

И я: «О ты, что, осиянный светом,
Взойдешь к Творцу, ты будешь удивлен,
Когда пройдешь со мной, моим ответом».

«Пройду, насколько я идти волён;
И если дым преградой стал меж нами,
Нам связью будет слух»,— ответил он.

Я начал так: «Повитый пеленами,
Срываемыми смертью, вверх иду,
Подземными измучен глубинами;

И раз угодно Божьему суду,
Чтоб я увидел горние палаты,
Чему давно примера не найду,

Скажи мне, кем ты был до дня расплаты
И верно ли ведет стезя моя,
И твой язык да будет наш вожатый».

«Я был ломбардец, Марко звался я;
Изведал свет и к доблести стремился,
Куда стрела не метит уж ничья.

А с правильной дороги ты не сбился». —
Так он сказал, добавив: «Я прошу,
Чтоб обо мне, взойдя, ты помолился».

И я: «Твое желанье я свершу;
Но у меня сомнение родилось,
И я никак его не разрешу.

Возникшее, оно усугубилось
От слов твоих, мне подтвердивших то,
С чем здесь и там оно соединилось.

Как ты сказал, теперь уже никто
Добра не носит даже и личину:
Зло и внутри, и сверху разлито.

Но укажи мне, где искать причину:
Внизу иль в небесах? Когда пойму,
Я и другим поведать не премину».

Он издал вздох, замерший в скорбном «У!»,
И начал так, в своей о нас заботе:
«Брат, мир — слепец, и ты сродни ему.

Вы для всего причиной признаете
Одно лишь небо, словно все дела
Оно вершит в своем круговороте.

Будь это так, то в вас бы не была
Свободной воля, правды бы не стало
В награде за добро, в отмщенье зла.

Влеченья от небес берут начало,—
Не все; но скажем даже — все сполна,—
Вам дан же свет, чтоб воля различала

Добро и зло, и ежели она
Осилит с небом первый бой опасный,
То, с доброй пищей, победить должна.

Вы лучшей власти, вольные, подвластны
И высшей силе, влившей разум в вас;
А небеса к нему и непричастны.

И если мир шатается сейчас,
Причиной — вы, для тех, кто понимает;
Что это так, покажет мой рассказ.

Из рук того, кто искони лелеет
Ее в себе, рождаясь, как дитя,
Душа еще и мыслить не умеет,

Резвится, то смеясь, а то грустя,
И, радостного мастера создание,
К тому, что манит, тотчас же летя.

Ничтожных благ вкусив очарованье,
Она бежит к ним, если ей препон
Не создают ни вождь, ни обузданье.

На то и нужен, как узда, закон;
На то и нужен царь, чей взор открыто
Хоть к башне Града был бы устремлен.

Законы есть, но кто же им защита?
Никто; ваш пастырь жвачку хоть жует,
Но не раздвоены его копыта;

И паства, видя, что вожатый льнет
К благам, будящим в ней самой влеченье,
Ест, что и он, и лучшего не ждет.

Ты видишь, что дурное управленье
Виной тому, что мир такой плохой,
А не природы вашей извращенье.

Рим, давший миру наилучший строй,
Имел два солнца, так что видно было,
Где Божий путь лежит и где мирской.

Потом одно другое погасило;
Меч слился с посохом, и вышло так,
Что это их, конечно, развратило

И что взаимный страх у них иссяк.
Взгляни на колос, чтоб не сомневаться;
По семени распознается злак.

В стране, где По и Адиче струятся,
Привыкли честь и мужество цвести;
В дни Федерика стал уклад ломаться;

И там теперь открыты все пути
Для тех, кто раньше к людям честной жизни
Стыдился бы и близко подойти.

Есть, правда, новым летам к укоризне,
Три старика, которые досель
Томятся жаждой по иной отчизне:

Герардо славный; Гвидо да Кагель,
«Простой ломбардец», милый и француз;
Куррадо да Палаццо. Неужель

Не видишь ты, что церковь, взяв обузу
Мирских забот, под бременем двух дел
Упала в грязь, на срам себе и грузу?»

«О Марко мой, я всё уразумел,—
Сказал я.— Вижу, почему левиты¹
Не получили ничего в удел.

Но кто такой Герардо знаменитый,
Который в диком веке, ты сказал,
Остался миру как пример забытый?»

«Ты странно говоришь,— он отвечал.—
Ужели ты, в Тоскане обитая,
Про доброго Герардо не слыхал?

Так прозвище ему. Вот разве Гайя,
Родная дочь снабдит его другим.
Храни вас Бог! А я дошел до края.

Уже заря белеется сквозь дым,—
Там ангел ждет,— и надо, чтоб от света
Я отошел, куда я незрим».

И повернул, не слушая ответа.

ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ

Читатель, если ты в горах, бывало,
Бродил в тумане, глядя, словно крот,
Которому плева глаза застлала,

Припомни миг, когда опять начнет
Редеть густой и влажный пар,— как хило
Шар солнца сквозь него сиянье льет;

И ты поймешь, каким вначале было,
Когда я вновь его увидел там,
К закату нисходившее светило.

¹ *Левиты* — жреческое сословие у древних евреев.

Так, примеряясь к дружеским шагам
Учителя, я шел редевшей тучей
К уже умершим под горой лучам.

Воображенье, чей порыв могучий
Подчас таков, что, кто им увлечен,
Не слышит рядом сотни труб гремучей,

В чем твой источник, раз не в чувстве он?
Тебя рождает некий свет небесный,
Сам или высшей волей источен.

Жестокость той, которая телесный
Сменила облик, певчей птицей став¹,
В моем уме вдавила след чудесный;

И тут мой дух, всего себя собрав
В самом себе, всё прочее отринул,
С тем, что вовне, общение прервав.

Затем в мое воображенье хлынул
Распятый, гордый обликом, злодей,
Чью душу гнев и в смерти не покинул.

Там был с Эсфирью² верною своею
Великий Артаксеркс и благородный
Речами и делами Мардохей.

Когда же этот образ, с явью сходный,
Распался наподобье пузыря,
Лишившегося оболочки водной,—

В слезах предстала дева, говоря:
«Зачем, царица, горестной кончины
Ты захотела, гневом возгоря?»

¹ В ант. миф. Прокна, жена фракийск. царя Терей, чтобы отомстить мужу, который надругался над ее сестрой, убила сына и его мясом накормила отца; обе сестры были превращены богами в птиц.

² Эсфирь — жена перс. царя Артаксеркса, которая предотвратила злобный замысел его приближенного истребить всех иудеев. Далее упомин. Лавина, дочь царя Латина, который просватал ее за троян. вождя Энея, и Аматы, которая хотела выдать ее замуж за царя рутулов Турна; думая, что Турн убит, Амата в ярости повесилась.

Ты умерла, чтоб не терять Лавины,—
И потеряла! Я подьему гнет
Твоей, о мать, не чьей иной судьбины».

Как греза сна, когда ее прервет
Волна в глаза ударившего света,
Трепещет миг, потом совсем умрет,—

Так было сметено виденье это
В лицо мое ударившим лучом,
Намного ярче, чем сиянье лета.

Пока, очнувшись, я глядел кругом,
Я услышал слова: «Здесь восхождение»,
И я уже не думал о другом,

И волю охватило то стремление
Скорей взглянуть, кто это говорил,
Которому предел — лишь утоление.

Но как на солнце посмотреть нет сил,
И лик его в чрезмерном блеске тает,
Так точно здесь мой взгляд бессилен был.

«То Божий дух, и нас он наставляет
Без нашей просьбы и от наших глаз
Своим же светом сам себя скрывает.

Как мы себя, так он лелеет нас;
Мы, чуя просьбу и нужду другого,
Уже готовим, злобствуя, отказ.

Направим шаг на звук такого зова;
Идем наверх, пока не умер день;
Нельзя всходить средь сумрака ночного».

Так молвил вождь, и мы вступили в тень
Высокой лестницы, свернув налево;
И я, взойдя на первую ступень,

Лицом почуял как бы взмах обвева;
«Beati,— чей-то голос возгласил,—
Pacifici¹, в ком нет дурного гнева!»

¹ «Блаженны миротворцы» (лат.).

Уже к таким высотам уходил
Пред наступавшей ночью луч заката,
Что кое-где зажглись огни светил.

«О мощь моя, ты вся ушла куда-то!»—
Сказал я про себя, заметя вдруг,
Что сила ног томлением объята.

Мы были там, где, выйдя в новый круг,
Кончалась лестница, и здесь, у края,
Остановились, как доплывший струг.

Я начал вслушиваться, ожидая,
Не огласится ль звуком тишина;
Потом, лицо к поэту обращая:

«Скажи, какая,— я сказал,— вина
Здесь очищается, отец мой милый?
Твой скован шаг, но речь твоя вольна».

«Любви к добру, неполной и унылой,
Здесь придается мощность, — молвил тот.—
Здесь вялое весло бьет с новой силой.

Пусть разум твой к словам моим прильнет,
И будет мой урок немногословный
Тебе на отдыхе как добрый плод.

Мой сын, вся тварь, как и творец верховный,—
Так начал он,— ты это должен знать,
Полна любви, природной иль духовной.

Природная не может погрешать;
Вторая может целью ошибиться,
Не в меру скудной иль чрезмерной стать.

Пока она к высокому стремится,
А в низком за предел не перешла,
Дурным усладам нет причин родиться;

Но где она идет стезею зла
Иль блага жаждет слишком или мало,
Там тварь завет Творца не соблюла.

Отсюда ясно, что любовь — начало
Как всякого похвального плода,
Так и всего, за что карать пристало.

А так как взор любви склонён всегда
К тому всех прежде, кем она носима,
То неприязнь к себе вещам чужда.

И так как сущее неотделимо
От Первой сущности, она никак
Не может оказаться нелюбима.

Раз это верно, остается так:
Зло, как предмет любви, есть зло чужое,
И в вашем иле вид ее трояк.

Иной надеется подняться вдвое,
Поправ соседа,— этот должен пасть,
И лишь тогда он будет жить в покое;

Иной боится славу, милость, власть
Утратить, если ближний вознесется;
И неприязнь томит его, как страсть;

Иной же от обиды так зажжется,
Что голоден, пока не отомстит,
И мыслями к чужой невзгоде рвется.

И этой вот любви троякий вид
Оплакан там внизу; но есть другая,
Чей путь к добру — иной, чем надлежит.

Все смутно жаждут блага, сознавая,
Что мир души лишь в нем осуществим,
И все к нему стремятся, уповая.

Но если вас влечет к общению с ним
Лишь вялая любовь, то покаянных
Казнит вот этот круг, где мы стоим.

Еще есть благо, полное обманных,
Пустых отрад, в котором нет того,
В чем плод и корень благ, для счастья данных.

Любовь, чресчур алкавшая его,
В трех верхних кругах предается плачу;
Но в чем ее тройное естество,

Я умолчу, чтоб ты решил задачу».

ПЕСНЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Окончил речь наставник мой высокий
И мне глядел в глаза, чтобы узнать,
Вполне ли я постиг его уроки.

Я, новой жаждой мучимый опять,
Вовне молчал, внутри твердил: «Не дело
Ему, быть может, слишком докучать».

Он, как отец, поняв, какое тлело
Во мне желанье, начал разговор,
Чтоб я решился высказаться смело.

И я: «Твой свет так оживил мне взор,
Учитель, что ему наглядным стало
Всё то, что перед ним ты распростер;

Но, мой отец, еще я знаю мало,
Что́ есть любовь, в которой всех благих
И грешных дел ты полагал начало».

«Направь ко мне,— сказал он,— взгляд своих
Духовных глаз и вскроешь заблужденье
Слепцов, которые ведут других.

В душе к любви заложено стремленье,
И всё, что нравится, ее влечет,
Едва ее поманит наслажденье.

У вас внутри воспринятым живет
Наружный образ, к вам запав — таится
И душу на себя взглянуть зовет;

И если им, взглянув, она пленится,
То этот плен — любовь; природный он,
И наслажденьем может лишь скрепиться.

И вот, как пламень кверху устремлен,
И первое из свойств его — взлетанье
К среде, где он прочнее сохранен,—

Так душу пленную стремится желанье,
Духовный взлет, стихая лишь тогда,
Когда она вступает в обладанье.

Ты видишь сам, как истина чужда
Приверженцам той мысли сумасбродной,
Что, мол, любовь оправдана всегда.

Пусть даже чист состав ее природный;
Но если я и чистый воск возьму,
То отпечаток может быть негодный».

«Твои слова послушному уму
Раскрыли суть любви; но остается
Недоуменье,— молвил я ему.—

Ведь если нам любовь извне дается
И для души другой дороги нет,
Ей отвечать за выбор не придется».

«Скажу, что видит разум,— он в ответ.—
А дальше — дело веры; уповая,
Жди Беатриче и обрящешь свет.

Творящее начало, пребывая
Врозь с веществом в пределах вещества,
Полно особой силы, каковая

В бездействии незрима, хоть жива,
А зрима лишь посредством проявленья;
Так жизнь растенья выдает листва.

Откуда в вас зачатки постиженья,
Сокрыто от людей завесой мглы,
Как и откуда первые влеченья,

Подобные потребности пчелы
Брать мед; и нет хвалы, коль взвесить строго,
Для этой первой воли, ни хулы.

Но вслед за ней других теснится много,
И вам дана способность править суд
И делать выбор, стоя у порога.

Вот почему у вас ответ несут,
Когда любви благой или презренной
Дадут или отпор, или приют.

И те, чья мысль была проникновенной,
Познав, что вам свобода врождена,
Нравоученье вынесли вселенной.

Итак, пусть даже вам извне дана
Любовь, которая внутри пылает,—
Душа всегда изгнать ее вольна.

Вот то, что Беатриче называет
Свободной волей; если б речь зашла
О том у вас, пойми, как подобает».

Луна в полночный поздний час плыла
И, понуждая звезды разредиться,
Скользила, в виде яркого котла,

Навстречу небу, там, где солнце мчится,
Когда оно за Римом для очей
Меж сардами и корсами садится.

И тень, чьей славой Пьетоло славней
Всей мантуанской области пространной,
Сложила бремя тяготы моей.

А я, приняв столь ясный и желанный
Ответ на каждый заданный вопрос,
Стоял, как бы дремотой обуянный.

Но эту дрему тотчас же унес
Внезапный крик, и показались тени,
За нами обегавшие утес.

Как некогда Асоп или Исмений
Видали по ночам толпу и гон
Фивян во время Вакховых радений,

Так здесь несутся, огибая склон,—
Я смутно видел,— в вечном непокое
Те, кто благой любовью уязвлен.

Мгновенно это скопище большое,
Спеша бегом, настигло нас, и так,
Всех впереди, в слезах кричали двое:

«Мария в горы устремила шаг,
И Цезарь поспешил, кольнув Марсилью,
В Испанию, где ждал в Илерде враг».

«Скорей, скорей, нельзя любвеобилью
Быть вялым! — сзади общий крик летел.—
Нисходит милость к доброму усилью».

«О вы, в которых острый пыл вскипел
Взамен того, как хладно и лениво
Вы медлили в свершенье добрых дел!

Вот он, живой,— я говорю нелживо,—
Идет наверх и только солнца ждет;
Скажите нам, где щель в стене обрыва».

Так встретил вождь стремившийся народ;
Одна душа сказала, пробегая:
«Иди за нами и увидишь вход.

Потребность двигаться у нас такая,
Что ноги нас неудержимо мчат;
Прости, наш долг за грубость не считая.

Я жил в стенах Сан-Дзено как аббат,
И нами добрый Барбаросса ¹ правил,
О ком в Милане скорбно говорят.

Одну стопу уже во гроб поставил
Тот, кто оплачет этот Божий дом,
Который он, имея власть, ославил,

Назначив сына, зачатого злом,
С душой еще уродливей, чем тело,
Не по уставу пастырствовать в нем».

¹ Фридрих Барбаросса — император, в 1162 г. разрушил сопротивлявшийся ему Милан.

Толпа настолько пробежать успела,
Что я не знаю, смолк он или нет;
Но эту речь душа запечатлела.

И тот, кто был мне помощь и совет,
Сказал: «Смотри, как двое там, зубами
Вцепясь в унынье, мчатся им вослед».

«Не раньше, — крик их слышался за нами, —
Чем истребились те, что по дну шли,
Открылся Иордан пред их сынами.

А те, что утомленья не снесли,
Когда Эней на подвиг ополчился,
Себя бесславной жизни обрекли».

Когда их сонм настолько удалился,
Что видеть я его уже не мог,
Во мне какой-то помысел родился,

Который много всяких новых влек,
И я, клонясь от одного к другому,
Закрыв глаза, вливался в их поток,

И размысленье претворилось в дрему.

ПЕСНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Когда разлитый в воздухе безбурном
Зной дня слабей, чем хладная луна,
Осиленный землей или Сатурном,

А геомантам, пред зарей, видна
Fortuna таюг там, где торопливо
Восточная светлеет сторона,

В мой сон вступила женщина: гугнива,
С кульями вместо рук, лицом желта,
Она хромала и глядела криво¹.

Я на нее смотрел; как теплота
Живит издрогнувшее за ночь тело,
Так и мой взгляд ей развязал уста,

¹ Символ трех грехов — корыстолюбия, чревоугодия, сладострастия.

Помог ей тотчас выпрямиться смело
И гиблое лицо свое облечь
В такие краски, как любовь велела.

Как только у нее явилась речь,
Она запела так, что я от плена
С трудом бы мог вниманье уберечь.

«Я,— призрак пел,— я нежная сирена,
Мутящая рассудок моряков,
И голос мой для них всему замена.

Улисса совратил мой сладкий зов
С его пути; и тот, кто мной пленится,
Уходит редко из моих оков».

Скорей, чем рот ее успел закрыться,
Святая и усердная жена
Возникла возле, чтобы той смутиться.

«Вергилий, о Вергилий, кто она?» —
Ее был возглас; он же, стоя рядом,
Взирал, как эта чистая гневна.

Она ее схватила с грозным взглядом
И, ткань порвав, открыла ей живот;
Меня он разбудил несносным смрадом.

«Я трижды звал, потом оставил счет,—
Сказал мой вождь, чуть я повел очами.—
Вставай, пора идти! Отыщем вход».

Я встал; уже наполнились лучами
По всей горе священные круги;
Мы шли с недавним солнцем за плечами.

Я следом направлял мои шаги,
Изогнутый под грузом размышлений,
Как половина мостовой дуги.

Вдруг раздалось: «Придите, здесь ступени»,—
И ласка в этом голосе была,
Какой не слышно в нашей смертной сени.

Раскрыв, подобно лебедю, крыла,
Так говоривший нас наверх направил,
Туда, где в камне лестница вела.

Он, обмахнув нас перьями, прибавил,
Что те, «qui lugent»¹, счастье обрели,
И утешенье, ждущее их, славил.

«Ты что склонился чуть не до земли?» —
Так начал говорить мне мой вожатый,
Когда мы выше ангела взошли.

И я: «Иду, сомненьями объятый;
Я видел сон и жаждал бы ясней
Понять язык его замысловатый».

И он: «Ты видел ведьму древних дней,
Ту самую, о ком скорбят над нами;
Ты видел, как разделяваться с ней.

С тебя довольно; землю бей стопами!
Взор обрати к вабилу, что кружит
Предвечный царь огромными кругами!»

Как сокол долго под ноги глядит,
Потом, услышав оклик, встрепенется
И тянется туда, где будет сыт,

Так сделал я; и так, пока сечется
Ведущей вверх тропой громада скал,
Всходил к уступу, где дорога вьется.

Вступая в пятый круг, я увидел
Народ, который, двинуться не смея,
Лицом к земле поверженный, рыдал.

«Adhaesit pavimento anima mea!»² —
Услышал я повсюду скорбный звук,
Едва слова сквозь вздохи разумея.

«Избранники, чье облегченье мук —
И в правде, и в надежде, укажите,
Как нам подняться в следующий круг!»

¹ «Плачущие» (лат.).

² «Прилипла к страху душа моя!» (лат.)

«Когда вы здесь меж нами не лежите,
То, чтобы путь туда найти верней,
Кнаруже правое плечо держите».

Так молвил вождь, и так среди теней
Ему ответили; а кто ответил,
Мой слух мне указал всего точней.

Я взор наставника глазами встретил;
И он позволил, сделав бодрый знак,
То, что в просящем облике заметил.

Тогда, во всем свободный, я мой шаг
Направил ближе к месту, где скорбело
Созданье это, и промолвил так:

«Дух, льющий слезы, чтобы в них созрело
То, без чего возврата к Богу нет,
Скажи, прервав твое святое дело:

Кем был ты; почему у вас хребет
Вверх обращен; и чем могу хоть мало
Тебе помочь, живым покинув свет?»

«Зачем нас небо так ничком прижало,
Ты будешь знать; но раньше scias quod
Fui successor Petri¹, — тень сказала.—

Меж Кьявери и Сьестри воды льет
Большой поток, и с ним одноименный
Высокий титул отличил мой род.

Я свыше месяца влачил, согбенный,
Блюдя от грязи, мантию Петра;
Пред ней — как пух все тяжести вселенной.

Увы, я поздно стал на путь добра!
Но я познал, уже как пастырь Рима,
Что жизнь земная — лживая мара.

¹ «Знай, что я был преемником Петра» (лат.) — это слова кардинала Фьески, умершего вскоре после вступления на папский престол.

Душа, я видел, как и встарь томима,
А выше стать в той жизни я не мог,—
И этой восхотел неужержимо.

До той поры я жалок и далек
От Бога был, неизмеримо жадный,
И казнь, как видишь, на себя навлек.

Здесь явлен образ жадности наглядный
Вот в этих душах, что окрест лежат;
На всей горе нет муки столь нещадной.

Как там подняться не хотел наш взгляд
К высотам, устремляемый к земному,
Так здесь возмездьем он к земле прижат.

Как жадность там порыв любви к благому
Гасила в нас и не влекла к делам,
Так здесь возмездье, хоть и по-иному,

Стопы и руки связывает нам,
И мы простерты будем без движенья,
Пока угодно правым небесам».

Став на колени из благоговенья,
Я начал речь, но и по слуху он
Заметил этот признак уваженья

И молвил: «Почему ты так склонен?»
И я в ответ: «Таков ваш сан великий,
Что совестью я, стоя, уязвлен».

«Брат, встань! — ответил этот дух безликий.—
Ошибся ты: со всеми и с тобой
Я сослужитель одного владыки.

Тому, кто звук Евангеля святой,
Гласящий «Neque pubent», понимает,
Понятно будет сказанное мной.

Теперь иди; мне скорбь моя довлеет;
Ты мне мешаешь слезы лить, стена,
В которых то, что говорил ты, зреет.

Есть добрая Аладжа у меня,
Племянница,— и только бы дурного
В ней не посеяла моя родня!
Там у меня нет никого другого».

ПЕСНЬ ДВАДЦАТАЯ

Пред лучшей волей силы воли хрупки;
Ему в угоду, в неугоду мне,
Я погруженной не насытил губки.

Я двинулся; и вождь мой, в тишине,
Свободными местами шел под кручей,
Как вдоль бойниц проходят по стене;

Те, у кого из глаз слезой горючей
Сочится зло, заполнившее свет,
Лежат кнаруже слишком плотной кучей.

Будь проклята, волчица древних лет,
В чьем ненасытном голоде всё тонет
И яростней которой зверя нет!

О небеса, чей ход иными понят,
Как полновластный над судьбой земли,
Идет ли тот, кто эту тварь изгонит?

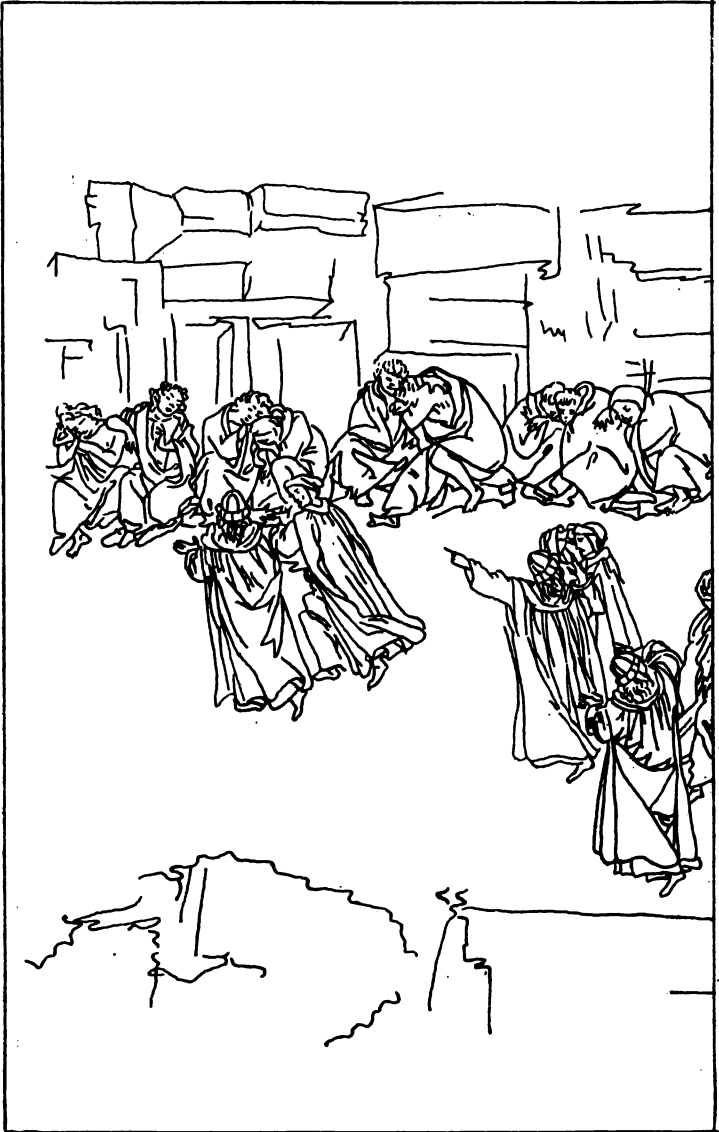
Мы скудным шагом медленно брели,
Внимая теням, скорбно и устало
Рыдавшим и томившимся в пыли;

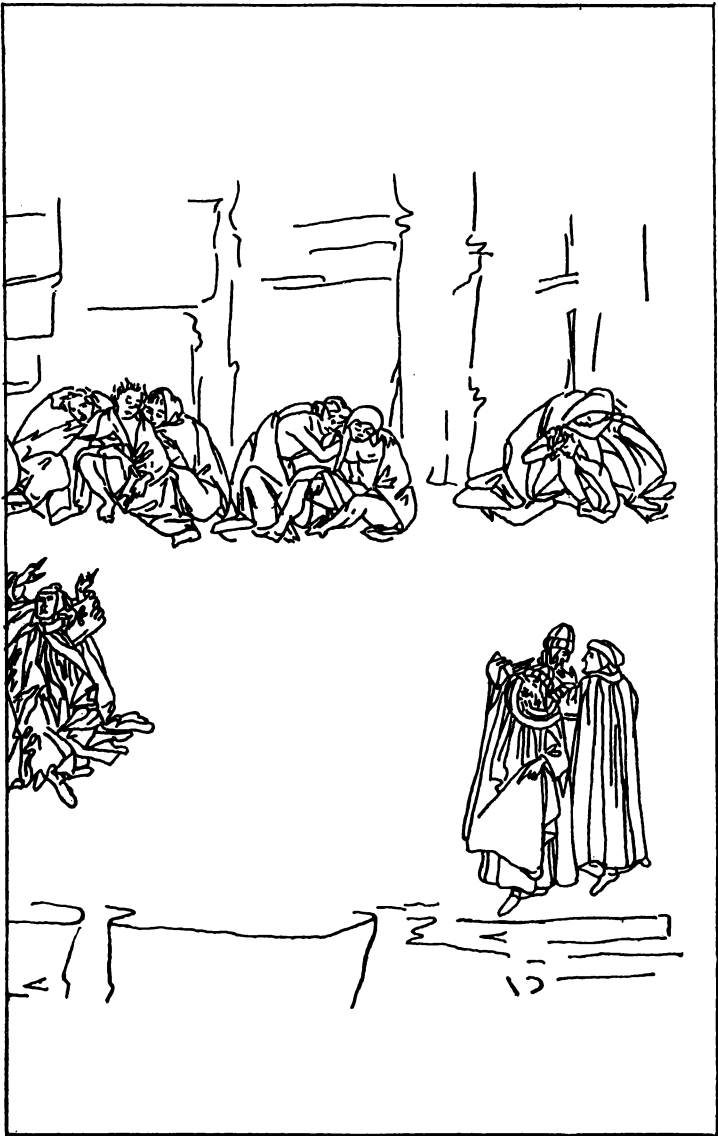
Как вдруг вблизи «Мария!» прозвучало,
И так тоска казалась тяжела,
Как если бы то женщина рожала;

И далее: «Как ты бедна была,
Являет тот приют, где пеленицей
Ты свой священный отпрыск повила».

Потом я слышал: «Праведный Фабриций¹,
Ты бедностью безгрешной посрамил
Порок, обогащаемый сторицей».

¹ *Фабриций* — рим. полководец (III в. до н. э.), прославившийся своим бескорытием.





Смысл этой речи так был сердцу мил,
Что я пошел вперед, узнать желая,
Кто из лежавших это говорил.

Еще он славил щедрость Николая,
Который спас невест от нищеты,
Младые годы к чести направляя.

«Дух, вспомянувший столько доброты! —
Сказал я.— Кем ты был? И неужели
Хваленья здесь возносишь только ты?

Я буду помнить о твоём уделе,
Когда вернусь короткий путь кончать,
Которым жизнь летит к последней цели».

И он: «Скажу про всё, хотя мне ждать
Оттуда нечего; но без сравненья
В тебе, живом, сияет благодать.

Я корнем был зловредного растенья,
Наведшего на Божью землю мрак,
Такой, что в ней неплодье запустенья.

Когда бы Гвант, Лиль, Бруджа и Дуак
Могли, то месть была б уже свершенной;
И я молюсь, чтобы случилось так.

Я был Гугон, Капетом ¹ нареченный,
И не один Филипп и Людовик
Над Францией владычил, мной рожденный.

Родитель мой в Париже был мясник;
Когда старинных королей не стало,
Последний же из племени владык

¹ *Гуго Капет* — сын Гуго Великого, графа Парижского, избранный после смерти Людовика V, последнего из династии Каролингов, на фр. престол и давший начало династии Капетингов. Далее упоминается: *Карл I* Анжуйский, который, как считают, велел отравить философа *Фому* Аквинского; *Карл* Валуа — брат фр. короля Филиппа IV; *Карл II* — сын Карла I, взятый в плен в бою с арагон. флотом и выдавший свою дочь, за богатый выкуп, за старого маркиза Феррары.

Облекся в серое, уже сжимала
Моя рука бразды державных сил,
И мне земель, да и друзей достало,

Чтоб диадемой вдóвой осенил
Мой сын свою главу и длинной смене
Помазанных начало положил.

Пока мой род в прованском пышном вене
Не схоронил стыда, он мог сойти
Ничтожным, но безвредным тем не мене.

А тут он начал хитрости плести
И грабить; и забрал, во искупленье,
Нормандию, Гасконью и Понти.

Карл сел в Италии; во искупленье,
Зарезал Куррадина; а Фому
Вернул на небеса, во искупленье.

Я вижу время, близок срок ему,—
И новый Карл его поход повторит,
Для вящей славы роду своему.

Один, без войска, многих он поборет
Копьем Иуды; им он так разит,
Что брюхо у Флоренции распорет.

Не землю он, а только грех и стыд
Приобретет, тем горший в час расплаты,
Что этот груз его не тяготит.

Другой, я вижу, пленник, в море взятый,
Дочь продает, гонясь за барышом,
Как делают с рабынями пираты.

О жадность, до чего же мы дойдем,
Раз кровь мою так привлекло стяжанье,
Что собственная плоть ей нипочем?

Но я страшнее вижу злодеянье:
Христос в своем наместнике пленен,
И торжествуют лилии в Аланье.

Я вижу — вновь людьми поруган он,
И желчь и уксус пьет, как древле было,
И средь живых разбойников казнен.

Я вижу — это всё не утолило
Новейшего Пилата; осмелев,
Он в храм вторгает хищные ветрила.

Когда ж, Господь, возвеселюсь, узрев
Твой суд, которым, в глубине безвестной,
Ты умягчаешь твой сокрытый гнев?

А возглас мой к невесте невестной
Святого духа, вызвавший в тебе
Твои вопросы, это наш совместный

Припев к любой творимой здесь мольбе,
Покамест длится день; поздней заката
Мы об обратной говорим судьбе.

Тогда мы повторяем, как когда-то
Братоубийцей стал Пигмалион,
Предателем и вором, в жажде злата;

И как Мидас¹ в беду был вовлечен,
В своем желанье жадном утоляем,
Которым сделался для всех смешон.

Безумного Ахана вспоминаем,
Добычу скрывшего, и словно зрим,
Как гневом Иисуса он терзаем.

Потом Сапфиру с мужем мы виним,
Мы рады синякам Гелиодора,
И вся гора позором круговым

¹ *Мидас* — в ант. миф. фригийск. царь, испросивший себе у богов дар превращать в золото все, к чему прикоснется. Далее упомин.: *Ахан* — в библ. легенде воин, похитивший часть военной добычи и за это сожженный вместе с детьми; *Сапфира с мужем* — по церк. легенде одни из первых христиан, были поражены смертью за свое корыстолюбие; *Красс* — рим. полководец, скопивший огромные богатства; когда его голову принесли парфян. царю, тот велел налить ей в рот расплавленного золота и сказал: «Ты жаждал золота, так пей же».

Напутствует убийцу Полидора;
Последний клич: «Как ты находишь, Красс,
Вкус золота? Что ты знаток, нет спора!»

Кто громко говорит, а кто, подчас,
Чуть внятно, по тому, насколько сурово
Потребность речи уязвляет нас.

Не я один о добрых молвил слово,
Как здесь бывает днем; но невдали
Не слышно было никого другого».

Мы от него немало отошли
И, напрягая силы до предела,
Спешили по дороге, как могли.

И вдруг гора, как будто пасть хотела,
Затрепетала; стужа обдала
Мне, словно перед казнию, всё тело,

Не так тряслась Делосская скала,
Пока гнезда там не свила Латона
И небу двух очей не родила.

Раздался крик по всем уступам склона,
Такой, что, обратясь, мой проводник
Сказал: «Тебе твой спутник оборона».

«Gloria in excelsis»¹ — был тот крик,
Один у всех, как я его значенье
По возгласам ближайших к нам постиг.

Мы замерли, внимая восхваленье,
Как слушали те пастухи в былом;
Но прекратился трус, и смолкло пенье.

Мы вновь пошли своим святым путем,
Среди теней, по-прежнему безгласно
Поверженных в рыдании своем.

¹ «Слава в вышних» (лат.) — песнь ангелов, которую слышали пастухи в ночь рождения Христа.

Еще вовек неведение так страстно
Рассудок мой к познанию не влекло,
Насколько я способен вспомнить ясно,
Как здесь я им терзался тяжело;
Я, торопясь, не смел задать вопроса,
Раздумье же помочь мне не могло;
Так, в робких мыслях, шел я вдоль утеса.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Терзаемый огнем природной жажды,
Который утоляет лишь вода,
Самаритянке данная однажды,

Я, следуя вождю, не без труда
Загроможденным кругом торопился,
Скорбя при виде правого суда.

И вдруг, как, по словам Луки, явился
Христос в дороге двум ученикам,
Когда его могильный склеп раскрылся,—

Так здесь явился дух¹, вдогонку нам,
Шагавшим над простертыми толпами;
Его мы не заметили; он сам

Воззвал к нам: «Братья, мир Господень с вами!»
Мы тотчас обернулись, и поэт
Ему ответил знаком и словами:

«Да примет с миром в праведный совет
Тебя неложный суд, от горней сени
Меня отторгший до скончанья лет!»

«Как! Если вы не призванные тени,—
Сказал он, с нами торопясь вперед,—
Кто вас возвел на Божии ступени?»

¹ Речь идет о Публии Стации, рим. поэте I в. Далее упоминаются парк Клото, Лахезис и Атропос — в ант. миф. богини судьбы, ведающие нитью чело­веч. жизни; дочь Фавманта Ирида — вестница богов, олицетворяющая раду­гу, а также Тит (39—81) — рим. император, разрушивший Иерусалим в 70 г.

И мой наставник: «Кто, как этот вот,
Отмечен ангелом, несущим стражу,
Тот воцаренья с праведными ждет.

Но так как та, что вечно тянет пряжу,
Его кудель ссучила не вполне,
Рукой Клото́ намотанную клажу,

Его душа, сестра тебе и мне,
Не обладая нашей мощью взгляда,
Идти одна не может к вышине.

И вот я призван был из бездны Ада
Его вести, и буду близ него,
Пока могу руководить, как надо.

Но, может быть, ты знаешь: отчего
Встряслась гора и возглас ликованья
Объял весь склон до влажных стоп его?»

Спросив, он мне попал в ушко желанья
Так метко, что и жажда смягчена
Была одной отрадой ожиданья.

Тот начал так: «Гора отрешена
Ото всего, в чем нарушенье чина
И в чем бы оказалась новизна.

Здесь перемен нет даже и помина:
Небесного в небесное возврат
И только — их возможная причина.

Ни дождь, ни иней, ни роса, ни град,
Ни снег не выпадают выше грани
Трех ступеней у загражденных врат.

Нет туч, густых иль редких, нет блистаний,
И дочь Фавманта в небе не пестра,
Та, что внизу живет среди скитаний.

Сухих паров не ведает гора
Над сказанными мною ступенями,
Подножием наместника Петра.

Внизу трясет, быть может, временами,
Но здесь ни разу эта высота
Не сотряслась подземными ветрами.

Дрожит она, когда из душ одна
Себя познает чистой, так что встанет
Иль вверх пойдет; тогда и песнь слышна.

Знак очищенья — если воля взманит
Переменить обитель, и счастлив,
Кто, этой волей схваченный, воспрянет.

Душа и раньше хочет; но строптив
Внушенный Божьей правдой, против воли,
Позыв страдать, как был грешить позыв.

И я, простертый в этой скорбной боли
Пятьсот и больше лет, изведал вдруг
Свободное желанье лучшей доли.

Вот отчего всё дрогнуло вокруг,
И духи песнью славили гремящей
Того, кто да избавит их от мук».

Так он сказал; и так как пить тем слаще,
Чем жгучей жажду нам пришлось терпеть,
Скажу ль, как мне был в помощь говорящий?

И мудрый вождь: «Теперь я вижу сеть,
Вас взявшую, и как разъять тенета,
Что зыблет гору и велит вам петь.

Но кем ты был — узнать моя забота,
И почему века, за годом год,
Ты здесь лежал — не дашь ли мне отчета?»

«В те дни, когда всеильный царь высот
Помог, чтоб добрый Тит отмстил за раны,
Кровь из которых продал Искарьот,—

Ответил дух,— я оглашал те страны
Прочнейшим и славнейшим из имен,
К спасению тогда еще не званный.

Моих дыханий был так сладок звон,
Что мною, толосатом, Рим пленился,
И в Риме я был миртом осенен.

В земных народах Стаций не забылся.
Воспеты мной и Фивы и Ахилл,
Но под второю ношей я свалился.

В меня, как семя, искру заронил
Божественный огонь, меня жививший,
Который тысячи воспламенил;

Я говорю об Энеиде, бывшей
И матерью, и мамкою моей
И всё, что труд мой весит, мне внушившей.

За то, чтоб жить, когда среди людей
Был жив Вергилий, я бы рад в изгнание
Провести хоть солнце свыше должных дней».

Вергилий на меня взглянул в молчанье,
И вид его сказал: «Будь молчалив!»
Но ведь не всё возможно при желанье.

Улыбку и слезу родит порыв
Душевной страсти, трудно одолимый
Усиьем воли, если кто правдив.

Я не сдержал улыбки еле зримой;
Дух замолчал, чтоб мне в глаза взглянуть,
Где ярче виден помысел таимый.

«Да завершишь добром свой тяжкий путь! —
Сказал он мне. — Но что в себе хоронит
Твой смех, успевший только что мелькнуть?»

И вот меня две силы розно клонят:
Здесь я к молчанью, там я понужден
К ответу; я вздыхаю, и я понят

Учителем. «Я вижу — ты смущен.
Ответь ему, а то его тревожит
Неведение», — так мне промолвил он.

И я: «Моей улыбке ты, быть может,
Дивишься, древний дух. Так будь готов,
Что удивленье речь моя умножит.

Тот, кто ведет мой взор чредой кругов,
И есть Вергилий, мощи той основа,
С какой ты пел про смертных и богов.

К моей улыбке не было иного,
Поверь мне, повода, чем миг назад
О нем тобою сказанное слово».

Уже упав к его ногам, он рад
Их был обнять; но вождь мой, отстраняя:
«Оставь! Ты тень и видишь тень, мой брат».

«Смотри, как знойно,— молвил тот, вставая,—
Моя любовь меня к тебе влекла,
Когда, ничтожность нашу забывая,

Я тени принимаю за тела».

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Уже был ангел далеко за нами,
Тот ангел, что послал нас в круг шестой,
Еще рубец смахнув с меня крылами;

И тех, кто правды восхотел святой,
Назвал блаженными, и прозвучало
Лишь «sitiunt»¹ — и только — в речи той;

И я, чье тело снова легче стало,
Спешил наверх без всякого труда
Вослед теням, не медлившим нисколько,—

Когда Вергилий начал так: «Всегда
Огонь благой любви зажжет другую,
Блеснув хоть в виде робкого следа.

¹ «Жаждут» (лат.).

С тех пор, как в адский Лимб, где я тоскую,
К нам некогда спустился Ювенал,
Открывший мне твою любовь живую,

К тебе я сердцем благосклонней стал,
Чем можно быть, кого-либо не зная,
И короток мне путь средь этих скал.

Но объясни, как другу мне прощая,
Что смелость послабляет удила,
И впредь со мной, как с другом, рассуждая:

Как это у тебя в груди могла
Жить скупость рядом с мудростью, чья сила
Усердием умножена была?»

Такая речь улыбку пробудила
У Стация; потом он начал так:
«В твоих словах мне всё их лаской мило.

Поистине, нередко внешний знак
Приводит ложным видом в заблужденье,
Тогда как суть погружена во мрак.

В твоём вопросе выразилось мнение,
Что я был скуп; подумать так ты мог,
Узнав о том, где я терпел мученье.

Так знай, что я от скупости далек
Был даже слишком — и недаром бремя
Нес много тысяч лун за мой порок.

И не исторгни я дурное семя,
Внимая восклицанью твоему,
Как бы клеймящему земное племя:

«Заветный голод к золоту, к чему
Не направляешь ты сердца людские?» —
Я с дракой грузы двигал бы во тьму.

Поняв, что крылья чересчур большие
У слишком щедрых рук, и этот грех
В себе я осудил, и остальные.

Как много стриженных воскреснет, тех,
Кто, и живя и в смертный миг, не чает,
Что их вина не легче прочих всех!

И знай, что грех, который отражает
Наоборот какой-либо иной,
Свою с ним зелень вместе иссушает.

И если здесь я заодно с толпой,
Клянущей скупость, жаждал очищенья,
То как виновный встречною виной».

«Но ведь когда ты грозные сраженья
Двойной печали Иокасты пел,—
Сказал воспевший мирные селенья,—

То, как я там Клио¹ уразумел,
Тобой как будто вера не водила,
Та, без которой мало добрых дел.

Раз так, огонь какого же светила
Иль светоча тебя разомрачил,
Чтоб устремить за рыбарем ветрила?»

И тот: «Меня ты первый устремил
К Парнасу, пить пещерных струй прохладу,
И первый, после Бога, озарил.

Ты был, как тот, кто за собой лампаду
Несет в ночи и не себе дает,
Но вслед идущим помощь и отраду,

Когда сказал: «Век обновленья ждет:
Мир первых дней и правда — у порога,
И новый отрок близится с высот».

Ты дал мне петь, ты дал мне верить в Бога!
Но, чтоб все части сделались ясны,
Я свой набросок расцветчу немного.

Уже был мир до самой глубины
Проникнут правой верой, насажденной
Посланниками неземной страны;

¹ *Клио* — в ант. миф. одна из 9 муз, покровительница истории.

И так твой возглас, выше приведенный,
Созвучен был словам учителей,
Что к ним я стал ходить, как друг исконный.

Я видел в них таких святых людей,
Что в дни Домициановых гонений
Их слезы не бывали без моей.

Пока я жил под кровом смертной сени,
Я помогал им, и их строгий чин
Меня отторг от всех других учений.

И, не доведши греческих дружин,
В стихах, к фиванским рекам, я крестился,
Но утаил, что я христианин,

И показным язычеством прикрылся.
За этот грех там, где четвертый круг,
Четыре с лишним века я кружился.

Но ты, моим глазам раскрывший вдруг
Всё доброе, о чем мы говорили,
Скажи, пока нам вверх идти досуг,

Где старый наш Теренций, где Цецилий,
Где Варий, Плавт? Что знаешь ты про них:
Где обитают и осуждены ли?»

«Они, как Персий, я и ряд других,—
Ответил вождь мой,— там, где грек, вспоенный
Каменами щедрее остальных:

То — первый круг тюрьмы неозаренной,
Где речь нередко о горе звучит,
Семьей кормилиц наших населенной.

Там с нами Антифонт и Еврипид,
Там встретишь Симонида, Агафона
И многих, кто меж греков знаменит.

Там из тобой воспетых — Антигона,
Аргея, Деифила, и скорбям
Верна Исмена, как во время оно;

Там дочь Тиресия, Фетида там,
И Дейдамия с сестрами своими,
И Лангию открывшая царям»¹.

Уже беседа смолкла между ними,
И кругозор их был опять широк,
Не сжатый больше стенами крутыми,

И четверо служанок дня свой срок
Исполнило, и пятая вздымала,
Над дышлом стоя, кверху жгучий рог,

Когда мой вождь: «По мне бы, надлежало
Кнаруже правым двигаться плечом,
Как мы сходили с самого начала».

Здесь нам обычай стал поводом;
И так как был согласен дух высокий,
Мы этим и направились путем.

Они пошли вперед; я, одинокий,
Вослед; и слушал разговор певцов,
Дававший мне поэзии уроки.

Но вскоре сладостные звуки слов
Прервало древо, заградив дорогу,
Пленительное запахом плодов.

Как ель всё уже кверху понемногу,
Так это — книзу, так что взлезть нельзя
Хотя бы даже к нижнему отрогу.

С той стороны, где замкнута стезя,
Со скал спадала блещущая влага
И растекалась, по листьям скользя.

Поэты стали в расстоянье шага;
И некий голос, среди листвы незрим,
Воскликнул: «Вам запретно это благо!»

¹ Здесь названы героини поэм Стация. Выше упомянуты древнерим. комеднографы *Теренций*, *Цецилий* и *Плавт*, поэты *Варий* и *Персий*, древнегреч. трагики *Антифонт*, *Еврипид*, *Агафон* и лирик *Симонид*.

И вновь: «Мария не устаю своим,
За вас просящим, послужить желала,
А лишь тому, чтоб вышел пир честным.

У римлянок напитка не бывало
Иного, чем вода; и Даниил
Презрел еду, и мудрость в нем мужала.

Начальный век, как золото, светил,
И голод желудями услаждался,
И нектар жажде каждый ключ струил.

Акридами и медом насыщался
Среди пустынь креститель Иоанн;
А как велик и славен он остался,

Тому залог в Евангелии дан».

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Я устремлял глаза в густые чащи
Зеленых листьев, как иной ловец,
Из-за пичужек жизнь свою губящий,

Но тот, кто был мне больше, чем отец,
Промолвил: «Сын, пора идти; нам надо
Полезней тратить время под конец».

Мой взгляд — и шаг ничуть не позже взгляда —
Вслед мудрецам я обратил тотчас,
И мне в пути их речь была отрада.

Вдруг плач и пенье донеслись до нас,—
«*Labia mea, Domine*»¹,— рождая
И наслажденье, и печаль зараз.

«Отец, что это?» — молвил я, внимая.
И он: «Быть может, тени там идут,
Земного долга узел разрешая».

Как странники задумчиво бредут
И, на пути настигнув проходящих,
Оглянут незнакомцев и не ждут,

¹ «Уста мои, Господи» (лат.).

Так, обгоняя нас, не столь спешащих,
Оглядывала нас со стороны
Толпа теней, смиренных и молчащих.

Глаза их были впалы и темны,
Бескровны лица, и так скудно тело,
Что кости были с кожей сращены.

Не думаю, чтоб ссохся так всецело
Сам Эрисихтон¹, даже досягнув,
Голодный, до страшнейшего предела.

«Вот те,— подумал я, на них взглянув,—
Которые в Ерусалиме жили
В дни Мариам, вонзившей в сына клюв».

Как перстни без камней, глазницы были;
Кто ищет «ото» на лице людском,
Здесь букву М прочел бы без усилий².

Кто, если он с причиной незнаком,
Поверил бы, что тени чахнут тоже,
Прельщаемые влагой и плодом?

Я удивлялся, как, ни с чем не схоже,
Их страждущая плоть изморена,
Их худобе и шелудивой коже;

И вот из глуби черепа одна
В меня впилась глазами и вскричала:
«Откуда эта милость мне дана?»

Ее лица я не узнал сначала,
Но в голосе я сразу угадал
То, что в обличье навсегда пропало.

¹ Эрисихтон, в ант. миф., срубил дуб Цереры, за что богиня наслала на него такой неумолимый голод, что он начал есть собственное тело. Далее упомин.: Мариам — еврейка, которая в дни осады Иерусалима римлянами съела своего грудного младенца.

² Считалось, что в чертах человек. лица можно прочесть «Ното Деи» (человек Божий), причем глаза изображают два «О», а брови и нос — «М».

От этой искры ярко засиял
Знакомый образ, встав из тьмы бесследной,
И я черты Форезе¹ увидал.

«О, не гнушайся этой кожей бледной,—
Так он просил,— и струпную корой,
И этой плотью, мясом слишком бедной!

Скажи мне правду о себе, открой,
Кто эти души, два твоих собрата;
Не откажись поговорить со мной!»

«Твой мертвый лик оплакал я когда-то,—
Сказал я,— но сейчас он так изрыт,
Что сердце вновь не меньшей болью сжато.

Молю, скажи мне, что вас так мертвит;
Я так дивлюсь, что мне не до ответа;
Кто полн другим, тот плохо говорит».

И он: «По воле вечного совета
То древо, позади нас, в брызгах вод,
Томительною силою одето.

Поющий здесь и плачущий народ,
За то, что угождал чрезмерно чреву,
В алчбе и в жажде к святости идет.

Охоту есть и пить внушают зеву
Пахучие плоды и водопад,
Который растекается по древу.

И так не раз, пока они кружат,
Свое терзанье обновляют тени,
Или верней — отраду из отрад:

Ведь та же воля шлет их к древной сени,
Что слала и Христа воззвать «Или!»²,
Когда спасла нас кровь его мучений».

¹ *Форезе* — флорентиец, приятель Данте и его жены Джеммы Донати.

² «Или!» — «Боже мой!» (*др.-евр.*)

И я ему: «С тех пор, как плен земли
Твоя душа на лучший мир сменила,
Еще пять лет, Форезе, не прошли.

И если раньше исчерпалась сила
В тебе грешить, чем тяжкий твой порок
Благая боль пред Богом облегчила,

То как же ты сюда подняться мог?
Я ждал тебя застать на нижней грани,
Там, где выплачивают срок за срок».

И он мне: «Сладкую полынь страданий
Испить так рано был я приведен
Моею Неллой. Скорбь ее рыданий,

Ее мольбы и сокрушенный стон
Меня оттуда извлекли до срока,
Минуя все круги, на этот склон.

Тем драгоценней для Господня ока
Моя вдовица, милая жена,
Что в доблести всё больше одинока;

Сардинская Барбаджа — та скромна
И женской честью может похвалиться
Пред той Барбаджей, где живет она.

О милый брат, к чему распространяться?
Уже я вижу тот грядущий час,
Которого недолго дожидаться,

Когда с амвона огласят указ,
Чтоб воспретить бесстыжим флорентийкам
Разгуливать с сосцами напоказ.

Каким дикаркам или сарацинкам
Духовный или светский нужен бич,
Чтоб с голой грудью не ходить по рынкам?

Когда б могли беспутницы постичь,
Что быстрый бег небес припас их краю,
Уже им рты раскрыл бы скорбный клич;

Беда,— когда я верно предрекаю,—
Их ждет скорей, чем станет бородач
Иной, кто спит сейчас под «баю-баю».

Но не таись передо мною, брат!
Не только я, но все, кто с нами рядом,
Глядят туда, где свет тобой разъят».

Я молвил: «Если ты окинешь взглядом,
Как ты со мной и я с тобой живал,
Воспоминанье будет горьким ядом.

От жизни той меня мой вождь воззвал,
На днях, когда над нами округленной
Была (и я на солнце указал)

Сестра того. Меня он в тьме бездонной
Провел среди истых мертвых, и за ним
Я движусь, истой плотью облеченный.

Так я поднялся, им руководим,
Всю эту гору огибая кружно,
Где правят тех, кто в мире был кривым.

Он говорит, что мы дойдем содружно
До высоты, где Беатриче ждет;
А там ему меня покинуть нужно.

Так говорит Вергилий, этот вот
(Я указал); другой — та тень святая,
Которой ради дрогнул ваш оплот,

Из этих царств ее освобождая».

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Ход не мешал речам, и речи — ходу;
И мы вперед спешили, как спешит
Корабль под ветром в добрую погоду.

А тени, дважды мертвые на вид,
Провалы глаз уставив на живого,
Являли ясно, как он их дивит.

Я, продолжая начатое слово,
Сказал: «Она, быть может, к вышине
Идет медлительней из-за другого.

Но где Пиккарда,— скажешь ли ты мне?
А здесь — кого бы вспомнить полагалось
Из тех, кто мне дивится в тишине?»

«Моя сестра, чьей красоте равнялась
Ее лишь благодать, радостным венцом
На высотах Олимпа увенчалась».

Так он сказал сначала; и потом:
«Ничье прозвание здесь не под запретом;
Ведь каждый облик выдобен постом.

Вот Бонаджунта Луккский¹,— и при этом
Он пальцем указал,— а тот, щедрей,
Чем прочие, расшитый темным цветом,

Святую церковь звал женой своей;
Он был из Тура; искупает гладом
Большенских, сваренных в вине, угрей».

Еще он назвал многих, шедших рядом;
И не был недоволен ни один:
Я никого не видел с мрачным взглядом.

Там грыз впустую пильский Убальдин
И Бонифаций, посохом Равенны
Премногих пасший длинный ряд годин.

Там был мессер Маркезе; в век свой бранный
Он мог в Форли, не иссыхая, пить,
Но жаждой мучился ежемгновенной.

Как тот, кто смотрит, чтобы оценить,
Я, посмотрев, избрал поэта Лукки,
Который явно жаждал говорить.

¹ *Бонаджунта* — поэт сицил. школы. Далее упомин. др. поэты того времени: *Гвиттон* и *Нотарий* — Гвиттоне д'Ареццо и Якопо да Латино, а также «супруг церкви» папа Мартин IV, архиепископ *Бонифаций* и др. знатные люди.

Сквозь шепот, имя словно бы Джентукки
Я чуял там, где сам он чуял зной
Ниспосланной ему язвящей муки.

«Дух, если хочешь говорить со мной,—
Сказал я,— сделай так, чтоб речь звучала
И нам обоим принесла покой».

«Есть женщина, еще без покрывала,—
Сказал он.— С ней отрадным ты найдешь
Мой город, хоть его бранят немало.

Ты это предсказанье унесешь
И, если понял шепот мой превратно,
Потом увидишь, что оно не ложь.

Но ты ли тот, кто миру спел так внятно
Песнь, чье начало я произношу:
«Вы, жены, те, кому любовь понятна?»

И я: «Когда любовью я дышу,
То я внимателен; ей только надо
Мне подсказать слова, и я пишу».

И он: «Я вижу, в чем для нас преграда,
Чем я, Гвиттон, Нотарий далеки
От нового пленительного лада.

Я вижу, как послушно на листки
Наносят ваши перья смысл внушенный,
Что нам, конечно, было не с руки.

Вот всё, на взгляд хоть самый изошренный,
Чем разнятся и тот и этот лад».
И он умолк, казалось — утоленный.

Как в воздухе сгрудившийся отряд
Проворных птиц, зимующих вдоль Нила,
Порой спешит, вытягиваясь в ряд,

Так вся толпа вдруг лица отвратила
И быстрым шагом дальше понеслась,
От худобы и воли легкокрыла.

И словно тот, кто, бегом утомясь,
Из спутников рад пропустить любого,
Чтоб отдышаться, медленно пройдясь,

Так здесь, отстав от сонмища святого,
Форезе шел со мной, нетороплив,
И молвил: «Скоро ль встретимся мы снова?»

И я: «Не знаю, сколько буду жив;
Пусть даже близок берег, но желанье
К нему летит, меня опередив;

Затем что край, мне данный в обитанье,
Что день — скуднее доблестью одет
И скорбное предвидит увяданье».

И он: «Иди. Зачинщика всех бед¹
Звериный хвост,— мне это въяве зримо,—
Влачит к ущелью, где пощады нет.

Зверь мчится всё быстрее, неудержимо,
И тот уже растерзан, и на срам
Оставлен труп, простертый недвижимо.

Не много раз вращаться тем кругам
(Он вверх взглянул), чтобы ты понял ясно
То, что ясней не вымолвлю я сам.

Теперь простимся; время здесь всевластно,
А, идя равной поступью с тобой,
Я принужден терять его напрасно».

Как, отделясь от едущих гурьбой,
Наездник мчит коня насколько можно,
Чтоб, ради славы, первым встретить бой,

Так, торопясь, он зашагал тревожно;
И вновь со мной остались эти два,
Чье имя в мире было столь вельможно.

Уже его я различал едва,
И он не больше был доступен взгляду,
Чем были разуму его слова,

¹ Речь идет о Корсо Донати, брате Форезе, изменнике и убийце.

Когда живую, всю в плодах, громаду
Другого дерева я увидел вдруг,
Крутого склона обогнув преграду.

Я видел — люди, вскинув кисти рук,
Взывали к листьям, веющим широко,
Как просит детвора, теснясь вокруг,

А окруженный не дает до срока,
Но, чтобы зуд желания возрос,
Приманку держит на виду высоко.

Потом ушли, как пробудясь от грез.
Мы подступили, приближаясь слева,
К стволу, не внемлющему просьб и слез.

«Идите мимо! Это отпрыск дерева,
Которое растет на высотах
И от которого вкусила Ева».

Так чей-то голос говорил в листьях;
И мы, теснясь, запретные пределы
Вдоль кручи обогнули второпях.

«Припомните,— он говорил,— Нефелы
Проклятый род, когда он, сыт и пьян,
На бой с Тезеем ринулся, двутелый;

И как вольготно пил еврейский стан,
За что и был отвергнут Гедеоном,
Когда с холмов он шел на Мадриан».

Так, стороною, под нависшим склоном,
Мы шли и слушали про грех обжор,
Сопровожденный горестным уроном.

Потом, все трое, вышли на простор
И так прошли в раздумье, молчаливы,
За тысячу шагов, потупя взор.

«О чем бы так задуматься могли вы?» —
Нежданный голос громко прозвучал,
Так что я вздрогнул, словно зверь пугливый.

Я поднял взгляд; вовеки не блистал
Настолько ослепительно и ало
В горниле сплав стекла или металл,

Как тот блистал, чье слово нас встречало:
«Чтобы подняться на гору, здесь вход;
Идущим к миру — здесь идти пристало».

Мой взор затмился, встретив облик тот;
И я пошел вослед за мудрецами,
Как человек, когда на слух идет.

И как перед рассветными лучами
Благоухает майский ветерок,
Травую напоенный и цветами,

Так легкий ветер мне чело облек,
И я почуял перьев мановенье,
Распространявших амврозийный ток,

И услышал: «Блажен, чье озаренье
Столь благодатно, что ему чужда
Услада уст и вкуса вождельенье,

Чтоб не алкать сверх меры никогда».

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Час понуждал быстрее идти по склону,
Затем что солнцем полуденный круг
Был сдан Тельцу, а ночью — Скорпиону;

И словно тот, кто не глядит вокруг,
Но направляет к цели шаг упорный,
Когда ему помедлить недосуг,

Мы, друг за другом, шли тесниной горной,
Где ступеней стесненная гряда
Была как раз для одного просторной.

Как юный аист крылья иногда
Поднимет к взлету и опустит снова,
Не смея оторваться от гнезда,

Так и во мне, уже вспылать готова,
Тотчас же угасала речь моя,
И мой вопрос не претворился в слово.

Отец мой, видя, как колеблюсь я,
Сказал мне на ходу: «Стреляй же смело,
Раз ты свой лук напруг до острия!»

Раскрыв уста уже не оробело:
«Как можно изнуряться,— я сказал,—
Там, где питать не требуется тело?»

«Припомни то, как Мелеагр¹ сгорал,
Когда подверглась головня сожженью,
И минет горечь,— он мне отвечал.—

И, рассудив, как всякому движенью
Движеньем вторят ваши зеркала,
Ты жесткое принудишь к размягчению.

Но, чтобы мысль твоя покой нашла,
Вот Стаций здесь; и я к нему взываю,
Чтобы твоя болячка зажила».

«Прости, что вечный строй я излагаю
В твоём присутствии,— сказал поэт.—
Но отказать тебе я не дерзаю».

Потом он начал: «Если мой ответ
Ты примешь в разуменье, сын мой милый,
То сказанному «как» прольется свет.

Беспримесная кровь, которой жилы
Вобрать не могут в жаждущую пасть,
Как лишнее, чего доест нет силы,

Приемлет в сердце творческую власть
Образовать собой всё тело ваше,
Как в жилах кровь творит любую часть.

¹ Мелеагр — в ант. миф, сын калидон. царя, которому парки предсказали жить, пока не сгорит брошенное ими в огонь полено, но его мать спрятала полено; когда же Мелеагр убил ее братьев, она бросила его в огонь, и Мелеагр умер.

Очистясь вновь и в то сойдя, что краше
Не называть, впоследствии она
Сливается с чужой в природной чаше.

Здесь та и эта соединена,
Та — покоряясь, эта — созидая,
Затем что в высшем месте рождена.

Смешавшись с той и к делу приступая,
Она ее сгущает, сгусток свой,
Раз созданный, помалу оживляя.

Зиждительная сила, став душой,
Лишь тем отличной от души растенья,
Что та дошла, а этой — путь большой,

Усваивает чувства и движенья,
Как гриб морской, и нужные дает
Зачатым свойствам средства выраженья.

Так ширится, мой сын, и так растет
То, что в родящем сердце пребывало,
Где естество всю плоть предсоздает.

Но уловить, как тварь младенцем стала,
Не так легко, и здесь ты видишь тьму;
Мудрейшего, чем ты, она сбивала,

И он учил, что, судя по всему,
Душа с возможным разумом не слита,
Затем что нет вместилища ему.

Но если правде грудь твоя открыта,
Знай, что, едва зародыш завершен
И мозговая ткань вполне развита,

Прадвижитель, в веселии склонен,
Прекрасный труд природы созерцает,
И новый дух в него вдыхает он,

Который всё, что там росло, вбирает;
И вот душа, слиянная в одно,
Живет, и чувствует, и постигает.

И если то, что я сказал, темно,
Взгляни, как в соке, что из лоз сочится,
Жар солнца превращается в вино.

Когда ж у Лахезис весь лен ссучится,
Душа спешит из тела прочь, но в ней
И бренное, и вечное таится.

Безмолвствуют все свойства прежних дней;
Но память, разум, воля — те намного
В деянии становятся острее.

Она летит, не медля у порога,
Чудесно к одному из берегов;
Ей только здесь ясна ее дорога.

Чуть дух очерчен местом, вновь готов
Поток творящей силы излучаться,
Как прежде он питал плотской покров.

Как воздух, если в нем пары клубятся
И чуждый луч их мгла в себе дробит,
Различно начинает расцветаться,

Так ближний воздух принимает вид,
В какой его, воздействуя, приводит
Душа, которая внутри стоит.

И как сиянье повсеместно ходит
За пламенем и неразрывно с ним,
Так новый облик вслед за духом бродит

И, так как тот через него стал зрим,
Зовется тенью; ею создаются
Орудья чувствам — зренью и другим.

У нас владеют речью и смеются,
Нам свойственны и плач, и вздох, и стон,
Как здесь они, ты слышал, раздаются.

И всё, чем дух взволнован и смущен,
Сквозит в обличье тени; оттого-то
И был ты нашим видом удивлен».

Последнего достигнув поворота,
Мы обратились к правой стороне,
И нас другая заняла забота.

Здесь горный склон — в бушующем огне,
А из обрыва ветер бьет, взлетая,
И пригибает пламя вновь к стене;

Нам приходилось двигаться вдоль края
По одному; так шел я, здесь — огня,
А там — паденья робко избегая.

«Тут надо, — вождь остерегал меня, —
Глаза держать в поводьях неустанно,
Себя всё время от беды храня».

«*Summae Deus clementiae*»¹, — неожиданно
Из пламени напев донесся к нам;
Мне было всё же и взглянуть желанно,

И я увидел духов, шедших там;
И то их путь, то вновь каймы полоска
Мой взор распределяли пополам.

Чуть гимн умолк, как «*Virum non cognosco!*» —
Раздался крик. И снова песнь текла,
Подобием глухого отголоска.

И снова крик: «Диана не могла
В своем лесу терпеть позор Гелики²,
Вкусившей яд Венеры». И была

Вновь песнь; и вновь превозносили клики
Жен и мужей, чей брак для многих впредь
Явил пример, безгрешностью великий.

Так, вероятно, восклицать и петь
Им в том огне всё время полагалось;
Таков бальзам их, такова их снесь,

Чтоб язва наконец зарубцевалась.

¹ «Бог высшей милости» (*лат.*) — молитва о ниспослании душевной чистоты. И далее: «Мужа не знаю!» — слова девы Марии.

² *Гелика* — в ант. миф. нимфа, обещенная Юпитером и превращенная ревнивой Юноной в медведицу; Юпитер вознес ее вместе с сыном на небо в виде созвездий.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Пока мы шли, друг другу вслед, по краю
И добрый вождь твердил не раз еще:
«Будь осторожен, я предупреждаю!» —

Мне солнце било в правое плечо
И целый запад в белый превращало
Из синего, сияя горячо;

И где ложилась тень моя, там ало
Казалось пламя; и толпа была,
В нем проходя, удивлена немало.

Речь между ними обо мне зашла,
И тень, я слышал, тени говорила:
«Не таковы бесплотные тела».

Иные подались, сколь можно было,
Ко мне, стараясь, как являл их вид,
Ступать не там, где их бы не палило.

«О ты, кому почтительность велит,
Должно быть, сдерживать поспешность шага,
Ответь тому, кто жаждет и горит!

Не только мне ответ твой будет благо:
Он этим всем нужнее, чем нужна
Индийцу или эфиопу влага.

Скажи нам, почему ты — как стена
Для солнца, словно ты еще не встретил
Сетей кончины». Так из душ одна

Мне говорила; я бы ей ответил
Без промедленья, но как раз тогда
Мой взгляд иное зрелище заметил.

Навстречу этой новая чреда
Шла по пути, объятому пыланьем,
И я помедлил, чтоб взглянуть туда.

Вдруг вижу — тени, здесь и там, лобзаньем
Спешат друг к другу на ходу прильнуть
И кратким утешаются свиданьем.

Так муравьи, столкнувшись где-нибудь,
Потрутся рыльцами, чтобы дознаться,
Быть может, про добычу и про путь.

Но только миг объятья дружбы длется,
И с первым шагом на пути своем
Одни других перекричать стремятся,—

Те, новые: «Гоморра и Содом!»¹,
А эти: «В телку лезет Пасифая,
Желая похоть утолить с бычком!»

Как если б журавлей летела стая —
Одна к пескам, другая на Рифей,
Та — стужи, эта — солнца избегая,

Так расстаются две чреды теней,
Чтоб снова петь в слезах обычным ладом
И восклицать про то, что им сродней.

И двинулись опять со мною рядом
Те, что меня просили дать ответ,
Готовность слушать выражая взглядом.

Я, видя вновь, что им покоя нет,
Сказал: «О души, к свету мирной славы
Обретшие ведущий верно след,

Мой прах, незрелый или величавый,
Не там остался: здесь я во плоти,
Со мной и кровь ее, и все суставы.

Я вверх иду, чтоб зренье обрести:
Там есть жена, чья милость мне дарует
Сквозь ваши страны смертное нести.

Но,— и скорее да восторжествует
Желанье ваше, чтоб вас принял храм
Той высшей тверди, где любовь ликует,—

¹ *Гоморра и Содом* — по библ. легенде города, спаленные за разврат их жителей.

Скажите мне, а я письму предам,
Кто вы и эти люди кто такие,
Которые от вас уходят там».

Так смотрит, губы растворив, немые
От изумленья, дикий житель гор,
Когда он в город попадет впервые,

Как эти на меня стремили взор.
Едва с них спало бремя удивленья,—
Высокий дух дает ему отпор,—

«Блажен, кто, наши посетив селенья,—
Вновь начал тот, кто прежде говорил,—
Для лучшей смерти черплет наставленья!

Народ, идущий с нами врозь, грешил
Тем самым, чем когда-то Цезарь клики
«Царица» в день триумфа заслужил.

Поэтому «Содом» гласят их крики,
Как ты слышал, и совесть их язвит,
И в помощь пламени их стыд великий.

Наш грех, напротив, был гермафродит;
Но мы забыли о людском законе,
Спеша насытить страсть, как скот спешит,

И потому, сходясь на этом склоне,
Себе в позор, мы поминаем ту,
Что скотенела, лежа в скотском лоне.

Ты нашей казни видишь правоту;
Назвать всех порознь мы бы не успели,
Да я на память и не перечту.

Что до меня, я — Гвидо Гвиницелли¹;
Уже свой грех я начал искупать,
Как те, что рано сердцем восскорбели».

¹ *Гвидо Гвиницелли* — поэт из Болоньи. Далее упоминает: *Лимузинец* — прованс. поэт де Борнель.

Как сыновья, увидевшие мать
Во времена Ликурговой печали,
Таков был я,— не смея показать,—

При имени того, кого считали
Отцом и я, и лучшие меня,
Когда любовь так сладко воспевали.

И глух, и нем, и мысль в тиши храня,
Я долго шел, в лицо его взирая,
Но подступить не мог из-за огня.

Насытя взгляд, я молвил, что любая
Пред ним заслуга мне милей всего,
Словами клятвы в этом заверяя.

И он мне: «От признанья твоего
Я сохранил столь светлый след, что Лета
Бессильна смыть иль омрачить его.

Но если прямодушна клятва эта,
Скажи мне: чем я для тебя так мил,
Что речь твоя и взор полны привета?»

«Стихами вашими,— ответ мой был.—
Пока продлится то, что ныне ново,
Нетленна будет прелесть их чернил».

«Брат,— молвил он,— вот тот (и на другого
Он пальцем указал среди огней)
Получше был ковач родного слова.

В стихах любви и в сказах он сильнее
Всех прочих; для одних глупцов погудка,
Что Лимузинец перед ним славней.

У них к молве, не к правде ухо чутко,
И мнением прочих каждый убежден,
Не слушая искусства и рассудка.

Таков для многих старых был Гвиттон,
Из уст в уста единственно прославлен,
Покуда не был многими сражен.

Но раз тебе простор столь дивный явлен,
Что ты волён к обителю взойти,
К той, где Христос игуменом поставлен,

Там за меня из «Отче наш» прочти
Всё то, что нужно здешнему народу,
Который в грех уже нельзя ввести».

Затем,— быть может, чтобы дать свободу
Другим идущим,— он исчез в огне,
Подобно рыбе, уходящей в воду.

Я подошел к указанному мне,
Сказав, что вряд ли я чье имя в мире
Так приютил бы в тайной глубине.

Он начал так, шагая в знойном вире:
«Tan m'abellis vostre cortes deman,
Qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
Consiros vei la passada folor,
E vei jausen lo joi qu'esper, denan.

Ara vos prec, per aquella valor
Que vos guida al som de l'escalina,
Sovenha vos a temps de ma dalor!»¹

И скрылся там, где скверну жжет пучина.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Так, чтоб ударить первыми лучами
В те страны, где его творец угас,
Меж тем как Эбро льется под Весами,

¹ «Столь дорог мне учтивый ваш привет,
Что сердце вам я рад открыть всех шире.

Здесь плачет и поет, огнем одет,
Арнольд, который видит в прошлом тьму,
Но впереди, ликуя, видит свет.

Он просит вас, затем что одному
Вам невозбранна горная вершина,
Не забывать, как тягостно ему!» (прованс.)

А волны в Ганге жжет полдневный час,
Стояло солнце; меркнул день, сгорая,
Когда Господень ангел встретил нас.

«Beati mundo corde!»¹ воспевая
Звучней, чем песни на земле звучны,
Он высился вне пламени, у края.

«Святые души, вы пройти должны
Укус огня; идите в жгучем зное
И слушайте напев с той стороны!»

Он подал нам напутствие такое,
И, слыша эту речь, я стал как тот,
Кто будет в недро погружен земное.

Я, руки сжав и наклонясь вперед,
Смотрел в огонь, и в памяти ожили
Тела людей, которых пламя жжет.

Тогда ко мне поэты обратили
Свой взгляд. «Мой сын, переступи порог:
Здесь мука, но не смерть,— сказал Вергилий.—

Ты вспомни, вспомни!.. Если я помог
Тебе спуститься вглубь на Герионе,
Мне ль не помочь, когда к нам ближе Бог?

И знай, что если б в этом жгучем лоне
Ты хоть тысячелетие провел,
Ты не был бы и на волос в уроне.

И если б ты проверить предпочел,
Что я не обманул тебя нисколько,
Стань у огня и поднеси подол.

Отбрось, отбрось всё, что твой дух сковало!
Взгляни — и шествуй смелою стопой!»
А я не шел, как совесть ни вzywала.

При виде черствой косности такой
Он, чуть смущенный, молвил: «Сын, ведь это
Стена меж Беатриче и тобой»,

¹ «Блаженны чистые сердцем!» (лат.)

Как очи, угасавшие для света,
На имя Фисбы приоткрыл Пирам ¹
Под тутом, ставшим кровавого цвета,

Так, умягчен и больше не упрям,
Я взор к нему направил молчаливый,
Услышав имя, милое мечтам.

А он, кивнув, сказал: «Ну как, ленивый?
Чего мы ждем?» И улыбнулся мне,
Как мальчику, прельстившемуся сливой.

И он передо мной исчез в огне,
Прося, чтоб Стаций третьим шел, донные
Деливший нас в пути по крутизне.

Вступив, я был бы рад остыть в пучине
Кипящего стекла, настолько злей
Был непомерный зной посередине.

Мой добрый вождь, чтобы я шел смелей,
Вел речь о Беатриче, повторяя:
«Я словно вижу взор ее очей».

Нас голос вел, сквозь пламя призывая;
И, двигаясь туда, где он звенел,
Мы вышли там, где есть тропа крутая.

Он посреди такого света шел
«Venite, benedicti Patris mei!» ²,
Что яркости мой взгляд не одолел.

«Уходит солнце, скоро ночь. Быстрее
Идите в гору,— он потом сказал,—
Пока закатный край не стал чернее».

Тропа шла прямо вверх среди двух скал
И так, что свет последний излучений
Я пред собой у солнца отнимал;

¹ В ант. миф. ювоша *Пирам*, думая, что его возлюбленную *Фисбу* растерзала львица, заколол себя мечом; его кровь обогрила тутовое дерево.

² «Придите, благословенные Отца моего!» (лат.)

Преодолев немногие ступени,
Мы ощутили солнечный заход
Там, сзади нас, по угасанью тени.

И прежде чем огромный небосвод
Так потемнел, что всё в нем стало схоже
И щедрой ночи наступил черед,

Для нас ступени превратились в ложе,
Затем что горный мрак от нас унес
И мощь к подъему, и желанье тоже.

Как, мямля жвачку, тихнет стадо коз,
Которое, пока не стало сыто,
Спешило вскачь с утеса на утес,

И ждет в тени, пока жара разлита,
А пастырь, опершись на посошок,
Стоит вблизи, чтоб им была защита,

И как овчар, от хижины далек,
С гуртом своим проводит ночь в покое,
Следя, чтоб зверь добычу не увлек;

Так в эту пору были мы все трое,
Я — за козу, они — за сторожей,
Замкнутые в ущелие крутое.

Простор был скрыт громадами камней,
Но над тесниной звезды мне сияли,
Светлее, чем обычно, и крупней.

Так, полон дум и глядя в эти дали,
Я был охвачен сном; а часто сон
Вещает то, о чем и не гадали.

Должно быть, в час, когда на горный склон
С востока Цитерея засияла,
Чей свет как бы любовью напоен,

Мне снилось — на лугу цветы сбирала
Прекрасная и юная жена,
И так она, собирая, напевала:

«Чтоб всякий ведал, как я названа,
Я — Лия¹, и, прекрасными руками
Плетя венки, я здесь брожу одна.

Для зеркала я уберусь цветами;
Сестра моя Рахиль с его стекла
Не сводит глаз и недвижима днями.

Ей красота ее очей мила,
Как мне — сплетенный мной убор цветочный;
Ей любо созерцанье, мне — дела.

Но вот уже перед зарей восточной,
Которая скитальцам тем милей,
Чем ближе к дому их привал полночный,

Везде бежала тьма, и сон мой с ней;
Тогда я встал с одра отдохновенья,
Увидя вставшими учителей.

«Тот сладкий плод, который поколенья
Тревожно ищут по стольким ветвям,
Сегодня утолит твои томленья».

Со мною говоря, к таким словам
Прибег Вергилий; вряд ли чья щедрота
Была безмерней по своим дарам.

За мигом миг во мне росла охота
Быть наверху, и словно перья крыл
Я с каждым шагом ширил для полета.

Когда под нами весь уклон проплыл
И мы достигли высоты конечной,
Ко мне глаза Вергилий устремил,

Сказав: «И временный огонь, и вечный
Ты видел, сын, и ты достиг земли,
Где смутен взгляд мой, прежде безупречный.

¹ Лия — символ жизни деятельной, прообраз Матильды, которую Данте встретит в Земном Раю; Рахиль — символ жизни созерцательной, прообраз Беатриче.

Тебя мой ум и знания вели;
Теперь своим руководись советом:
Все кручи, все теснины мы прошли.

Вот солнце лоб твой озаряет светом;
Вот лес, цветы и травяной ковер,
Самовозросшие в пространстве этом.

Пока не снизошел счастливый взор
Той, что в слезах тогда пришла за мною,
Сиди, броди — тебе во всем простор.

Отныне уст я больше не открою;
Свободен, прям и здрав твой дух; во всем
Судья ты сам; я над самим тобою

Тебя венчаю митрой и венцом».

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Великой жажде обойти дозором
Господень лес, тенистый и живой,
Где новый день смягчался перед взором,

Я медленно от кручи круговой
Пошел нагорьем, и земля дышала
Со всех сторон цветами и травой.

Ласкающее веянье, нимало
Не изменяясь, мне мое чело
Как будто нежным ветром обдавало

И трепетную сень вершин гнело
В ту сторону, куда гора святая
Бросает тень, как только рассвело,—

Но все же не настолько их сгибая,
Чтобы умолкли птички, оробев
И все свои искусства прерывая:

Они, ликуя посреди деревьев,
Встречали песнью веянье востока
В листве, гудевшей их стихам припев,

Тот самый, что в ветвях растет широко,
Над взморьем Кьясса наполняя бор,
Когда Эол¹ освободит Сирокко.

Я между тем так далеко простер
Мой путь сквозь древний лес, что понемногу
Со всех сторон замкнулся кругозор.

И вдруг поток мне преградил дорогу,
Который мелким трепетом волны
Клонил налево травы по отлогу.

Чистейшие из вод земной страны
Наполнены как будто мутью сорной
Пред этою, сквозной до глубины,

Хотя она струится черной-черной
Под вековечной тенью, для лучей
И солнечных, и лунных необорной.

Остановясь, я перешел ручей
Глазами, чтобы видеть, как растенья
Разнообразны в свежести своей.

И вот передо мной, как те явленья,
Когда нежданно в нас устранена
Любая дума силой удивленья,

Явилась женщина, и шла одна,
И пела, отбирая цвет от цвета,
Которых там пестрела пелена.

«О женщина, чья красота согрета
Лучом любви, коль внешний вид не ложь,
Но сердца достоверная примета,—

Быть может, ты поближе подойдешь,—
Сказал я ей,— и станешь над стремниной,
Чтоб я слышать мог, что ты поешь?

¹ Эол — царь ветров, держащий их скованными в пещере.

Ты кажешься мне юной Прозерпиной ¹,
Когда расстаться близился черед
Церере — с ней, ей — с вешнею долиной».

Как, чтобы в пляске сделать поворот,
Она, скользя сомкнутыми стопами
И мелким шагом двигаясь вперед,

Меж алыми и желтыми цветами
К моей оборотилась стороне
С девически склоненными глазами;

И мой призыв был утолен вполне,
Когда она так близко подступила,
Что смысл напева долетал ко мне.

Придя туда, где побережье было
Уже омыто дивною рекой,
Открытый взор она мне подарила.

Едва ли мог струиться блеск такой
Из-под ресниц Венеры, уязвленной
Негаданно сыновнею рукой ².

Среди травы, волнами орошенной,
Она, смеясь, готовила венок,
Без семени на высоте рожденный.

На три шага нас разделял поток;
Но Геллеспонт, где Ксеркс познал невзгоду,
Людской гордыне навсегда урок,

Леандру был милее в непогоду,
Когда он плыл из Абидоса в Сест,
Чем мне — вот этот, не разъявший воду.

¹ *Прозерпина* — в ант. миф. дочь Юпитера и Цереры, которую бог преисподней Плутон (Аид) похитил в тот миг, когда она собирала цветы.

² В ант. миф. богиня любви *Венера* воспылала любовью к Адонису, когда ее сын Купидон нечаянно задел ей грудь стрелой. Далее упоминается: *Ксеркс*, который, наведя мосты через *Геллеспонт*, вторгся в Грецию (480 г. до н. э.), а потерпев поражение, спасся бегством в рыбацкой лодке, и *Леандр* — герой греч. легенды, переплывавший по ночам пролив для свиданий со своей возлюбленной.

«Вы внове здесь, мой смех средь этих мест,
Где людям был прият от всех несчастий,—
Так начала она, взглянув окрест,—

Мог удивить вас и смутить отчасти;
Но ум ваш озарится светом дня,
Вникая в псалмопенье «Delectasti»¹.

Ты, впереди, который звал меня,
Спроси, что хочешь; я на все готова
Подать ответ, все точно изъясня».

«Вода и шум лесной,— сказал я снова,—
Колеблют то, что моему уму
Внушило слышанное прежде слово».

На что она: «Сомненью твоему
Я их причину до конца раскрою
И сжавшую тебя рассею тьму.

Творец всех благ, довольный лишь собою,
Ввел человека добрым, для добра,
Сюда, в преддверье к вечному покою.

Виной людей пресеклась та пора,
И превратились в боль и в плач по старом
Безгрешный смех и сладкая игра.

Чтоб смуты, порождаемые паром,
Который от воды и от земли
Идет, по мере силы, вслед за жаром,

Тревожить человека не могли,
Гора вздыбилась так, что их не знает
Над уровнем ворот, где вы вошли.

Но так как с первой твердью круг свершает
Весь воздух, если воздуху вразрез
Какой-либо заслон не возникает,

То здесь, в чистой высоте небес,
Его круговорот деревья клонит
И наполняет шумом частый лес.

¹ «Ты возвеселил меня, Господи...» (лат.)

Растение, которое он тронет,
Ему вверяет долю сил своих,
И он, кружа, ее вдали уронит;

Так в дальних землях, если свойства их
Иль их небес пригодны, возникая,
Восходит много отпрысков живых.

И там бы не дивились, это зная,
Тому, что иногда ростки растут,
Без видимого семени вставая.

И знай про этот дивный лес, что тут
Земля богата всяческою силой
И есть плоды, которых там не рвут.

И этот вот поток рожден не жилой,
В которой охладелый пар скоплен
И вдали течет, то буйный, то унылый;

Его источник прочен и силен
И черплет от Господних изволений
Всё, что он льет, открытый с двух сторон.

Струясь сюда — он память согрешений
Снимает у людей; струясь туда —
Дарует память всех благих свершений.

Здесь — Лета; там — Эвноя¹; но всегда
И здесь, и там сперва отведать надо,
Чтоб оказалась действенной вода.

В ее вкушенье — высшая услада.
Хоть, может быть, ты жажду утолил
Услышанным, но я была бы рада,

Чтоб ты в подарок вывод получил;
Тебе он не обещан, но едва ли
От этого он станет меньше мил.

Те, что в стихах когда-то воспевали
Былых людей и золотой их век,
Быть может, здесь в парнасских снах витали:

¹ Поток, текущий в Земном Раю, разделяется: влево струится *Лета* (греч.— забвение), истребляющая память о грехах, вправо — *Эвноя* (добрая память), воскрешающая воспоминания о добрых делах.

Здесь был невинен первый человек,
Здесь вечный май, в плодах, как поздним летом,
И нектар — это воды здешних рек».

Я обратил лицо к моим поэтам
И здесь улыбку их упомяну,
Мелькнувшую при утверждении этом;

Потом взглянул на дивную жену.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Как бы любовной негою объята,
Окончив речь, она запела так:
«Beati, quorum tecta sunt peccata!»¹

Как нимфы направляли легкий шаг,
Совсем одни, сквозь тень лесов, желая:
Та — видеть солнце, та — уйти во мрак,—

Она пошла вверх по реке, ступая
Вдоль берега; я — также, к ней плечом
И поступь с мелкой поступью ровняя.

Мы, ста шагов не насчитав вдвоем,
Дошли туда, где русло загибалось,
И я к востоку повернул лицом.

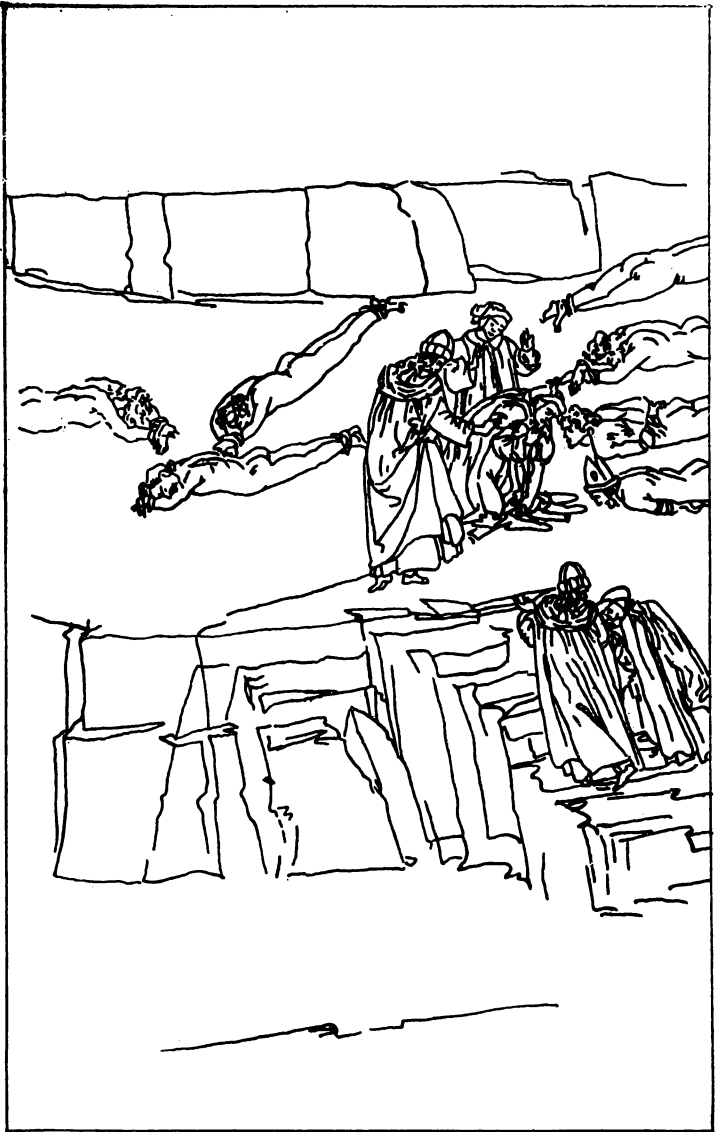
Здесь мы пройти успели столь же мало,
Когда она, всем телом обратясь:
«Мой брат, смотри и слушай!» — мне сказала.

И вдруг лесная глубина зажглась
Блистаньем неожиданного света,
Как молнией внезапно озарясь;

Но молния, сверкнув, исчезнет где-то,
А этот свет, возникнув, возрастал,
Так что я в мыслях говорил: «Что это?»

Каким-то нежным звуком зазвучал
Лучистый воздух; скорбно и сурово
Я дерзновенье Евы осуждал:

¹ «Блаженны, чьи грехи покрыты!» (лат.)





Земля и твердь блюли Господне слово,
А женщина, одна, чуть создана,
Не захотела потерпеть покрова;

Пребуди под ним покорною она,
Была бы радость несказанных сеней
И раньше мной, и дольше вкушена.

Пока я шел средь стольких предварений
Всевечной неги, мыслью оробев
И жажда все бóльших упоений,

Пред нами воздух под листвою дерев
Стал словно пламень, осяив дубраву,
И сладкий звук переходил в напев.

Сонм дев священных, если вам во славу
Я ведал голод, стужу, скудный сон,
Себе награды я прошу по праву.

Пусть для меня прольется Геликон,
И да внушат мне Уракия¹ с хором
Стихи о том, чем самый ум смущен.

Вдали, за искажающим простором,
Который от меня их отделял,
Семь золотых дерев являлись взорам;

Когда ж я к ним настолько близок стал,
Что мнящийся предмет, для чувств обманной,
Отдельных свойств за далью не терял,

То дар, уму для различенья данный,
Светильники признал в седмице той,
А пенье голосов признал «Осанной».

Светлей пылал верхами чудный строй,
Чем полночью в просторах тверди ясной
Пылает полный месяц над землей.

Я в изумленье бросил взгляд напрасный
Вергилию, и мне ответил он
Таким же взглядом, как и я — безгласный.

¹ Уракия — муза небесной науки (астрономии).

Мой взор был снова к дивам обращен,
Все надвигавшимся в строю широком
Медлительнее новобрачных жен.

«Ты что ж,— сказала женщина с упреком,—
Горящий взгляд стремишь к живым огням,
А что за ними — не окинешь оком?»

И я увидел: вслед, как вслед вождям,
Чреда людей, вся в белом, выступала;
И белизны такой не ведать нам.

Вода налево от меня сверкала
И возвращала мне мой левый бок,
Едва я озирался,— как зеркало.

Когда я был настолько недалек,
Что мы всего лишь речкой разделялись,
Я шаг прервал и лучше видеть мог.

А огоньки всё ближе надвигались,
И, словно кистью проведены,
За ними волны, крася воздух, стлались;

Все семь полос, отчетливо видны,
Напоминали яркими цветами
Лук солнца или перевязь луны.

Длину всех этих стягов я глазами
Не озирал; меж крайними просвет
Измерился бы десятью шагами.

Под чудной сенью шло двенадцать чет
Маститых старцев¹, двигаясь степенно,
И каждого венчал лилейный цвет.

¹ Имеются в виду 24 книги Ветхого Завета. Далее: 4 зверя символизируют 4 Евангелия, колесница — христ. церковь, Грифон (лев с орлиными крыльями и головой) — богочеловека, Христа, 3 женщины — «богословские» добродетели: алая — Любовь, зеленая — Надежда, белая — Вера, 4 женщины — «естественные» добродетели: Мудрость (у нее три глаза, которыми она озирает прошлое, настоящее и будущее), Справедливость, Мужество и Умеренность, 7 старцев — учения апостолов Луки, Павла, Якова, Петра, Иоанна, Иуды и Апокалипсис.

Все воспевали песнь: «Благословенна
Ты в дочерях Адама, и светла
Краса твоя и навсегда нетленна!»

Когда чреда избранная прошла
И свежую траву освободила,
Которою та сторона цвела,—

Как вслед светилам вставшие светила,
Четыре зверя взор мой различил.
Их лбы листва зеленая обвила;

У каждого — шесть оперенных крыл;
Крыла — полны очей; я лишь означу,
Что так смотрел бы Аргус, если б жил.

Чтоб начертать их облик, я не трачу
Стихов, читатель; непосильно мне
При щедрости исполнить всю задачу.

Прочти Езекииля; он вполне
Их описал, от северного края
Идущих в ветре, в туче и в огне.

Как на его листьях, совсем такая
Наружность их; в одной лишь из статей
Я с Иоанном — крылья исчисляя.

Двуколая, меж четырех зверей
Победная повозка возвышалась,
И впряженный Грифон шел перед ней.

Он крылья так держал, что отделялась
Срединная от трех и трех полос,
И ни одна разъятьем не ломалась.

К вершинам крыл я тщетно взгляд вознес;
Он был золототел, где он был птицей,
А в остальном — как смесь лилей и роз.

Не то, чтоб Август равной колесницей
Не тешил Рима, или Сципион,—
Сам выезд Солнца был бедней сторицей,

Тот выезд Солнца, что упал, спален,
Когда Земля взмолилася в печали
И Дий творил свой праведный закон.

У правой ступицы, кружа, плясали
Три женщины: одна — совсем ала;
Ее в огне с трудом бы распознали;

Другая словно создана была
Из плоти, даже кости, изумрудной;
И третья — как недавний снег бела.

То белая вела их в пляске чудной,
То алая, чья песнь у всех зараз
То легкой поступь делала, то трудной.

А слева — четверо вели свой пляс,
Одеты в пурпур, повинуюсь ладу
Одной из них, имевшей третий глаз.

За этим сонмищем предстали взгляду
Два старца, сходных обликом благим
И твердым, но несходных по наряду;

Так, одного питомцем бы своим
Счел Гиппократ, природой сотворенный
На благо самым милым ей живым;

Обратною заботой поглощенный,
Второй сверкал столь режущим мечом,
Что я глядел чрез реку, уstraшенный.

Прошли смиренных четверо потом;
И одинокий старец, вслед за ними,
Ступал во сне, с провидящим челом.

Все семь от первых ризами своими
Не отличались; но взамен лилей
Венчали розы наравне с другими

Багряными цветами снег кудрей;
Далекий взор клялся бы, что их лица
Огнем пылают кверху от бровей.

Когда со мной равнялась колесница,
Раздался гром; и, словно возбранен
Был дальше ход, святая вереница

Остановилась позади знамен.

ПЕСНЬ ТРИДЦАТАЯ

Когда небес верховных семизвездье,
Чьей славе чужд закат или восход
И мгла иная, чем вины возмездье,

Всем указуя должных дел черед,
Как указывает нижнее деснице
Того, кто судно к пристани ведет,

Остановилось,— шедший в веренице,
Перед Грифоном, праведный собор
С отрадой обратился к колеснице;

Один, подъяв вдохновенный взор,
Спел: «*Veni, sponsa, de Libano, veni!*»¹ —
Воззвав трикраты, и за ним весь хор.

Как сонм блаженных из могильной сени,
Спеша, восстанет на призывный звук,
В земной плоти, воскресшей для хвалений,

Так над небесной колесницей вдруг
Возникло сто, *ad vocem tanti senis*,
Все вечной жизни вестников и слуг.

И каждый пел: «*Benedictus qui venis!*»
И, рассыпая вверх и в круг цветы,
Звал: «*Manibus o date lilia plenis!*»

Как иногда багрянцем залиты
В начале утра области востока,
А небеса прекрасны и чисты,

¹ «Иди, невеста, с Ливана, иди!» И далее: «при голосе столь великого старца», «Блажен грядущий!», «Дайте лилий полными горстями!» (лат.)

И солнца лик, поднявшись невысоко,
Настолько застлан мягкостью паров,
Что на него спокойно смотрит око,—

Так в легкой туче ангельских цветов,
Взлетевших и свергавшихся обвалом
На дивный воз и вне его краев,

В венке олив, под белым покрывалом,
Предстала женщина, облачена
В зеленый плащ и в платье огне-алом.

И дух мой,— хоть умчались времена,
Когда его ввергала в содроганье
Одним своим присутствием она,

А здесь неполным было созерцанье,—
Пред тайной силой, шедшей от нее,
Былой любви изведал обаянье.

Едва в лицо ударила мое
Та сила, чье, став отроком, я вскоре
Разящее почувал острое,

Я глянул влево,— с той мольбой во взоре,
С какой ребенок ищет мать свою
И к ней бежит в испуге или в горе,—

Сказать Вергилию: «Всю кровь мою
Пронизывает трепет несказанный:
Следы огня бывшего узнаю!»

Но мой Вергилий в этот миг неожиданный
Исчез, Вергилий, мой отец и вождь,
Вергилий, мне для избавленья данный.

Все чудеса запретных Еве рощ
Омытого росой не оградили
От слез, пролившихся, как черный дождь.

«Дант, оттого что отошел Вергилий,
Не плачь, не плачь еще; не этот меч
Тебе для плача жребии судили».

Как адмирал, чтобы людей увлечь
На кораблях воинственной станицы,
То с носа, то с кормы к ним держит речь,

Такой, над левым краем колесницы,
Чуть я взглянул при имени своем,
Здесь поневоле вписанном в страницы,

Возникшая с завешенным челом
Средь ангельского празднества — стояла,
Ко мне чрез реку обратясь лицом.

Хотя опущенное покрывало,
Окружено Минервиной листвою,
Ее открыто видеть не давало,

Но, с царственно взнесенной головой,
Она промолвила, храня обличье
Того, кто гнев удерживает свой:

«Взгляни смелей! Да, да, я — Беатриче.
Как соизволил ты взойти сюда,
Где обитают счастье и величье?»

Глаза к ручью склонил я, но когда
Себя увидел, то, не молвив слова,
К траве отвел их, не стерпев стыда.

Так мать грозна для сына молодого,
Как мне она казалась в гневе том:
Горька любовь, когда она сурова.

Она умолкла; ангелы кругом
Запели: «*In te, Domine, speravi*»¹,
На «*pedes meos*» завершив псалом.

Как леденеет снег в живой дубраве,
Когда, славонским ветром остужен,
Хребет Италии сжат в мерзлом сплаве,

И как он сам собою поглощен,
Едва дохнет земля, где гибнут тени,
И кажется — то воск огнем спален,—

¹ «На тебя, Господи, уповаю» (лат.).

Таков был я, без слез и сокрушений,
До песни тех, которые поют
Вослед созвучьям вековечных сеней;

Но чуть я понял, что они зовут
Простить меня, усердней, чем словами:
«О госпожа, зачем так строг твой суд!», —

Лед, сердце мне сжимавший как тисками,
Стал влагой и дыханьем и, томясь,
Покинул грудь глазами и устами.

Она, всё той же стороны держась
На колеснице, вняв моленья эти,
Так, речь начав, на них отозвалась:

«Вы бодрствуете в вековечном свете;
Ни ночь, ни сон не затмевают вам
Неутомимой поступи столетий;

И мой ответ скорей тому, кто там
Сейчас стоит и слезы льет безгласно,
И скорбь да соразмерится делам.

Не только силой горних кругов, властно
Велящих семени дать должный плод,
Чему расположенье звезд причастно,

Но милостью божественных щедрот,
Чья дождевая туча так поднята,
Что до нее наш взор не досягнет,

Он в новой жизни был таков когда-то,
Что мог свои дары, с теченьем дней,
Осуществить невиданно богато.

Но тем дичей земля и тем вредней,
Когда в ней плевел сеять понемногу,
Чем больше силы почвенной у ней.

Была пора, он находил подмогу
В моем лице; я взором молодым
Вела его на верную дорогу.

Но чуть я, между первым и вторым
Из возрастов, от жизни отлетела,—
Меня покинув, он ушел к другим.

Когда я к духу вознеслась от тела
И силой возросла и красотой,
Его душа к любимой охладела.

Он устремил шаги дурной стезей,
К обманным благам, ложным изначала,
Чьи обещанья — лишь посул пустой.

Напрасно я во снах к нему взывала
И наяву, чтоб с ложного следа
Вернуть его: он не скорбел нимало.

Так глубока была его беда,
Что дать ему спасенье можно было
Лишь зрелищем погибших навсегда.

И я ворота мертвых посетила,
Прося в тоске, чтобы ему помог
Тот, чья рука его сюда взводила.

То было бы нарушить Божий рок —
Пройти сквозь Лету и вкусить губами
Такую снедь, не заплатив оброк

Раскаянья, обильного слезами».

ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

«Ты, ставший у священного потока,—
Так, речь ко мне направив острием,
Хоть было уж и лезвие жестоко,

Она тотчас же начала потом,—
Скажи, скажи, права ли я! Признаний
Мои улики требуют во всем».

Я был так слаб от внутренних терзаний,
Что голос мой, поднявшийся со дна,
Угас, еще не выйдя из гортани.

Пождав: «Ты что же? — молвила она.—
Ответь мне! Память о годах печали
В тебе волной еще не сметена».

Страх и смущенье, горше, чем вначале,
Исторгли из меня такое «да»,
Что лишь глаза его бы распознали.

Как самострел ломается, когда
Натянут слишком, и полет пологий
Его стрелы не причинит вреда,

Так я не вынес бремени тревоги,
И ослабевший голос мой затих,
В слезах и вздохах, посреди дороги.

Она сказала: «На путях моих,
Руководимый помыслом о благе,
Взыскуемом превыше всех других,

Скажи, какие цепи иль овраги
Ты повстречал, что мужеством иссяк
И к одоленью не нашел отваги?

Какие на челе у прочих благ
Увидел чары и слова обета,
Что им навстречу устремил свой шаг?»

Я горьким вздохом встретил слово это
И, голос мой усилием подчиня,
С трудом раздвинул губы для ответа.

Потом, в слезах: «Обманчиво маня,
Мои шаги влекла тщета земная,
Когда ваш облик скрылся от меня».

И мне она: «Таясь иль отрицая,
Ты обмануть не мог бы Судию,
Который судит, все деянья зная.

Но если кто признал вину свою
Своим же ртом, то на суде точило
Вращается навстречу лезвию.

И всё же, чтоб тебе стыднее было,
Заблудшему, и чтоб тебя опять,
Как прежде, песнь сирен не обольстила,

Не сея слез, внимай мне, чтоб узнать,
Куда мой образ, ставший горстью пыли,
Твои шаги был должен направлять.

Природа и искусство не дарили
Тебе вовек прекраснее усад,
Чем облик мой, распавшийся в могиле.

Раз ты лишился высшей из отрад
С моею смертью, что же в смертной доле
Еще могло к себе привлечь твой взгляд?

Ты должен был при первом же уколе
Того, что бренно, устремить полет
Вослед за мной, не бренной, как дотоле.

Не надо было брать на крылья гнет,
Чтоб снова пострадать,— будь то девичка
Иль прочий вздор, который миг живет.

Раз, два страдает молодая птичка;
А оперившихся и зорких птиц
От стрел и сети бережет привычка».

Как малыши, глаза потупив ниц,
Стоят и слушают и, сознавая
Свою вину, не поднимают лиц,

Так я стоял. «Хоть ты скорбишь, внимая,
Вскинь бороду,— она сказала мне.—
Ты больше скорби вынесешь, взирая».

Крушится легче дуб на крутизне
Под ветром, налетевшим с полуночи
Или рожденным в Ярбиной стране,

Чем поднял я на зов чело и очи;
И, бороду взамен лица назвав,
Она отраву сделала жесточе.

Когда я каждый распрямил сустав,
Глаз различил, что первенцы творенья
Дождем цветов не окропляют трав;

И я увидел, полн еще смятенья,
Что Беатриче взоры навела
На Зверя, слившего два воплощенья.

Хоть за рекой и не открыв чела,—
Она себя былую побеждала
Мощнее, чем других, когда жила.

Крапива скорби так меня сжигала,
Что, чем сильнее я что-либо любил,
Тем ненавистней это мне предстало.

Такой укор мне сердце укусил,
Что я упал; что делалось со мною,
То знает та, кем я повержен был.

Обретши силы в сердце, над собою
Я увидал сплетавшую венки
И услышал: «Держись, держись рукою!»

Меня, по горло погрузив в поток,
Она влекла и легкими стопами
Поверх воды скользила, как челнок.

Когда блаженный берег был над нами,
«Asperges me»¹,— так нежно раздалось,
Что мне не вспомнить, не сказать словами.

Меж тем она, взметнув ладони врозь,
Склонилась надо мной и погрузила
Мне голову, так что глотнуть пришлось.

Потом, омытым влагой, поместила
Меж четверых красавиц в хоровод,
И каждая меня рукой укрыла.

«Мы — нимфы здесь, мы — звезды в тьме высот;
Лик Беатриче не был миру явлен,
Когда служить ей мы пришли вперед.

¹ «Окропи меня» (лат.).

Ты будешь нами перед ней поставлен;
Но вникнешь в свет ее отрадных глаз
Среди тех трех, чей взор острее направлен».

Так мне они пропели; и тотчас
Мы перед грудью у Грифона стали,
Имея Беатриче против нас.

«Не береги очей,— они сказали.—
Вот изумруды, те, что с давних пор
Оружием любви тебя сражали».

Сто сот желаний, жарче, чем костер,
Вонзили взгляд мой в очи Беатриче,
Всё на Грифона устремлявшей взор.

Как солнце в зеркале, в таком величье
Двусущный Зверь в их глубине сиял,
То вдруг в одном, то вдруг в другом обличье.

Суди, читатель, как мой ум блуждал,
Когда предмет стоял неизменный,
А в отраженьи облик изменял.

Пока, ликующий и изумленный,
Мой дух не мог насытиться едой,
Которой алчет голод утомленный,—

Отмеченные высшей красотой,
Три остальные, распевая хором,
Ко мне свой пляс приблизили святой.

«Взгляни, о Беатриче, дивным взором
На верного,— звучала песня та,—
Пришедшего по кручам и просторам!

Даруй нам милость и твои уста
Разоблачи, чтобы твоя вторая
Ему была открыта красота!»

О света вечного краса живая,
Кто так исчах и побледнел без сна
В тени Парнаса, струй его вкушая,

Чтоб мысль его и речь была властна
Изобразить, какую ты явилась,
Гармонией небес осенена,

Когда в свободном воздухе открылась?

ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Мои глаза так алчно утоляли
Десятилетней жажды жгучий зной,
Что все другие чувства мертвы стали;

Взор здесь и там был огражден стеной
Невнятия, влекомый неуклонно
В былую сеть улыбкой неземной;

Но влево отклонился принужденно,
Когда из уст богинь, стоявших там,
Раздалось слово: «Слишком напряженно!»

Упадок зренья, свойственный глазам,
В которых солнце свежее отразилось,
Меня на время приобщил к слепцам;

Когда же с малым зреньем вновь сроднилось
(Я молвлю «с малым», мысля о большом,
С которым ощущение разлучилось),

Я видел — вправо повернув плечом,
Святое войско шло стезей возвратной,
С седмицей свеч и с солнцем пред челом.

Как, оградив себя щитами, ратный
Заходит строй, за стягом идя вспять,
Пока порядок не создаст обратный,—

Так стран небесных головная рать
Вся перед нами прежде растянулась,
Чем колесница стала загигать.

Из женщин каждая к оси вернулась,
И благодатный груз повлек Грифон,
Но ни перо на нем не шелохнулось.

Та, кем я был сквозь воду проведен,
И я, и Стаций шли с руки, где круче
Колесный след в загибе закружен.

Так, через лес, пустынный и дремучий
С тех пор, как змею женщина вняла,
Мы шли под голос ангельских созвучий.

Насколько трижды пролетит стрела,
Настолько удалясь, мы шаг прервали,
И Беатриче на землю сошла.

Тогда «Адам!» все тихо пропроптали
И обступили древо, чьих ветвей
Ни листья, ни цветы не украшали.

Его намет, чем выше, тем мощней
И вправо расширявшийся, и влево,
Дивил бы индов высотой своей.

«Хвала тебе, Грифон, за то, что древа
Не ранишь клювом; вкус отраден в нем,
Но горькие терзанья терпит чрево»,—

Вскричали прочие, обстав кругом
Могучий ствол; и Зверь двоерожденный:
«Так семя всякой правды соблюдем».

И, к дышлу колесницы обращенный,
Он к сирой ветви сам его привлек,
Связав их вязью, из нее сплетенной.

Как наши поросли, когда поток
Большого света смешан с тем, который
Вслед за ельцом небесным ждет свой срок,

Пестро рядятся в свежие уборы,
Пока еще не под другой звездой
Коней для Солнца запрягают Оры,—

Так в цвет, светлей фиалки полевой
И гуще розы, облеклось растенье,
Где прежде каждый сук был неживой.

Я не постиг нездешнее хваленье,
Которое весь сонм их возгласил,
И не дослушал до конца их пенье.

Умей я начертать, как усыпил
Сказ о Сиринге¹ очи стражу злomu,
Который бденье дорого купил,

Я, подражая образцу такому,
Живописал бы, как ввергался в сон;
Но пусть искуснейший опишет дрему.

А я скажу, как я был пробужден
И полог сна раздрали блеск мгновенный
И возглас: «Встань же! Чем ты усыплен?»

Как, цвет увидев яблони священной,
Чьим брачным пиром небеса полны
И чьи плоды бесплотным вожделенны,

Петр, Иоанн и Яков, сражены
Бесчувствием, очнулись от глагола,
Который разрушал и глубже сны,

И видели, что лишена их школа
Уже и Моисея, и Ильи,
И на учителе другая стола,—

Так я очнулся, в смутном забытии
Увидев над собой при этом кличе
Ту, что вдоль струй вела шаги мои.

В смятенье, я сказал: «Где Беатриче?»
И та: «Она воссела у корней
Листвы, обретшей новое величье.

Взгляни на круг приблизившихся к ней;
Другие ввысь восходят за Грифоном,
И песня их и глубже, и звучней».

¹ Сказом о Сиринге, в ант. миф., Меркурий усыпил (а затем обезглавил) стоглазого Аргуса, стерегшего по приказу Юноны возлюбленную Юпитера Ио.

Звенела ль эта речь дальнейшим звоном,
Не знаю, ибо мне была видна
Та, что мой слух заставила заслоном.

Она сидела на земле, одна,
Как если б воз, который Зверь двучастный
Связал с растением, стерегла она.

Окрест нее смыкали круг прекрасный
Семь нимф, держа огней священный строй,
Над коим Австр и Аквилон не властны.

«Ты здесь на краткий срок в сени лесной,
Дабы затем навек, средь граждан Рима,
Где римлянин — Христос, пребыть со мной.

Для пользы мира, где добро гонимо,
Смотри на колесницу и потом
Всё опиши, что взору было зримо».

Так Беатриче; я же, весь во всем
К стопам ее велений преклоненный,
Воззрел послушно взором и умом.

Не падает столь быстро устремленный
Огонь из тучи плотной, чьи пласты
Скопились в сфере самой отдаленной,

Как птица Дия пала с высоты
Вдоль дерева, кору его терзая,
А не одну лишь зелень и цветы,

И, в колесницу мощно ударяя,
Ее качнула; так, с боков хлеща,
Раскачивает судно зыбь морская.

Потом я видел, как, вскочить ища,
Кралась лиса к повозке величавой,
Без доброй снеди до костей тоща.

Но, услышав, какой постыдной славой
Ее моя корила госпожа,
Она умчала остов худощавый.

Потом, я видел, прежний путь держа,
Орел спустился к колеснице снова
И оперил ее, над ней кружа.

Как бы из сердца, горестью больного,
С небес нисшедший голос произнес:
«О челн мой, полный бремени дурного!»

Потом земля разверзлась меж колес,
И видел я, как вышел из провала
Дракон, хвостом пронзая снизу воз;

Он, как оса, вбирающая жало,
Согнул зловредный хвост и за собой
Увлёк часть днища, утоленный мало.

Остаток, словно тучный луг — травой,
Оделся перьями, во имя цели,
Быть может, даже здоровой и благой,

Подаренными, и они одели
И дышло, и колеса по бокам,
Так, что уста вздохнуть бы не успели.

Преображенный так, священный храм
Явил семь глав над опереньем птичьим:
Вдоль дышла — три, четыре — по углам.

Три первые уподоблялись бычьим,
У прочих был единый рог в челе;
В мир не являлся зверь, странней обличьем.

Уверенно, как башня на скале,
На нем блудница наглая сидела,
Кругом глазами рыща по земле;

С ней рядом стал гигант, чтобы не смела
Ничья рука похитить этот клад;
И оба целовались то и дело.

Едва она живой и жадный взгляд
Ко мне метнула, друг ее сердитый
Ее стегнул от головы до пят.

Потом, исполнен злобы ядовитой,
Он отвязал чудовище и в лес
Его повлек, где, как щитом укрытый,
С блудницей зверь невиданный исчез¹.

ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

«Deus, venerunt gentes»², — то четыре,
То три жены, та череда и та,
Сквозь слезы стали петь стихи Псалтири.

И Беатриче, скорбью повита,
Внимала им, подобная в печали,
Быть может, лишь Марии у креста.

Когда же те простор для речи дали,
Сказала, вспыхнув, как огонь во тьме,
И встав, и так слова ее звучали:

«Modicum, et non videbitis me;
Et iterum, любимые сестрицы,
Modicum, et vos videbitis me».

И, двинувшись в предшествии седмицы,
Мне, женщине и мудрецу — за ней
Идти велела манием десницы.

И ранее, чем на стезе своей
Она десятый шаг свой опустила,
Мне хлынул в очи свет ее очей.

«Иди быстрее, — она проговорила,
Спокойное обличие храня, —
Чтобы тебе удобней слушать было».

¹ *Орел* — олицетворение рим. императоров-язычников, преследовавших христ. церковь, *лиса* — ереси первых веков христианства, *дракон* — дьявола, лишившего церковь духа смирения и благочестия, из-за чего она «оделась перьями», т. е. обросла богатствами, превратившись в апокалипс. зверя, вместе с *блудницей* символизирующего папский Рим.

² «Боже, пришли язычники». И далее — «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня» (цитата из Евангелия).

Я подошел, по ней мой шаг равня;
Она сказала: «Брат мой, почему бы
Тебе сейчас не расспросить меня?»

Как те, кому мешает страх сугубый
Со старшими свободно речь вести,
И голос их едва идет сквозь зубы,

Так, полный звук не в силах обрести:
«О госпожа,— ответил я, смущенный,—
То, что мне нужно, легче вам найти».

Она на это: «Пусть твой дух стесненный
Боязнь и стыд освободят от пут,
Так, чтобы ты не говорил, как сонный.

Знай, что порушенный змеей сосуд
Был и не стал; но от судьбы вселенной
Вино и хлеб злодея не спасут.

Еще придет преемник предреченный
Орла, чьи перья, в колесницу пав,
Ее уродом сделали и пленной.

Я говорю, провиденьем познав,
Что вот уже и звезды у порога,
Не знающие никаких застав,

Когда Пятьсот Пятнадцать¹, вестник Бога,
Воровку и гиганта истребит
За то, что оба согрешали много.

И если эта речь моя гласит,
Как Сфинга и Фемида, темным складом,
И смысл ее от разума сокрыт,—

Событья уподобятся Наядам
И трудную загадку разрешат,
Но будет мир над нивой и над стадом².

¹ Загадочное обозначение грядущего избавителя церкви и восстановителя империи (старинные комментаторы толкуют так: цифра ДХУ образует при перестановке знаков слово ДУХ — *вождь*).

² *Сфинга* (Сфинкс) — в ант. миф. крылатое чудовище с женским лицом, убивавшее всех, кто не мог разгадать его загадку, и разбившееся насмерть после того, как фиван. царь Эдип ее разгадал (за что прорицательница *Фемида* наслала на фиван, нивы и стада хищного зверя).

Следи; и точно, как они звучат,
Мои слова запомни для наказа
Живым, чья жизнь—лишь путь до смертных врат.

И при писанье своего рассказа
Не скрой, каким растение ты нашел,
Ограбленное здесь уже два раза.

Кто грабит ветви иль терзает ствол,
Повинен в богохульственной крамоле:
Бог для себя святыню их возвел.

Грызнув его, пять тысяч лет и доле
Ждала в мученьях первая душа,
Чтоб грех избыл другой, по доброй воле.

Спит разум твой, размыслить не спеша,
Что неспроста оно взнеслось так круто,
Таким наметом стебель заверша.

Не будь твое сознание замкнуто,
Как в струи Эльсы, в помыслы сует,
Не будь их прелесть — как Пирам для тута,

Ты, по наличью этих лишь примет,
Постиг бы нравственно, сколь правосудно
Господь на древо наложил запрет.

Но так как ты,— мне угадать нетрудно,—
Окаменел и потускнел умом
И свет моих речей приемлешь скудно,

Хочу, чтоб ты в себе их нес потом,
Подобно хоть не книге, а картине,
Как жезл приносят с пальмовым листом».

И я: «Как оттиск в воске или глине,
Который принял неизменный вид,
Мой разум вашу речь хранит отныне.

Но для чего в такой дали парит
Ваш долгожданный голос, и чем боле
К нему я рвусь, тем дальше он звучит?»

«Чтоб ты постиг,— сказала,— что за школе
Ты следовал, и видел, можно ль ей
Познать сокровенное в моем глаголе;

И видел, что до Божеских путей
Вам так далеко, как земному краю
До неба, мчащегося всех быстрее».

На что я молвил: «Я не вспоминаю,
Чтоб я когда-либо чуждался вас,
И в этом я себя не упрекаю».

Она же: «Если ты на этот раз
Забыл,— и улыбнулась еле зримо,—
То вспомни, как ты Лету пил сейчас;

Как судят об огне по клубам дыма,
Само твое забвенье — приговор
Виновной воле, устремленной мимо.

Но говорить с тобою с этих пор
Я буду обнаженными словами,
Чтобы их видеть мог твой грубый взор».

Всё ярче, замедленными шагами,
Вступало солнце в полуденный круг,
Который создан нашими глазами,

Когда в пути остановились вдруг,—
Как проводник, который полн сомнений,
Увидев незнакомое вокруг,—

Семь жен у выхода из бледной тени,
Какую в Альпах стелет вдоль ручья
Вязь черных веток и зеленой сени.

Там растекались,— мог бы думать я,—
Тигр и Евфрат из одного истока,
Лениво разлучаясь, как друзья.

«О светоч смертных, блещущий высоко,
Что это за раздвоенный поток,
Сам от себя стремящийся далеко?»

На что сказали так: «Тебе урок
Подаст Мательда». И, путем ответа
Как бы желая отвести упрек,

Прекрасная сказала: «И про это,
И про иное с ним я речь вела,
И не могла ее похитить Лета».

И Беатриче: «Бóльших мыслей мгла,
Ложась на память пеленою,
Ему, быть может, ум заволокла.

Но видишь льющуюся там Эвную:
Сведи его и сделай, как всегда,
Угаснувшую силу вновь живую».

Как избранные души без труда
Желанное другим желают сами,
Лишь только есть малейшая нужда,

Так, до меня дотронувшись перстами,
Она пошла и на учтивый лад
Сказала Стацию: «Ты следуй с нами».

Не будь, читатель, у меня преград
Писать еще, я бы воспел хоть мало
Питье, чью сладость вечно пить бы рад;

Но так как счет положен изначала ¹
Страницам этой кáнтики второй,
Узда искусства здесь меня сдержала.

Я шел назад, священною волной
Воссоздан так, как жизненная сила
Живит растенья зеленью живой,

Чист и достоин посетить светила.

¹ В построении поэмы соблюдена строгая симметрия: в каждой из трех ее частей (кантин) — по 33 песни (Ад содержит, кроме того, еще одну — вступительную ко всей поэме); объем всех 100 песен примерно одинаков.

РАЙ

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Лучи того, кто движет мирозданье,
Всё проникают славой и струят
Где — большее, где — меньшее сиянье.

Я в тверди был, где свет их восприят
Всего полней; но вел бы речь напрасно
О виденном вернувшийся назад;

Затем что, близясь к чаемому страстно,
Наш ум к такой нисходит глубине,
Что память вслед за ним идти не властна.

Однако то, что о святой стране
Я мог скопить, в душе оберегая,
Предметом песни воспослужит мне.

О Аполлон, последний труд свершая,
Да буду я твоих исполнен сил,
Как ты велишь, любимый лавр вверяя ¹.

¹ В ант. миф. в лавр была превращена нимфа Дафна, убегающая от влюбленного *Аполлона*. Далее упомин.: *Марсий* — сатир, состязавшийся в музыкал. искусстве с Аполлоном, который, победив его, содрал с него кожу; *Глаук* — рыбак, отведавший чудесной травы и превратившийся в морского бога.

Мне из зубцов Парнаса нужен был
Пока один; но есть обоим дело,
Раз я концу ристанья приступил.

Войди мне в грудь и вей, чтоб песнь звенела,
Как в день, когда ты Марсия извлек
И выбросил из оболочки тела.

О вышний дух, когда б ты мне помог
Так, чтобы тень державы осиянной
Явить в мозгу я впечатленной мог,

Я стал бы в сень листвы, тебе желанной,
Чтоб на меня возложен был венец,
Моим предметом и тобой мне данный.

Ее настолько редко рвут, отец,
Чтоб кесаря почтить или поэта,
К стыду и по вине людских сердец,

Что богу Дельф должно быть в радость это,
Когда к пенейским листьям взор воздет
И чье-то сердце жаждой их согрето.

За искрой пламя ширится вослед:
За мной, быть может, лучшими устами
Взнесут мольбу, чтоб с Кирры был ответ.

Встает для смертных разными вратами
Лампада мира; но из тех, где слит
Бег четырех кругов с тремя крестами,

По лучшему пути она спешит
И с лучшей звездой, и чище сила
Мирскому воску оттиск свой дарит.

Почти из этих врат там утро всплыло,
Здесь вечер пал, и в полушарье том
Всё стало белым, здесь всё черным было,

Когда, налево обратясь лицом,
Вонзилась в солнце Беатриче взором;
Так не почиет орлий взгляд на нем.

Как луч выходит из луча, в котором
Берет начало, чтоб отпрянуть ввысь,—
Скиталец в думах о возврате скором,—

Так из ее движений родились,
Глазами в дух войдя, мои; к светилу
Не по-людски глаза мои взнеслись.

Там можно многое, что не под силу
Нам здесь, затем что создан тот приют
Для человека по его мерилу.

Я выдержал недолго, но и тут
Успел заметить, что оно искрилось,
Как взятый из огня железный прут.

И вдруг сиянье дня усугубилось,
Как если бы второе солнце нам
Велением Могущего явилось.

А Беатриче к вечным высотам
Стремилась взор; мой взгляд низведши вскоре,
Я устремил глаза к ее глазам.

Я стал таким, в ее теряясь взоре,
Как Главк, когда вкушенная трава
Его к бессмертным приобщила в море.

Пречеловеченье вместить в слова
Нельзя; пример мой близок по приметам,
Но самый опыт — милость божества.

Был ли я только тем, что в теле этом
Всего новей, Любовь, господь высот,
То знаешь ты, чьим я вознесся светом.

Когда круги, которых вечный ход
Стремишь, желанный, ты, мой дух призвали
Гармонией, чей строй тобой живет,

Я видел — солнцем загорелись дали
Так мощно, что ни ливень, ни поток
Таких озер вовек не расстилали.

Звук был так нов, и свет был так широк,
Что я горел постигнуть их начало;
Столь острый пыл вовек меня не жег.

Та, что во мне, как я в себе, читала,—
Чтоб мне в моем смятении помочь,
Скорей, чем я спросил, уста разъяла

И начала: «Ты должен превозмочь
Неверный домысл; то, что непонятно,
Ты понял бы, его отбросив прочь.

Не на земле ты, как считал превратно,
Но молния, покинув свой предел,
Не мчится так, как ты к нему обратно».

Покров сомненья с дум моих слетел,
Спят сквозь улыбку речью небольшою,
Но тут другой на них отяготел,

И я сказал: «Я вновь пришел к покою
От удивленья; но дивлюсь опять,
Как я всхожу столь легкою средою».

Она, умея вздохом сострадать,
Ко мне склонила взор неизреченный,
Как на дитя в бреду — взирает мать,

И начала: «Всё в мире неизменный
Связует строй; своим обличем он
Подобье Бога придает вселенной.

Для высших тварей в нем отображен
След вечной Силы, крайней той вершины,
Которой служит сказанный закон.

И этот строй объемлет, всеединый,
Все естества, что по своим судьбам —
Вблизи или вдали от их причины.

Они плывут к различным берегам
Великим морем бытия, стремимы
Своим позывом, что ведет их сам.

Он пламя мчит к луне, неудержимый;
Он в смертном сердце возбуждает кровь;
Он землю вяжет в ком неразделимый.

Лук этот вечно мечет, вновь и вновь,
Не только неразумные творенья,
Но те, в ком есть и разум и любовь.

Свет устроительного провиденья
Покоит твердь, объемлющую ту,
Что всех поспешней быстротой вращения.

Туда, в завещанную высоту,
Нас эта сила тетивы помчала,
Лишь радостную ведая мету.

И всё ж, как образ отвечает мало
Подчас тому, что мастер ждал найти,
Затем что вещество на отклик вяло,—

Так точно тварь от этого пути
Порой отходит, властью обладая,
Хоть дан толчок, стремленье отвести;

И как огонь, из тучи упадая,
Стремится вниз, так может первый взлет
Пригнать обратно суета земная.

Дивись не больше,— это взяв в расчет,—
Тому, что всходишь, чем стремнине водной,
Когда она с вершины вниз течет.

То было б диво, если бы, свободный
От всех помех, ты оставался там,
Как сникший к почве пламень благородный».

И вновь лицо подъяла к небесам.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

О вы, которые в челне зыбучем,
Желая слушать,плыли по волнам
Вослед за кораблем моим певучим,





Поворотите к вашим берегам!
Не доверяйтесь водному простору!
Как бы, отстав, не потеряться вам!

Здесь не бывал никто по эту пору:
Минерва веет, правит Аполлон,
Медведиц — Музы указуют взору,

А вы, немногие, что испокон
Мысль к ангельскому хлебу обращали,
Хоть кто им здесь живет — не утолен,

Вам можно смело сквозь морские дали
Свой струг вести там, где мой след вскипел,
Доколе воды ровными не стали.

Тех, кто в Колхиду путь преодолел,
Не столь большое ждало удивленье,
Когда Ясон предстал как земледел.

Врожденное и вечное томленье
По Божьем царстве мчало наш полет,
Почти столь быстрый, как небес вращенье.

Взор Беатриче не сходил с высот,
Мой взор — с нее. Скорей, чем с самострела
Вонзится, мчится и сорвется дрот,

Я долетел до чудного предела,
Привлекшего глаза и разум мой;
И та, что прямо в мысль мою глядела,—

Сияя радостью и красотой:
«Прославь душой того, — проговорила, —
Кто дал нам слиться с первою звездой».

Казалось мне — нас облаком накрыло,
Прозрачным, гладким, крепким и густым,
Как адамант, что солнце поразило.

И этот жемчуг, вечно нерушим,
Нас внутрь воспринял, как вода — луч света,
Не поступаясь веществом своим.

Коль я был телом, и тогда,— хоть это
Постичь нельзя,— объем вошел в объем,
Что должно быть, раз тело в тело вдето,

То жажда в нас должна вспылать огнем
Увидеть Сущность, где непостижимо
Природа наша слита с божеством.

Там то, во что мы верим, станет зримо,
Самопонятно без иных мерил;
Так — первоистина неоспорима.

Я молвил: «Госпожа, всей мерой сил
Благодарю того, кто благодатно
Меня от смертных стран отъединил.

Но что, скажите, означают пятна
На этом теле, вид которых нам
О Каине дает твердить превратно?»

Тогда она с улыбкой: «Если там
Сужденья смертных ложны,— мне сказала,—
Где не прибегнуть к чувственным ключам,

Взирай на это, отстраняя жало
Стрел удивленья, раз и чувствам вслед,
Как видишь, разум воспаряет вяло.

А сам ты мыслишь как?» И я в ответ:
«Я вижу этой разности причину
В том, скважен ли, иль плотен сам предмет».

Она же мне: «Как мысль твоя в пучину
Неистинного канет, сам взгляни,
Когда мой довод я навстречу двину.

Восьмая твердь являет вам огни,
И многолики, при числе несчетном,
Количеством и качеством они.

Будь здесь причина в скважном или плотном,
То свойство было бы у всех одно,
Делясь неравно в сонме быстролетном.

Различие свойств различьем рождено
Существенных начал, а по ответу,
Что ты даешь, начало всех равно.

И сверх того, будь сумрачному цвету
Причиной скважность, то или насквозь
Неплотное пронзало бы планету,

Или, как в теле рядом ужилось
Худое с толстым, так и тут примерно
Листы бы ей перемежать пришлось.

О первом бы гласили достоверно
Затмения солнца: свет сквозил бы здесь,
Как через всё, что скважно и пещерно.

Так не бывает. Вслед за этим взвесь
Со мной второе; и, его сменяя,
Я домысл твой опровергаю весь.

Коль скоро эта скважность — не сквозная,
То есть предел, откуда вглубь лежит
Ее противность, дальше не пуская.

Отсюда чуждый луч назад бежит,
Как цвет, отосланный обратно в око
Стеклом, когда за ним свинец укрыт.

Ты скажешь мне, что луч, войдя глубоко,
Здесь кажется темнее, чем вокруг,
Затем что отразился издалека.

Чтоб этот довод рухнул так же вдруг,
Тебе бы опыт сделать не мешало;
Ведь он для вас — источник всех наук.

Возьми три зеркала, и два сначала
Равно отставь, а третье вдаль попятъ,
Чтобы твой взгляд оно меж них встречало.

К ним обратясь, свет за спиной приладь,
Чтоб он все три зажег, как строй светилен,
И ото всех шел на тебя опять.

Хоть по количеству не столь обилен
Далекий блеск, он яркостью своей
Другим, как ты увидишь, равносилен.

Теперь, как под ударами лучей
Основа снега зрится обнаженной
От холода и цвета прежних дней,

Таков и ты, и мысли обновленной
Я свет хочу пролить такой живой,
Что он в глазах дрожит, воспламененный.

Под небом, где божественный покой,
Кружится тело некое, чья сила
Всё то, что в нем, наполнила собой.

Твердь вслед за ним, где столькие светила,
Ее распределяет естествам,
Которые, не слив с собой, вместила.

Так поступает к остальным кругам
Премного свойств, которые они же
Приспособляют к целям и корням.

Строй членов мира, как, всмотревшись ближе,
Увидел ты, уступами идет
И, сверху взяв, потом вручает ниже.

Следи за тем, как здесь мой шаг ведет
К познанию истин, для тебя бесценных,
Чтоб знать потом, где пролегает брод.

Исходят бег и мощь кругов священных,
Какковка от умеющих ковать,
От движителей неких блаженных.

И небо, где светил не сосчитать,
Глубокой мудрости, его кружащей,
Есть повторенный образ и печать.

И как душа, под перстью преходящей,
В разнообразных членах растворясь,
Их направляет к цели надлежащей,

Так этот разум, дробно расточась
По многим звездам, благодать изливает,
Вокруг единства своего кружась.

И каждая из разных сил вступает
В связь с драгоценным телом, где она,
Как в людях жизнь, по-разному мерцает.

Ликующей природой рождена,
Влитая сила светится сквозь тело,
Как радость сквозь зрачок излучена.

В ней — ключ к тому, чтоб разное блестело
По-разному, не в плотности отнюдь:
В ней — то начало, что творит всецело,

По мере благодати, и блеск и муть».

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

То солнце, что зажгло мне грудь любовью,
Открыло мне прекрасной правды лик,
Прибегнув к доводам и прекословью;

И, торопясь признать, что я постиг
И убежден, я, сколько подобало,
Лицо для речи поднял в тот же миг.

Но предо мной видение предстало
И к созерцанью так меня влекло,
Что речь забылась и не прозвучала.

Как чистое, прозрачное стекло
Иль ясных вод спокойное течение,
Где дно от глаз неглубоко ушло,

Нам возвращают наше отраженье
Столь бледным, что жемчужину скорей
На белизне чела отыщет зренья,—

Такой увидел я чреду теней,
Беседы ждавших; тут я обманулся
Иначе, чем влюбившийся в ручей.

Как только взором я до них коснулся,
Я счел их отраженьем лиц людских
И, чтоб взглянуть, кто это, обернулся;

Вперив глаза в ничто, я вверил их
Вновь свету милой спутницы; с улыбкой,
Она пылала глубиоу глаз святых.

«Что я смеюсь над детскою ошибкой,—
Она сказала,— странного в том нет:
Не доверяясь правде мыслью зыбкой,

Ты вновь пустому обращен вослед.
Твой взор живые сущности встречает:
Здесь место тех, кто преступил обет.

Спроси их, слушай, верь; их утоляет
Свет вечной правды, и ни шагу он
Им от себя ступить не позволяет».

И я, к одной из теней обращен,
Чья жажда говорить была мне зрима,
Сказал, как тот, кто хочет и смущен:

«Блаженная душа, ты, что, хранима
Все вечным светом, знаешь благодать,
Чья сладость лишь вкусившим постижима,

Я был бы счастлив от тебя узнать,
Как ты зовешься и о вашей доле».
Та, с ясным взором, рада отвечать:

«У нас любовь ничьей правдивой воле
Дверь не замкнет, уподобляясь той,
Что ждет подобных при своем престоле.

Была я в мире девственной сестрой;
И, в память заглянув проникновенно,
Под большею моею красотой

Пиккарду¹ ты узнаешь, несомненно.
Среди блаженных этих вокруг меня
Я в самой медленной из сфер блаженна.

¹ Пиккарда — сестра Форезе и Корсо Донати, которую насильно извлекли из монастыря и выдали замуж,

Желанья наши, нас воспламеня
Служеньем воле духа пресвятого,
Ликуют здесь, его завет храня.

И наш удел, столь низменной иного,
Нам дан за то, что нами был забыт
Земной обет и не блюлся сурово».

И я на то: «Ваш небывалый вид
Блится так божественно и чудно,
Что он с начальным обликом не слит.

Здесь память мне могла служить лишь скудно;
Но помощь мне твои слова несут,
И мне узнать тебя теперь нетрудно.

Но расскажи: вы все, кто счастлив тут,
Взыскуете ли высшего предела,
Где больший кругозор и дружба ждут?»

С другими улыбаясь, тень глядела
И, радостно откликнувшись потом,
Как бы любовью первой пламенела:

«Брат, нашу волю утолил во всем
Закон любви, лишь то желать велящей,
Что есть у нас, не мысля об ином.

Когда б мы славы восхотели вящей,
Пришлось бы нашу волю разлучить
С верховной волей, нас внизу держащей,—

Чего не может в этих сферах быть,
Раз пребывать в любви для нас necesse¹
И если смысл ее установишь.

Ведь тем-то и блаженно наше esse,
Что Божья воля руководит им
И наша с нею не в противовесе.

И так как в этом царстве мы стоим
По ступеням, то счастливы народы
И царь, чью волю вольно мы вершим;

¹ «Необходимо». И далее — «бытие» (лат.).

Она — наш мир; она — морские воды,
Куда течет всё, что творит она,
И всё, что создано трудом природы».

Тут я постиг, что всякая страна
На небе — Рай, хоть в разной мере, ибо
Неравно милостью орошена.

Но как, из блюд вкусив какого-либо,
Мы следующих просим иногда,
За съеденное говоря спасибо,

Так поступил и молвил я тогда,
Дабы услышать, на какой же ткани
Ее челнок не довершил труда.

«Жену высокой жизни и деяний,—
Она в ответ,— покоит вышний град.
Те, кто ее не бросил одеяний,

До самой смерти бодрствуют и спят
Близ жениха, который всем обетам,
Ему с любовью принесенным, рад.

Я, вслед за ней, наскучив рано светом,
В ее одежды тело облекла,
Быть верной обещав ее заветам.

Но люди, в жажде не добра, а зла,
Меня лишили тихой сени веры,
И знает Бог, чем жизнь моя была.

А этот блеск, как бы превыше меры,
Что вправо от меня тебе предстал,
Пылая всем сияньем нашей сферы,

Внимая мне, и о себе внимал:
С ее чела, как и со мной то было,
Сорвали тень священных покрывал.

Когда ее вернула миру сила,
В обиду ей и оскорбив алтарь,—
Она покровов сердца не сложила.

То свет Костанцы ¹, столь великой встарь,
Кем от второго вихря, к свевской славе,
Рожден был третий вихрь, последний царь».

Так молвила, потом запела «Ave,
Magia» ², исчезая под напев,
Как тонет груз и словно тает въяве.

Мой взор, вослед ей пристально смотрев,
Насколько можно было, с ней простился,
И, к цели бóльших дум его воздев,

Я к Беатриче снова обратился;
Но мне она в глаза сверкнула так,
Что взгляд сперва, не выдержав, смутился;

И новый мой вопрос замедлил шаг.

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Меж двух равно манящих яств, свободный
В их выборе к зубам бы не поднес
Ни одного и умер бы голодный;

Так агнец медлил бы меж двух угроз
Прожорливых волков, равно страшимый;
Так медлил бы меж двух оленей пес.

И то, что я молчал, равно томимый
Сомненьями, счесть ни добром, ни злом
Нельзя, раз это путь необходимый.

Так я молчал; но на лице моем
Желанье, как и сам вопрос, сквозило
Жарчей, чем сказанное языком.

Но Беатриче, вроде Даниила,
Кем был смирен Навуходonosор ³,
Когда его свирепость ослепила,

¹ *Констанция* — последняя представительница норман. династии в Южной Италии (XII в.); от ее брака с герм. императором Генрихом VI («второй вихрь») родился Фридрих II («третий вихрь»).

² «Радуйся, Мария» (лат.) — молитва.

³ По библ. легенде вавил. мудрецы не могли истолковать царю *Навуходonosору* сон, и он велел их казнить, но гнев его прошел, когда пророк *Даниил* объяснил значение сна.

Сказала: «Вижу, что возник раздор
В твоих желаньях, и, теснясь в неволе,
Раздумья тщетно рвутся на простор.

Ты мыслишь: «Раз я стоек в доброй воле,
То как насилье нанесет урон
Моей заслуге хоть в малейшей доле?»

Еще и тем сомненьем ты смущен,
Не взносятся ли души в самом деле
Обратно к звездам, как учил Платон.

По-равному твое стесняют *velle*¹
Вопросы эти; обращаясь к ним,
Сперва коснись того, чей яд тяжеле.

Всех глубже вбожествленный серафим
И Моисей и Самуил пророки
Иль Иоанн,— он может быть любым,—

Мария — твердью все равновысоки
Тем духам, что тебе являлись тут,
И бытия их не иные сроки;

Все красят первый круг и там живут
В неравной неге, ибо в разной мере
Предвечных уст они дыханье пьют.

И здесь они предстали не как в сфере,
Для них назначенной, а чтоб явить
Разностепенность высшей на примере.

Так с вашей мыслью должно говорить,
Лишь в осязатом черплющем познать,
Чтоб разуму затем его вручить.

К природе вашей снисходя, Писанье
О Божией деснице говорит
И о стопах, вводя иносказанье;

И Гавриила в человеческий вид,
И Михаила церковь облакает,
Как и того, кем исцелен Товит.

¹ «Воля» (лат.).

То, что Тимей¹ о душах утверждает,
Несходно с тем, что здесь дано узнать,
Затем что он как будто впрямь считает,

Что всякая душа взойдет опять
К своей звезде, с которой связь порвала,
Ниспосланная тело оживлять.

Но может быть — здесь мысль походит мало
На то, что выразил словесный звук;
Тогда над ней смеяться не пристало.

Так, возвращая светам этих дуг
Честь и позор влияний, может стать ся,
Он в долю правды направлял бы лук.

Поняв его превратно, заблуждаться
Пошел почти весь мир, и так тогда
Юпитер, Марс, Меркурий стали зваться.

В другом твоём сомнении вреда
Гораздо меньше; с ним пребудешь здоровым
И не собьешься с моего следа.

Что наше правосудие неправым
Казаться может взору смертных, в том
Путь к вере, а не к ересям лукавым.

Но так как человеческим умом
Глубины этой правды постижимы,
Твое желанье утолю во всем.

Раз только там насилье, где теснимый
Насильнику не помогал ничуть,
То эти души им не извинимы;

Затем что волю силой не задуть,
Она, как пламя, борется упорно,
Хоть б его сто раз насильно гнуть.

А если в чем-либо она покорна,
То вторит силе; так и эти вот,
Хоть в Божий дом могли уйти повторно.

¹ Название Платонова диалога.

Будь воля их тот целостный оплот,
Когда Лаврентий не встает с решетки
Иль суровый Муций¹ руку жжет,—

Освободясь, они тот путь короткий,
Где их влекли, прошли бы сами вспять;
Но те примеры — редкие находки.

Так, если точно речь мою понять,
Исчез вопрос, который, возникая,
Тебе и дальше мог бы докучать.

Но вот теснина предстает другая,
И здесь тебе вовеки одному
Не выбраться; падешь, изнемогая.

Как я внушала твоему уму,
Слова святого никогда не лживы:
От Первой Правды не уйти ему.

Слова Пиккарды, стало быть, правдивы,
Что дух Костанцы жаждал покрывал,
Моим же как бы противоречивы.

Ты знаешь, брат, сколь часто мир видал,
Что человек, пред чем-нибудь робея,
Свершает то, чего бы не желал;

Так Алкмеон, послушаться не смея
Родителя, родную мать убил
И превратился, зла страшась, в злодея.

Здесь, как ты сам, надеюсь, рассудил,
Насилье слито с волей, и такого
Не извинить, кто этим прегрешил.

По сути, воля не желает злого,
Но с ним мирится, ибо ей страшней
Стать жертвою чего-либо иного.

¹ *Лаврентий* — рим. дьякон III в., сожженный на железной решетке. *Муций* — рим. юноша, сжегший свою правую руку, когда ему не удалось убить этрус. царя.

Пиккарда мыслит в повести своей
О чистой воле, той, что вне упрека;
Я — о другой; мы обе правы с ней».

Таков был плеск священного потока,
Который от верховий правды шел;
Он обе жажды утолил глубоко.

«Небесная,— тогда я речь повел,—
Любимая Вселюбящего, светит,
Живит теплом и влагой ваш глагол.

Таких глубин мой дух в себе не встретит,
Чтоб дар за дар воздать решился он;
Пусть тот, кто зряц и властен, вам ответит.

Я вижу, что вовек не утолен
Наш разум, если Правдой непреложной,
Вне коей правды нет, не озарен.

В ней он покоится, как зверь берложный,
Едва дойдя; и он всегда дойдет,—
Иначе все стремления ничтожны.

От них у корня истины встает
Росток сомненья; так природа властно
С холма на холм ведет нас до высот.

Вот что дает мне смелость, манит страстно
Вас, госпожа, почтительно спросить
О том, что для меня еще неясно.

Я знать хочу, возможно ль возместить
Разрыв обета новыми делами
И груз их на весы к вам положить».

Она такими дивными глазами
Огонь любви метнула на меня,
Что веки у меня поникли сами,

И я себя утратил, взор склоня.

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

«Когда мой облик пред тобою блещет
И свет любви не по-земному льет,
Так, что твой взор, не выдержав, трепещет,

Не удивляйся; это лишь растет
Могущественность зренья и, вскрывая,
Во вскрытом благе движется вперед.

Уже я вижу ясно, как, сияя,
В уме твоём зажегся вечный свет,
Который любят, на него взирая.

И если вас влечет другой предмет,
То он всего лишь — воспрятый ложно
Того же света отраженный след.

Ты хочешь знать, чем равноценным можно
Обещанные заменить дела,
Чтобы душа почила бестревожно».

Так Беатриче в эту песнь вошла
И продолжала слова ход священный,
Чтоб речь ее непрерывной текла:

«Превысший дар создателя вселенной,
Его щедроте больше всех сродни
И для него же самый драгоценный,—

Свобода воли, коей искони
Разумные создания причастны,
Без исключенья все и лишь они.

Отсюда ты получишь вывод ясный,
Что значит дать обет,— конечно, там,
Где Бог согласен, если мы согласны.

Бог обязать дозволяет нам,
И этот клад, такой, как я сказала,
Себя ему приносит в жертву сам.

Где ценность, что его бы заменяла?
А в отданном ты больше не волён,
И жертвовать чужое — не пристало.

Ты в основном отныне утверждён;
Но так как церковь знает разрешенья,
С чем как бы спорит сказанный закон,

Не покидай стола без замедленья:
Кусок, который съел ты, был тугим
И требует подмоги для сваренья.

Открой же разум свой словам моим
И в нем замкни их; исчезает вскоре
То, что, услышав, мы не затвердим.

Две стороны мы видим при разборе
Подобных жертв: одну мы видим в том,
Чем жертвуют; другую — в договоре.

Последний обязателен во всем,
Пока не выполнен, как изъяснялось
Уже и выше точным языком.

Вот почему евреям полагалось,—
Ты помнишь,— жертвовать из своего,
Хоть жертва иногда и заменялась.

Зато второе, то есть существо,
Бывает и таким, что есть пределы,
В которых можно изменить его.

Но бремя плеч своих и самый смелый
Менять не смеет и обязан несть,
Пока недвижны желтый ключ и белый.

Да и обмен нелепым надо счесть,
Когда предмет, имевшийся доселе,
Не входит в новый, как четыре в шесть.

А если ценность — всех других тяжеле
И всякой чаши книзу тянет край,
Ее ничем не возместить на деле.

Своим обетом, смертный, не играй!
Будь стоек, но не обещайся слепо,
Как первый дар принесший Иеффай¹;

Он не сказал: «Я поступил нелепо!»,
А согрешил, свершая. В тот же ряд
Вождь греков стал, безумный столь свирепо,

Что вместе с Ифигенией скорбят
Глупец и мудрый, все, кому случится
Услышать про чудовищный обряд.

О христиане, полно торопиться,
Лететь, как перья, всем ветрам вослед!
Не думайте любой водой омыться!

У вас есть Ветхий, Новый есть завет,
И пастырь церкви вас всегда наставит;
Вот путь спасенья, и другого нет.

А если вами злая алчность правит,
Так вы же люди, а не скот тупой,
И вас меж вас еврей да не бесславит!

Не будьте, как ягненок молодой,
Который, бросив мать, беды не чуя,
По простоте играет сам с собой!»

Так Беатриче мне, как здесь пишу я;
Потом туда, где мир всего живей,
Вновь обратила взоры, вся взыскуя.

Ее безмолвье, чудный блеск очей
Лишили слов мой жадный ум, где зрели
Опять вопросы к госпоже моей.

И как стрела спешит коснуться цели
Скорее, чем затихнет тетива,
Так ко второму царству мы летели,

¹ *Иеффай* — по библ. легенде израил. судья, давший обет в случае победы над врагом принести в жертву того, кто первым выйдет из его дома, — навстречу ему вышла единственная дочь. *Ифигения* — в ант. миф. дочь царя Агамемнона, принесенная в жертву для того, чтобы получить от богов попутный ветер для похода против Трои.

Такая радость в ней зажглась, едва
Тот светоч нас объял, что озарилась
Сама планета светом торжества.

И раз звезда, смеясь, преобразилась,
То как же — я, чье естество всегда
Легко переменяющимся мнилось?

Как из глубин прозрачного пруда
К тому, что тонет, стая рыб стремится,
Когда им в этом чудится еда,

Так видел я — несчетность блесков мчится
Навстречу нам, и в каждом клич звучал:
«Вот кем любовь для нас обогатится!»

И чуть один к нам ближе подступал,
То виделось, как всё в нем ликовало,
По зареву, которым он сиял.

Суди, читатель: оборвись начало
На этом, как бы тягостно тебе
Дальнейшей повести не доставало;

И ты поймешь, как мне об их судьбе
Хотелось внять правдивые глаголы,
Едва мой взгляд воспринял их в себе.

«Благорожденный, ты, кому престолы
Все вечной славы видеть предстоит,
Пока не кончен труд войны тяжелый,—

Тот свет, который в небесах разлит,
Пылает в нас; поэтому, желая
Про нас узнать, ты будешь вволю сыт».

Так молвила одна мне тень благая,
А Беатриче: «Смело говори
И слушай с верой, как богам внимая!»

«Я вижу, как гнездишься ты внутри
Своих лучей и как их льешь глазами,
Ликующими пламенной зари.

Но кто ты, дух достойный, и пред нами
Зачем предстал в той сфере, чье чело
От смертных скрыто чуждыми лучами?»

Так я сказал сиявшему светло,
Тому, кто речь держал мне; и сиянье
Его еще лучистой облекло.

Как солнце, чье чрезмерное сверканье
Его же застит, если жар пробил
Смягчающих паров напластованье,

Так он, ликуя, от меня укрыл
Священный лик среди его же света
И, замкнут в нем, со мной заговорил,

Как будет в следующей песни спето.

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

«С тех пор как взмыл, послушный Константину¹,
Орел противу звезд, которым вслед
Он встарь парил за тем, кто взял Лавину,

Господня птица двести с лишним лет
На рубеже Европы пребывала,
Близ гор, с которых облетала свет;

И тень священных крыл распростирала
На мир, который был во власть ей дан,
И там, из длани в длань, к моей ниспала.

¹ *Константин Великий* — император, перенесший в 330 г. столицу из Рима в Византию (*орел* — символ Рим. империи). Далее упомин.: рим. император *Юстиниан* (см. с. 188), его военачальник *Велисарий* и рим. папа *Агапит I* (VI в.); герой «Энеиды» *Паллант*; предводитель галлов *Бренн* (IV в. до н. э.); эфир. царь *Пирр* (IV—III вв. до н. э.); рим. консул и диктатор V в. до н. э. *Квинций* (Цинциннат); рим. полководцы: *Торкват* (IV в. до н. э.), *Помпей Великий* (II—I вв. до н. э.), *Сципион Африканский* (III—II вв. до н. э.); *Деции* — три рим. полководца; *Фабии* — род, прославленный в Рим. империи; *Птолемей* — молодой египет. царь, которого Цезарь низложил, возведя на трон его сестру *Клеопатру* (I в. до н. э.); *Юба* — нумиб. царь, побежденный Цезарем и покончивший с собой; рим. император *Тит* (см. с. 258); *Карл Великий* — король франков, впоследствии император.

Был кесарь я, теперь — Юстиниан;
Я, Первою Любовью вдохновенный,
В законах всякий устранил изъян.

Я верил, в труд еще не погруженный,
Что естество в Христе одно, не два,
Такою верой удовлетворенный.

Но Агапит, всех пастырей глава,
Мне свой урок преподал благодатный
В той вере, что единственно права.

Я внял ему; теперь мне так понятны
Его слова, как твоему уму
В противоречье ложь и правда внятны.

Я стал ступать, как церковь; потому
И Бог меня отметил, мне внушая
Высокий труд; я предался ему,

Оружье Велисариию вверяя,
Которого Господь в боях вознес,
От ратных дел меня освобождая.

Таков ответ на первый твой вопрос,
Но надо, чтоб, об этом повествуя,
Еще немного слов я произнес,

Всю правоту тебе живописуя
Тех, кто подвигся на священный стяг,
Его присвоив или с ним враждуя.

Взгляни, каким величьем всякий шаг
Его сиял; чтоб он владел державой,
Паллант всех прежде кровию иссяк.

Ты знаешь, как он в Альбе величавой
Три века ждал, чтоб на ее полях
Три против трех вступили в бой кровавый;

И что он сделал при семи царях,
От скорби жен сабинских до печали
Лукреции, в соседях сея страх;

Что сделал он, когда его вздымали
На Бренна и на Пирра и подряд
Властителей и веча покоряли,—

За что косматый Квинций, и Торкват,
И Деции, и Фабии доньне
Прославлены, и я почтить их рад.

Он ниспроверг арабов в их гордыне,
Вслед Ганнибалу миновавших склон,
Откуда, По, ты держишь путь к равнине.

Он видел, как Помпей и Сципион
Повиты юной славой и крушима
Вершина, под которой ты рожден.

Пока то время близилось незримо,
Когда свой облик твердь земле дала,
Им Цезарь овладел, по воле Рима.

От Вара к Рейну про его дела
Спроси волну Изары, Эры, Сенны
И всех долин, что Рона приняла.

А что он сделал, выйдя из Равенны
И минув Рубикон,— то был полет,
Ни словом, ни пером не изреченный.

Он двинул на Испанию поход;
Затем к Дураццо; и в Фарсал вонзился,
Исторгнув стон у жарких Нильских вод;

Антандр и Симоэнт, где встарь гнезвился,
Увидел вновь, и Гекторов курган,
И вновь, на горе Птолемею, взвился.

На Юбу пал, как грозовой таран,
И вновь пошел на запад ваш, где к брани
Опять взымали трубы помпеян.

О том, чем был он в следующей длани,
Брут лает с Кассием в Аду, скорбят
Перузий с Мутиной, полны стенований.

И до сих пор отчаяньем объят
Дух Клеопатры, спасшейся напрасно,
Чтоб смерть ей дал змеинный черный яд.

Он долетел туда, где море красно;
Он подарил земле такой покой,
Что Янов храм был заперт повсечасно.

Но всё, что стяг, превозносимый мной,
Свершил дотоле и свершил в грядущем
Для подданной ему страны земной,—

Мрак и ничто, когда умом нелгушим
И ясным оком взглянем на него
При третьем кесаре, его несущем.

Живая Правда в длани у того
Ему внушила славный долг — сурово
Исполнить мщенье гнева своего.

Теперь дивись, мое услышав слово:
Он с Титом вновь пошел и отомстил
За отомщение греха бывшего.

Когда же лангобардский зуб язвил
Святую церковь, под его крылами
Великий Карл, разя, ее укрыл.

Суди же сам о тех, кто с их грехами
Помянут мной, суди об их делах,
Первопричине всех несчастий с вами.

Тот — всенародный стяг втоптал во прах
Для желтых лилий, тот — себе присвоил;
Чей хуже грех — не взвесишь на весах.

Уж пусть бы гибеллин себе устроил
Особый стяг! А этот — не для тех,
Кто справедливость и его — раздвоил!

И гвельфам нет надежды на успех
С их новым Карлом; львы крупной ходили,
А эти когти с них сдирали мех!

Уже нередко дети слезы лили
За грех отца; и люди пусть не ждут,
Что Бог покинет герб свой ради лилий!

А эта малая звезда — приют
Тех душ, которые, стяжать желая
Хвалу и честь, несли усердный труд.

И если цель желаний — лишь такая
И верная дорога им чужда,
То к небу луч любви восходит, тая.

Но в том — часть нашей радости, что мзда
Нам по заслугам нашим воздается,
Не меньше и не больше никогда

И в этом так отрадно познается
Живая Правда, что вовеки взор
К какому-либо злу не обернется.

Различьем звуков гармоничен хор;
Различье высей в нашей жизни ясной —
Гармонией наполнило простор.

И здесь внутри жемчужины прекрасной
Сияет свет Ромео¹, чьи труды
Награждены неправдой столь ужасной.

Но провансальцам горестны плоды
Их происков; и тот вкусит мытарства,
Кому чужая доблесть злей беды.

Рамондо Берингьер четыре царства
Дал дочерям; а ведал этим всем
Ромео, скромный странник, враг коварства.

И всё же, наущенный кое-кем,
О нем, безвинном, он повел дознание;
Тот на десять представил пять и семь,

¹ Легенда рассказывает, что бедный паломник *Ромео*, придя ко двору графа Прованского, привел в порядок его дела, приумножил его богатства, выдал его дочерей за четырех королей, но, оговоренный завистниками, покинул двор нищим странником; граф казнил клеветников,

И, нищ и древен, сам ушел в изгнание;
Знай только мир, что в сердце он таил,
За кусом кус прося на пропитанье,—

Его хваля, он громче бы хвалил!»

ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ

«Osanna, sanctus Deus sabaoth,
Superillustrans claritate tua
Felices ignes horum malacoth!»¹

Так видел я поющей сущность ту
И как она под свой напев поплыла,
Двойного света движа красоту.

Она себя с другими в пляске слила,
И, словно стаю мчащихся огней,
Внезапное пространство их укрыло.

Колеблясь, я: «Скажи, скажи же ей,—
Твердил себе.— Ты, жаждой опаленный,
Скажи об этом госпоже твоей!»

Но даже в БЕ и в ИЧЕ приученный
Святыню чтить, я, голову клоня,
Поник, как человек в истоме сонной.

Она, таким не потерпев меня,
Сказала, улыбнувшись мне так чудно,
Что счастлив будешь посреди огня:

«Как я сужу,— а мне понять нетрудно,—
Ты тем смущен, что праведная месть
Быть может отомщенной правосудно.

Твои сомненья мне легко расплесть;
А ты внимай, и то, чего не ведал,
В моих словах ты будешь рад обресть.

¹ «Слався, святой Бог воинств, сверхозаряющий ясностью твоею счастливые огни этих царств!» (лат., др.-евр.) — гимн.

За то, что тот, кто не родился, не дал
Связать свой произвол, себе на зло,—
Прокляв себя, он всех проклятью предал;

И человечество больным слегло
На долгие века во тьме растленной,
Пока Господне Слово не сошло

В мир, где природу, от Творца вселенной,
Отпавшую, оно слило с собой
Могуществом Любви неизреченной.

На то, что я скажу, глаза открой!
Была природа эта, с ним слитая,
Как в миг создання, чистой и благой;

Но всё же — тою, что обитель Рая
Утратила, в преступной слепоте
Путь истины и жизни презирая.

Поэтому и кара на кресте,
Свершаясь над природой восприятой,
Была превыше всех по правоте;

Но также и несправеднейшей платой,
Когда мы взглянем, с чьим лицом слилась
Природа эта и кто был распятый.

Так эта смерть, в последствиях делясь,
И Бога, и евреев утолила:
Раскрылось небо, и земля встряслась.

И я тебе отныне разъяснила,
Как справедливость праведным судом
За праведное мщение отомстила.

Но только вновь твой ум таким узлом,
За мыслью мысль, обвился многократно,
Что ждет свободы и томится в нем.

Ты говоришь: «Мне это всё понятно;
Но почему Господь для нас избрал
Лишь этот путь спасенья, мне невнятно».

Никто из тех, мой брат, не проникал
Очами в тайну этого решения,
Чей дух в огне любви не возмужал.

Здесь многие пытаются силу зренья,
Но различают мало; потому
Скажу, чем вызван этот путь спасенья.

Господня благость, отменяя тьму,
Горит в самой себе и так искрится,
Что вечные красоты льет всему.

Всё то, что прямо от нее струится,
Пребудет вечно, ибо не пройдет
Ее печать, когда она ложится.

Всё то, что прямо от нее течет,
Всецело вольно, ибо то свободно,
Что новых сил не ощущает гнет.

Что ей сродни, то больше ей угодно;
Священный жар, повсюду излучен,
Живее в том, что более с ним сходно.

И человек всем этим наделен;
Но при утрате хоть единой доли
Он благородства своего лишен.

Один лишь грех его лишает воли,
Лишая сходства с Истинным Добром,
Которым он не озаряем боле.

Низверженный в достоинстве своем,
Он встать не может, не восполнив счета
Возмездием за наслажденье злом.

Природа ваша, согрешая tota¹
В своем зерне, утратила, упав,
Свои дары и райские ворота;

И не могла вернуть старинных прав,
Как строгое покажет рассужденье,
Тот или этот брод не миновал:

¹ «Вся» (лат.).

Иль чтоб Господь ей даровал прощенье
Из милости; иль чтобы смертный сам
Мог искупить свое грехопаденье.

Теперь направь глаза ко глубинам
Предвечного совета и вниманьем
Усиленно прильни к моим словам!

Сам человек достойным воздаяньем
Спасти себя не мог, лишенный сил
Принизиться настолько послушаньем,

Насколько вознестись, ослушный, мнил;
Вот почему своими он делами
Себя бы никогда не искупил.

Был должен Бог, раз не могли вы сами,
К всецелой жизни возвратить людей,
Будь то одним, будь то двумя путями.

Но делателю дело тем милей,
Чем более, из сердца источая,
В него вложил он благодати своей;

И благодать Божья, в мире разлитая,
Тем и другим направилась путем,
Вас к прежним высям вознести желая.

Между последней тьмой и первым днем
Величественней не было деянья
И не свершится впредь ни на одном.

Бог, снизошедший до самоотданья,
Щедрее вам помог себя спасти,
Чем милостью простого оправданья;

И были бы закрыты все пути
Для правосудья, если б сын Господень
Не принял униженья во плоти.

Чтоб ты от всех сомнений был свободен,
Добавлю поясненье, и тогда
Ты зоркостью со мною станешь сходен.

Ты говоришь: «И пламя, и вода,
И воздух, и земля, и их смешенья,
Придя в истленье, гибнут без следа.

А это ведь, однако же, творенья!
И если речь твоя была верна,
Им надо быть избавленным от тленья».

Брат! Ангелы и чистая страна,
Где ты сейчас,— я так бы изложила,—
В их совершенстве созданы сполна.

А те стихии, что ты назвал было,
И сложенное ими естество
Образовала созданная сила.

Сотворены само их вещество
И сила тех творящих излучений,
Что льют светила, движась вокруг него.

Душа животных и душа растений
Из свойственной среды извлечены
Лучами и движеньем звездной сени.

А ваши жизни в вас вдохновлены
Всевышней благостью и к ней всецело,
В нее влюбленные, устремлены.

На этом основать ты можешь смело
И ваше воскресенье, если ты
Припомнишь, как творилось ваше тело

В творенье прародительской четы».

ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ

В погибшем мире веровать привыкли,
Что излученья буйной страсти льет
Киприда, движась в третьем эпицикле;

И воздавал не только ей почет
Обетов, жертв и песенного звона
В былом неведенье былой народ,

Но чтились вместе с ней, как мать — Диона,
И Купидон — как сын; и басня шла,
Что на руки его брала Дидона.

Той, кем я начал, названа была
Звезда, которая взирает страстно
На солнце то вдогонку, то с чела.

Как мы туда взлетели, мне неясно;
Но что мы — в ней, уверило меня
Лицо вожатой, став вдвойне прекрасно.

Как различимы искры средь огня
Иль голос в голосе, когда в движенье
Придет второй, а первый ждет, звеня,

Так в этом свете видел я круженье
Других светил, и разный бег их мчал,
Как, верно, разное вечное их зренье.

От мерзлой тучи ветер не слетал
Настолько быстрый, зримый иль незримый,
Чтоб он не показался тих и вял

В сравненье с тем, как были к нам стремимы
Святые светы, покидая пляс,
Возникший там, где реют серафимы.

Из глубины тех, кто был вблизи от нас,
«Осанна» так звучала, что томился
По этим звукам я с тех пор не раз.

Потом один от прочих отделился
И начал так: «Мы все служить тебе
Спешим, чтоб ты о нас возвеселился.

В одном кругу, круженье и алчбе
Наш сонм с чредой Начал небесных мчится,
Которым ты сказал, в земной судьбе:

«Вы, чьей заботой третья твердь кружится»;
Мы так полны любви, что для тебя
Нам будет сладко и остановиться».

Мои глаза доверили себя
Глазам владычицы и, их ответом
Сомнение и робость истребя,

Вновь утолились этим щедрым светом,
И я: «Скажи мне, кто вы», — произнес,
Замкнув большое чувство в слове этом.

Как в мощи и в объеме он возрос
От радости, — чья сила умножала
Былую радость, — слыша мой вопрос!

И, став таким, он ¹ мне сказал: «Я мало
Жил в дольном мире; будь мой век продлен,
То многих бы грядущих зол не стало.

Я от тебя весельем утаен,
В лучах его сиянья незаметный,
Как червячок средь шелковых пелен.

Меня любил ты, с нежностью не тщетной:
Будь я в том мире, ты бы увидел
Не только лишь листву любви ответной.

Тот левый берег, где свой быстрый вал
Проносит, смешанная с Соргой, Рона,
Господства моего в грядущем ждал;

Ждал рог авзонский, где стоят Катона,
Гаэта, Бари, замкнуты в предел
От Верде к Тронто до морского лона.

И на челе моем уже блестел
Венец земли, где льется ток Дуная,
Когда в немецких долах отшумел;

Прекрасная Тринакрия, — вдоль края,
Где от Пахина уперся в Пелор
Залив, под Эвром стонущий, мглистая

¹ Речь идет о Карле Мартелле, старшем сыне Карла II Анжуйского. Далее упоминается: его тесть император *Рудольф I* и мл. брат, неразумный и жадный Роберт.

Не от Тифея, а от серных гор, —
Ждала бы государей, мной рожденных
От Карла и Рудольфа, до сих пор,

Когда бы произвол, для угнетенных
Мучительный, Палермо не увлек
Вскричать: «Бей, бей!» — восстав на беззаконных.

И если бы мой брат предвидеть мог,
Он с каталонской жадной нищетою
Расстался бы, чтоб избежать тревог;

Ему пора бы, к своему покою,
Иль хоть другим, его груженный струг
Не загружать поклажею двойною:

Раз он, сын щедрого, на щедрость туг,
Ему хоть слуг иметь бы надлежало,
Которые не жадны класть в сундук».

«То ликованье, что во мне взыграло
От слов твоих, о господин мой, там,
Где всяких благ скончанье и начало,

Ты видишь, верю, как я вижу сам;
Оно мне тем милей и тем дороже,
Что зримо вникшим в божество глазам.

Ты дал мне радость, дай мне ясность тоже;
Я тем смущен, услышав отзыв твой,
Что сладкое зерно столь горьким всхоже».

Так я; и он: «Вняв истине одной,
К тому, чем вызвано твое сомненье,
Ты станешь грудью, как стоишь спиной.

Тот, кто приводит в счастье и вращенье
Мир, где ты всходишь, в недрах этих тел
Преображает в силу провиденье.

Не только бытие предусмотрел
Для всех природ всесовершенный Разум,
Но вместе с ним и лучший их удел.

И этот лук, стреляя раз за разом,
Бьет точно, как предвидено стрельцом,
И как бы направляем метким глазом.

Будь иначе, твердь на пути твоём
Такие действия произвела бы,
Что был бы вместо творчества — разгром;

А это означало бы, что слабы
Умы, вращающие сонм светил,
И тот, чья мудрость их питать должна бы.

Ты хочешь, чтоб я ближе разъяснил?»
И я: «Не надо. Мыслить безрассудно,
Чтоб нужный труд природу утомил».

И он опять: «Скажи, мир жил бы скудно,
Не будь согражданином человек?»
«Да,— молвил я,— что доказать нетрудно».

«А им он был бы, если б не прибег
Для разных дел к многообразию званий?
Нет, если правду ваш мудрец изрек».

И, в выводах дойдя до этой грани,
Он заключил: «Отсюда — испокон
Различны корни ваших содеяний:

В одном родится Ксеркс, в другом — Солон,
В ином — Мельхиседек, в ином — родитель
Того, кто пал, на крыльях вознесен¹.

Круговорот природы, впечатлитель
Мирского воска, свой блюдет устав,
Но он не поглядит, где чья обитель.

Вот почему еще в зерне Исав
Несходен с Яковом, отец Квирина
Так низок, что у Марса больше прав.

¹ *Ксеркс* (перс. царь V в. до н. э.) — тип воителя; *Солон* (афин. законодатель VI в. до н. э.) — тип гос. деятеля; *Мельхиседек* (библ.) — тип церковника; *родитель того* (миф. Дедал) — тип ученого-изобретателя и художника. Далее упомин.: библ. братья-близнецы *Исав* и *Яков* и первый рим. царь *Квирин*, или Ромул.

Рожденная природа заедино
С рождающими шла бы их путем,
Когда б не сила Божьего почина.

Теперь ты к истине стоишь лицом.
Но чтоб ты знал, как мне с тобой отраднo,
Хочу, чтоб вывод был тебе плащом.

Природа, если к ней судьба нещадна,
Всегда, как и любой другой посев
На чуждой почве, смотрит неприглядно;

И если б мир, основы обозрев,
Внедренные природой, шел за нею,
Он стал бы лучше, в людях преуспев.

Вы тащите к церковному елею
Такого, кто родился меч нести,
А царство отдаете казнодею;

И так ваш след сбивается с пути».

ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ

Когда твой Карл, прекрасная Клеменца ¹,
Мне пролил свет, он, вскрыв мне, как вражда
Обманет некогда его младенца,

Сказал: «Молчи, и пусть кружат года!»
И я могу сказать лишь, что рыданья
Ждут тех, кто пожелает вам вреда.

И жизнь святого этого сиянья
Опять вернулась к Солнцу, им полна,
Как, в мере, им доступной, все создання.

Вы, чья душа греховна и темна,
Как от него вас сердце отвратило,
И голова к тщите обращена?

¹ *Клеменца* — дочь Карла Мартелла. Далее упоминается: *Куница* — сестра падуан. тирана Эдзелино IV, прославившаяся своим распутством, а на старости лет — своим милосердием, а также *пастырь* Алессандро Новелло, выдавший полит. противникам доверившихся ему людей, которые были затем казнены.

И вот ко мне еще одно светило
Приблизилось и, озарясь вовне,
Являло волю сделать, что мне мило.

Взор Беатриче, устремлен ко мне,
В том, что она с просимым согласилась,
Меня, как прежде, убедил вполне.

«Дай, чтобы то, чего хочу, свершилось,
Блаженный дух,— сказал я,— мне явив,
Что мысль моя в тебе отобразилась».

Свет, новый для меня, на мой призыв,
Из недр своих, пред тем звучащих славой,
Сказал, как тот, кто щедрым быть счастлив:

«В Италии, растленной и лукавой,
Есть область от Риальто до вершин,
Нистекших Brentой и нистекших Пьявой;

И там есть невысокий холм один,
Откуда факел снизошел, грозою
Кругом бушуя по лицу равнин.

Единог он корня был со мною;
Куницей я звалась и здесь горю,
Как этой побежденная звездою.

Но, в радости, себя я не корю
Такой моей судьбой, хоть речи эти
Я не для вашей черни говорю.

Об этом драгоценном самоцвете,
Всех ближе к нам, везде молва идет;
И прежде чем умолкнуть ей на свете,

Упятерится этот сотый год:
Тех, чьи дела величьем пресловуты,
Вторая жизнь вослед за первой ждет.

В наш век о ней не думает замкнутый
Меж Адиче и Тальяменто люд
И, хоть избит, не тужит ни минуты.

Но падуанцы вскорости нальют
Другой воды в Винченцское болото,
Затем что долг народы не блюдут.

А там, где в Силе впал Каньян, есть кто-то,
Владычащий с поднятой головой,
Кому уже готовятся тенета.

И Фельтро оросит еще слезой
Грех мерзостного пастыря, столь черный,
Что в Мальту не вступали за такой.

Под кровь феррарцев нужен чан просторный,
И, взвешивая, сколько унций в ней,
Устал бы, верно, весовщик упорный,

Когда свой дар любезный иерей
Преподнесет как честный враг крамолы;
Но этим там не удивишь людей.

Вверху есть зеркала (для вас — Престолы),
Откуда блещет нам судящий Бог;
И эти наши истины глаголы».

Она умолкла; и я видеть мог,
Что мысль она к другому обратила,
Затем что прежний круг ее увлек.

Другая радость, чье величье было
Мне ведомо, всплыла, озарена,
Как лал, в который солнце луч вонзило.

Вверху весельем яркость рождена,
Как здесь — улыбка; а внизу мрачнеет
Тем больше тень, чем больше мысль грустна.

«Бог видит всё, твое в нем зренье реет,—
Я молвил,— дух блаженный, и ничья
Мысль у тебя себя украсть не смеет.

Так что ж твой голос, небо напоя
Среди святых огней, чей хор кружится,
В шести крылах обличия тая,

Не даст моим желаньям утолиться?
Я упредить вопрос твой был бы рад,
Когда б, как ты в меня, в тебя мог влиться».

«Крупнейший дол, где волны бег свой мчат,—
Так отвечал он,— устремясь широко
Из моря, землю взявшего в обхват,

Меж розных берегов настоль глубоко
Уходит к солнцу, что, где прежде был
Край неба, там круг полдня видит око.

Я на побережье между Эбро жил
И Магрою, чей ток, уже у ската,
От Генуи Тоскану отделил.

Близки часы восхода и заката
В Буджее и в отечестве моем,
Согревшем кровью свой залив когда-то.

Среди людей, кому я был знаком,
Я звался Фолько¹; и как мной владело
Вот это небо, так я властен в нем;

Затем что не страстней была дочь Бела,
Сихея и Креусу оскорбив,
Чем я, пока пора не отлетела,

Ни Родопеянка, с которой лжив
Был Демофонт, ни сам неодолимый
Алкид, Иолу в сердце заключив.

Но здесь не скорбь, а радость обрели мы —
Не о грехе, который позабыт,
А об Уме, чьей мыслью мы хранимы.

¹ *Фолько* Марсельский — прованс. трубадур XIII в., который, став епископом, подверг жестоким гонениям еретич. движение народных масс Южной Франции. Далее упомин.: *дочь Бела* Дидона, своей любовью к Энею оскорбившая память своего мужа *Сихея* и жены Энея *Креусы*; *Родопеянка* — легендарная фракийск. царевна, повесившаяся, когда уехал ее жених, афин. царевич Демофонт; *Раава* — иерихон. блудница, которая, укрыв разведчиков Иисуса Навина, помогла ему взять Иерихон.

Здесь видят то искусство, что творит
С такой любовью, и глядят в Начало,
Чья благодсть к высям дольный мир стремится.

Но чтоб на всё, что мысль твоя желала
Знать в этой сфере, ты унес ответ,
Последовать и дальше мне пристало.

Ты хочешь знать, кто в этот блеск одет,
Которого близ нас сверкает слава,
Как солнечный в прозрачных водах свет.

Так знай, что в нем покоится Раава
И, с нашим сонмом соединена,
Его увенчивает величаво.

И в это небо, где заострена
Тень мира вашего, из душ всех ране
В Христовой славе принята она.

Достойно, чтоб она среди сияний
Одной из твердей знаменьем была
Победы, добытой поднятьем дланей,

Затем что Иисусу помогла
Прославиться в Земле Обетованной,
Мысль о которой папе не мила.

Твоя отчизна, стебель окаянный
Того, кто первый Богом пренебрег
И завистью наполнил мир пространный,

Растит и множит проклятый цветок,
Чьей прелестью с дороги овцы сбиты,
А пастырь волком стал в короткий срок.

С ним слово Божье и отцы забыты,
И отдан Декреталиям весь пыл,
Заметный в том, чем их поля покрыты.

Он папе мил и кардиналам мил;
Их ум не озабочен Назаретом,
Куда раскинул крылья Гавриил.

Но Ватикан и чтимые всем светом
Святыни Рима, где кладбище тех,
Кто пал, Петровым следуя заветам,

Избудут вскоре любодейный грех».

ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ

Взирая на божественного Сына,
Дыша Любовью вечной, как и тот,
Невыразимая Первопричина

Всё, что в пространстве и в уме течет,
Так стройно создала, что наслажденье
Невольно каждый, созерцая, пьет.

Так устремись со мной, читатель, зренье
К высоким дугам до узла того,
Где то и это встретилось движенье;

И полюбуйся там на мастерство
Художника, который, им плененный,
Очей не отрывает от него.

Взгляни, как там отходит круг наклонный,
Где движутся планеты и струят
Свой дар земле на зов исконный:

Когда бы не был этот путь покат,
Погибло бы небесных сил немало
И чуть не всё, чем дольный мир богат;

А если б их стезя положе стала
Иль круче, то премногого опять
Внизу бы и вверху недоставало.

Итак, читатель, не спеши вставать,
Подумай то, чего я здесь касался,
И восхитишься, не успев устать.

Тебе я подал, чтоб ты сам питался,
Затем что полностью владеет мной
Предмет, который описать я взялся.

Первослуга природы, мир земной
Запечатлевший силою небесной
И мерящий лучами час дневной,—

С узлом вышепомянутым совместный,
По тем извоям совершал свой ход,
Где он всё раньше льет нам свет чудесный.

И я был с ним, но самый этот взлет
Заметил лишь, как всякий замечает,
Что мысль пришла, когда она придет.

Так быстро Беатриче восхищает
От блага к лучшему, что ей вослед
Стремленье времени не поспевает.

Каким сияньем каждый был одет
Там, в недрах солнца, посещенных нами,
Раз отличает их не цвет, а свет!

Умом, искусством, нужными словами
Я беден, чтоб наглядный дать рассказ.
Пусть верят мне и жаждут видеть сами.

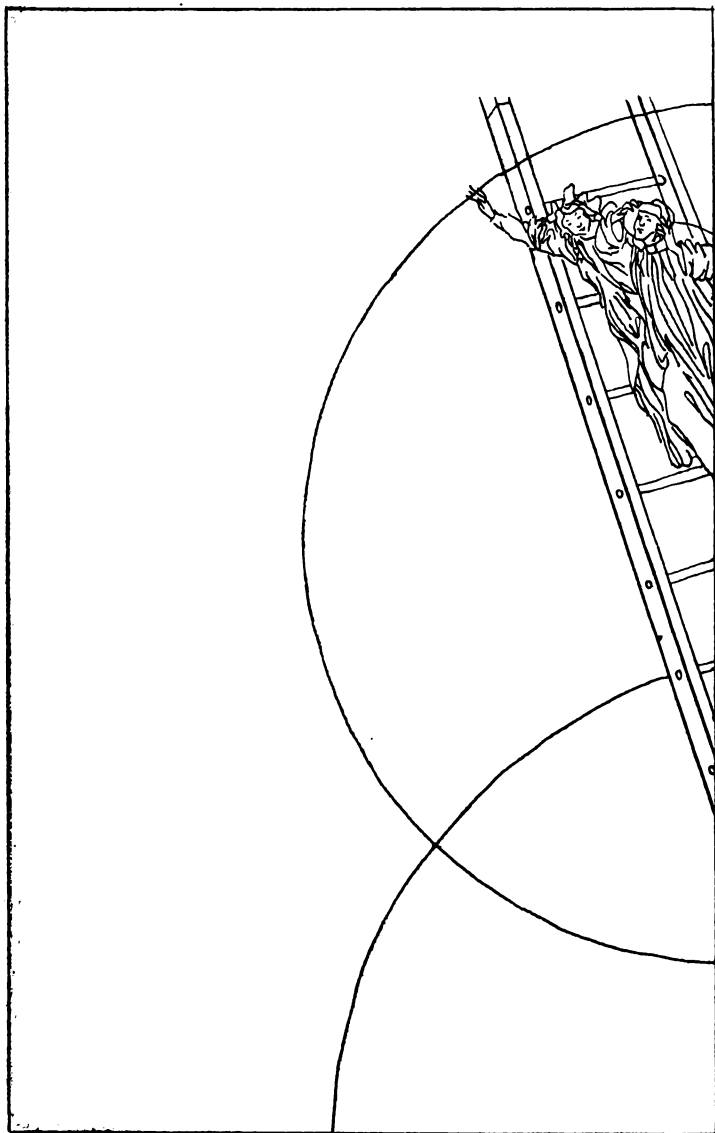
А что воображенье низко в нас
Для тех высот, дивиться вряд ли надо,
Затем что солнце есть предел для глаз.

Таков был блеск четвертого отряда
Семьи Отца, являющего ей
То, как он дышит и рождает чадо.

И Беатриче мне: «Благоговей
Пред Солнцем ангелов, до недр плотского
Тебя вознесшим милостью своей!»

Ничья душа не ведала такого
Святого рвенья и отдать свой пыл
Создателю так не была готова,

Как я, внимая, это ощутил;
И так моя любовь им поглощалась,
Что я о Беатриче позабыл.





Она, без гнева, только улыбалась,
Но так сверкала радость глаз святых,
Что целостная мысль моя распалась.

Я был средь блесков мощных и живых,
Обвивших нас венцом, и песнь их слаще
Еще была, чем светел облик их;

Так дочь Латоны иногда блестящий
Наденет пояс, и, огнем сквозя,
Он светится во мгле, его держащей.

В дворце небес, где шла моя стезя,
Есть много столь прекрасных самоцветов,
Что их из царства унести нельзя;

Таким вот было пенье этих светов;
И кто туда подняться не крылат,
Тот от негого должен ждать ответов.

Когда певучих солнц горящий ряд,
Нас, неподвижных, обогнув трикраты,
Как звезды, к остьям близкие, кружат,

Остановился, как среди баллаты,
Умолкнув, станет женщин череда
И ждет, чтоб отзвучал запев начатый,

В одном из них слышалось: «Когда
Луч милости, который возжигает
Неложную любовь, чтоб ей всегда

Расти с ним вместе, так в тебе сверкает,
Что вверх тебя ведет по ступеням,
С которых сшедший — вновь на них ступает,

Тот, кто твоим бы отказал устам
В своем вине, не больше бы свободен
Был, чем поток, не льющийся к морям.

Ты хочешь знать, какими благороден
Цветами наш венок, сплетенный тут
Вкруг той, кем ты введен в чертог Господень.

Я был одним из агнцев, что идут
За Домиником на пути богатым,
Где все, кто не собьется, тук найдут.

Тот, справа, был мне пестуном и братом;
Альбертом из Колоньи он звался,
А я звался Фомою Аквинатом ¹.

Чтоб наша вязь тебе предстала вся,
Внимай, венец блаженный озирая
И взор вослед моим словам неся.

Вот этот пламень льет, не угасая,
Улыбка Грациана, кем стоят
И тот, и этот суд, к отраде Рая.

Другой, чьи рядом с ним лучи горят,
Был тем Петром, который, как однажды
Вдовица, храму подарил свой клад.

Тот, пятый блеск, прекраснее, чем каждый
Из нас, любовью вдохновлен такой,
Что мир о нем услышать полон жажды.

В нем — мощный ум, столь дивный глубиной,
Что, если истина — не заблужденье,
Такой мудрец не восставал второй.

За ним ты видишь светоча горенье,
Который, во плоти, провидеть мог
Природу ангелов и их служенье.

Соседний с ним счастливый огонек —
Заступник христианских лет, который
И Августину некогда помог.

¹ Альберт фон Больштедт (1193—1280) — нем. богослов и философ, учитель *Фоми* Аквинского (1225—1274), философа и богослова, учение которого легло в основу наиболее реакц. течений в католицизме. Далее упоминаю: монах-правовед XII в. Франческо *Грациано*; богослов XII в. *Петр Ломбардский*; первый афин. епископ Дионисий Ареопагит (I в.) и др. богословы, философы, писатели и гос. деятели разных времен.

Теперь, вращая мысленные взоры
От света к свету вслед моим хвалам,
Ты, чтоб узнать восьмого, ждешь опоры.

Узрев всё благо, радуется там
Безгрешный дух, который лживость мира
Являет вявшему его словам.

Плоть, из которой он был изгнан, сирю
Лежит в Чельдору; сам же он из мук
И заточенья принят в царство мира.

За ним пылают, продолжая круг,
Исидор, Беда и Рикард с ним рядом,
Нечеловек в превысшей из наук.

Тот, вслед за кем ко мне вернешься взглядом,
Был ясный дух, который смерти ждал,
Отравленный раздумий горьким ядом:

То вечный свет Сигера, что читал
В Соломенном проулке в оны лета
И негодным правдам поучал».

И как часы зовут нас в час рассвета,
Когда невеста Божья, встав, поет
Песнь утра жениху и ждет привета,

И зубчик гонит зубчик и ведет,
И нежный звон «тинь-тинь» — такой блаженный,
Что дух наш полн любви, как спелый плод,—

Так предо мною хоровод священный
Вновь двинулся, и каждый голос в лад
Звучал другим, такой неизреченный,

Как может быть лишь в вечности услад.

ПЕСНЬ ОДИННАДЦАТАЯ

О, смертных безрассудные усилья!
Как скудоумен всякий силлогизм,
Который пригнетает ваши крылья!

Кто разбирал закон, кто — афоризм,
Кто к степеням священства шел ревниво,
Кто к власти чрез насилье иль софизм,

Кого манил разбой, кого — нажива,
Кто, в наслажденья тела погружен,
Изнемогал, а кто дремал лениво,

В то время как, от смуты отрешен,
Я с Беатриче в небесах далече
Такой великой славы был почтён.

Как только каждый прокружил до встречи
С той точкой круга, где он прежде был,
Все утвердились, как в светильнях свечи.

И светоч, что со мною говорил,
Вновь подал голос из своей середины
И, улыбаясь, ярче засветил:

«Как мне сияет луч его единый,
Так, вечным Светом очи напоя,
Твоих раздумий вижу я причины.

Ты ждешь, недоуменный, чтобы я
Тебе раскрыл пространней, чем вначале,
Дабы могла постичь их мысль твоя,

Мои слова, что «Тук найдут», и дале,
Где я сказал: «Не восставал второй»:
Здесь надо, чтоб мы строго различали.

Небесный промысл, правящий землей
С премудростью, в которой всякий бранный
Мутится взор, сраженный глубиной,

Дабы на зов любимого священный
Невеста жениха, который с ней
В стенаньях кровью обручен блаженной,

Уверенней спешила и верней,
Как в этом, так и в том руководима,
Определил ей в помощь двух вождей.

Один пылал пыланьем серафима;
В другом казалась мудрость так светла,
Что он блистал сияньем херувима.

Лишь одного прославлю я дела ¹,
Но чтит двоих речь об одном ведущий,
Затем что цель их общею была.

Промеж Тупино и водой, текущей
С Убальдом облюбovaných высот,
Горы высокой сходит склон цветущий

И на Перуджу зной и холод шлет
В Ворота Солнца; а за ним, стеная,
Ночера с Гвальдо терпят тяжкий гнет.

На этом склоне, там, где он, ломая,
Смягчает кручу, солнце в мир взшло,
Как всходит это, в Ганге возникая;

Чтоб это место имя обрело,
«Ашези» — слишком мало бы сказало;
Скажи «Восток», чтоб точно подошло.

Оно, хотя еще недавно встало,
Своей великой силой кое в чем
Уже земле заметно помогало.

Он юношей вступил в войну с отцом
За женщину, не призванную к счастью:
Ее, как смерть, впускать не любят в дом;

И, перед должною духовной властью
Et coram patre ² с нею обручась,
Любил ее, что день, то с большей страстью.

Она, супруга первого лишась,
Тысячелетье с лишним, в доле темной,
Вплоть до него любви не дождалась;

¹ Речь идет о Франциске Ассизском (1182—1226), основателе ордена миноритов (францисканцев). Далее упомин.: *Бернард, Эгидий, Сильвестр* — его ученики, а также папы *Иннокентий III* и *Гонорий III*, утвердившие устав ордена.

² «Перед отцом» (лат.).

Хоть ведали, что в хижине укромной,
Где жил Амикл, не дрогнула она
Пред тем, кого страшился мир огромный,

И так была отважна и верна,
Что, где Мария ждать внизу осталась,
К Христу на крест взошла рыдать одна.

Но, чтоб не скрытной речь моя казалась,
Знай, что Франциском этот был жених
И Нищетою невеста называлась.

При виде счастья и согласия их,
Любовь, умильный взгляд и удивленья
Рождали много помыслов святых.

Бернарда первым обуяло рвенье,
И он, разутый, вслед спеша, был рад
Столь дивное настичь упокоенье.

О, дар обильный, о, безвестный клад!
Эгидий бос, и бос Сильвестр, ступая
Вслед жениху; так дева манит взгляд!

Отец и пестун из родного края
Уходит с нею, теми окружен,
Чей стан уже стянула вервь простая;

Вежд не потупив оттого, что он —
Сын Пьетро Бернардоне и по платью
И по лицу к презреннейшим причтен,

Он царственно всё то, что движет братью,
Раскрыл пред Иннокентием, и тот
Устав скрепил им первою печатью.

Когда разросся бедненький народ
Вокруг того, чья жизнь столь знаменита,
Что славу ей лишь небо воспоет,

Дух повелел, чтоб вновь была повита
Короной, из Гонориевых рук,
Святая воля их архимандрита.

Когда же он, томимый жаждой мук,
Перед лицом надменного султана
Христа восславил и Христовых слуг,

Но увидал, что учит слишком рано
Незрелых, и вернулся, чтоб во зле
Не чахла итальянская поляна,—

На Тибр и Арно рознящей скале
Приняв Христа последние печати,
Он их носил два года на земле.

Когда даритель столькой благодати
Вознес того, кто захотел таким
Смирненным быть, к им заслуженной плате,

Он братьям, как наследникам своим,
Возлюбленную поручил всецело,
Хранить ей верность завещая им;

Единственно из рук ее хотела
Его душа в чертог свой отойти,
Иного гроба не избрав для тела.

Суди ж, каков был тот, кто с ним вести
Достоин был вдвоем ладью Петрову
Средь волн морских по верному пути!

Он нашей братьи положил основу;
И тот, как видишь, грузит добрый груз,
Кто с ним идет, его послушный слову.

Но у овец его явился кус
К другому корму, и для них надёжней
Отыскивать вразброд запретный кус.

И чем ослушней и неосторожней
Их стадо разбредется, кто куда,
Тем у вернувшихся сосцы порожней.

Есть и такие, что, боясь вреда,
Теснятся к пастуху; но их так мало,
Что холст для ряс в запасе есть всегда.

И если внятно речь моя звучала
И ты вослед ей со вниманьем шел
И помнишь то, что я сказал сначала,

Ты часть искомого теперь обрел;
Ты видишь, как на щепки ствол сечется
И почему я оговорку ввел:

«Где тук найдут все те, кто не собьется».

ПЕСНЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

Едва последнее промолвил слово
Благословенный пламенник, как вдруг
Священный жернов закружился снова;

И, прежде чем он сделал полный круг,
Другой его замкнул, вовне сплетенный,
Сливая с шагом шаг, со звуком звук,

Звук столь певучих труб, что, с ним сравненный,
Земных сирен и муз не ярче звон,
Чем рядом с первым блеском — отраженный.

Как средь прозрачных облачных пелен
Над луком лук соцветный и сокружный
Посланицей Юоны вознесен,

И образован внутренним наружный,
Похож на голос той, чье тело страсть,
Как солнце — мглу, сожгла тоской недужной,

И предрекать дается людям власть,—
Согласно с Божьим обещаньем Ною,—
Что вновь на мир потопу не ниспасть,

Так вечных роз гирляндою двойною
Я окружен был с госпожой моей,
И внешняя скликалась с основною.

Когда же пляску и, совместно с ней,
Торжественное пенье и пыланье
Приветливых и радостных огней

Остановило слитное желанье,
Как у очей совместное всегда
Бывает размыканье и смыканье,—

В одном из новых пламеней тогда
Раздался голос, взор мой понуждая
Оборотиться, как иглу звезда,

И начал так: «Любовь, во мне сияя,
Мне речь внушает о другом вожде¹,
Как о моем была здесь речь благая.

Им подобает вместе быть везде,
Чтоб нераздельно слава озаряла
Объединенных в боевом труде.

Христова рать, хотя мечи достала
Такой ценой, медлива и робка
За стягом шла, и ратных было мало,

Когда царящий вечные века,
По милости, не в воздаянье чести,
Смутившиеся выручил войска,

Послав, как сказано, своей невесте
Двух воинов, чье дело, чьи слова
Рассеянный народ собрали вместе.

В той стороне, откуда дерева
Живит Зефир, отрадный для природы,
Чтоб вновь Европу облекла листва,

Близ берега, в который бьются воды,
Где солнце, долго идя на закат,
Порою покидает все народы,

Есть Каларога, благодатный град,
Хранительным щитом обороненный,
В котором лев принижен и подъят.

¹ Речь идет о Доминике (1170—1221), основателе ордена проповедников (доминиканцев).

И в нем родился этот друг влюбленный
Христовой веры, поборатель зла,
Благой к своим, с врагами непреклонный.

Чуть создана, душа его была
Полна столь мощных сил, что, им чревата,
Пророчествовать мать его могла.

Когда у струй, чье омовенье свято,
Брак между ним и верой был свершен,
Взаимным благом их даря богато,

То восприемнице приснился сон,
Какое чудное исполнить дело
Он с верными своими вдохновлен.

И, чтобы имя суть запечатлело,
Отсюда мысль сошла его наречь
Тому подвластным, чьим он был всецело.

Он назван был Господним; строя речь,
Сравню его с садовником Христовым,
Который призван сад его беречь.

Он был посланцем и слугой Христовым,
И первый взор любви, что он возвел,
Был к первым наставлениям Христовым.

В младенчестве своем на жесткий пол
Он, бодрствуя, ложился, молчаливый,
Как бы твердя: «Я для того пришел».

Вот чей отец воистину Счастливый!
Вот чья воистину Иоанна мать,
Когда истолкования правдивы!

Не ради благ, манящих продолжать
Нелегкий путь Остийца и Фаддея¹,
Успел он много в малый срок познать,

¹ *Остиец* — кардинал Энрико ди Суза, комментатор Декреталий;
Фаддей — либо знаменитый врач, либо юрист времен Данте.

Но лишь о манне истинной радея;
И обходил дозором вертоград,
Чтоб он, в забросе, не зачах, седея;

И у престола, что во много крат
Когда-то к истым бедным был добрее,
В чем выродок воссевший виноват,

Не назначенья в должность поскорее,
Не льготу — два иль три считать за шесть,
Не decimas, quae sunt рацрегum Dei¹,

Он испросил; но право бой повесть
С заблудшими за то зерно, чьих кринов
Двенадцать чет пришли тебя оплесть.

Потом, познанья вместе с волей двинув,
Он выступил апостольским послом,
Себя как мощный водопад низринув

И потрясая на пути своем
Дебрь лжеученья, там сильней бурливый,
Где был сильней отпор, чинимый злом.

И от него пошли ручьев разливы,
Чьей влагою вселенский сад возрос,
Где деревца поэтому так живы.

Раз таково одно из двух колес
Той колесницы, на которой билась
Святая церковь средь усобных гроз,—

Тебе, наверно, полностью открылась
Вся мощь второго, чья святая цель
Здесь до меня Фомой перевозносилась.

Но след, который резала досель
Его окружность, брошен в дни упадка,
И винный камень заменила цвель.

Державшиеся прежде отпечатка
Его шагов свернули до того,
Что ставится на место пальцев пятка.

¹ «Десятины, которые принадлежат нищим Божиим» (лат.); десятина — обязательный налог в пользу церкви.

И явит в скором времени жнитво,
Как плох был труд, когда сорняк взрывает,
Что житница закрыта для него.

Конечно, кто подряд перелистает
Всю нашу книгу, встретит и листок,
Гласящий: «Я таков, как подобает».

Не в Акваспарте он возникнуть мог
И не в Касале¹, где твердят открыто,
Что слишком слаб устав иль слишком строг.

Я жизнь Бонавентуры, минорита
Из Баньореджо; мне мой труд был свят,
И всё, что слева, было мной забыто.

Здесь Августин, и здесь Иллюминат,
Из первых меж босыми бедняками,
Которым Бог, с их вервием, был рад.

Гугон святого Виктора меж нами,
И Петр Едок, и Петр Испанский тут,
Что сквозь двенадцать книг горит лучами;

Нафан-пророк, и тот, кого зовут
Золотоустым, и Ансельм с Донатом,
К начатку знаний приложившим труд;

А там — Рабан; а здесь, в двенадцатом
Огне, сияет вещей Иоахим,
Который был в Калабрии аббатом.

То брат Фома, любовью палим,
Завидовать такому паладину
Подвиг меня хвалением своим;

И эту вслед за мной подвиг дружину».

¹ Маттео *д'Акваспарта* — генерал франциск. ордена, внесший послабления в его устав; *Убертино да Касале* — глава «ревнителей», требовавших строжайшего устава. Далее упомин.: *Бонавентура* — богослов, генерал франциск. ордена; *Августин* и *Иллюминат* — одни из первых последователей Франциска; *Гугон*, *Петр Едок*, *Иоанн Златоуст* и др. богословы, философы и писатели.

ПЕСНЬ ТРИНАДЦАТАЯ

Пусть тот, кто хочет знать, что мне предстало,
Вообразит (и образ, внемля мне,
Пусть держит так, как бы скала держала)

Пятнадцать звезд, горящих в вышине
Таким огнем, что он нам блещет в очи,
Любую мглу преодолев извне;

Вообразит тот Воз, что дни и ночи
На нашем небе вольно колесит
И от круженья дышла — не короче;

И устье рога пусть вообразит,
Направленного от иглы устоя,
Вокруг которой первый круг скользит;

И что они, два знака в небе строя,
Как тот, который, чуя смертный хлад,
Сплела в былые годы дочь Миноя,

Свои лучи друг в друге единят,
И эти знаки, преданы вращенью,
Идут — один вперед, другой назад, —

И перед ним возникнет смутной тенью
Созвездие, чей светлый хоровод
Меня обвинил своей двойною сенью,

С которой всё, что опыт нам несет,
Так несравнимо, как течение Къяны
С той сферою, что всех быстрее течет.

Не Вакх там воспевался, не пеаны,
Но в божеской природе три лица
И как она и смертная слияны.

Умолкнув, оба замерли венца
И устремили к нам свое сиянье,
И вновь их счастьем не было конца.

В содружестве божеств прервал молчанье
Тот свет, из чьих я слышал тайников
О Божьем нищем чудное сказанье,

И молвил: «Раз один из двух снопов
Смолочен и зерно лежать осталось,
Я и второй обмолотить готов.

Ты думаешь, что в грудь, откуда бралось
Ребро, чтоб вышла нежная щека,
Чье небо миру дорого досталось,

И в ту, которая на все века,
Пронзенная, так много искупила,
Что стала всякая вина легка,

Весь свет, вместить который можно было
Природе человеческой, влила
Создавшая и ту и эту сила;

И странной речь моя тебе была,
Что равного не ведала второго
Душа, чья благодать в пятый блеск вошла.

Вняв мой ответ, поймешь, что это слово
С тем, что ты думал, точно совпадет,
И средоточья в круге нет другого.

Всё, что умрет, и всё, что не умрет,—
Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий
Своей Любовью бытие дает;

Затем что животворный Свет, идущий
От Светодавца и единый с ним,
Как и с Любовью, третьей с ними сущей,

Струит лучи волеием своим
На девять сущностей, как на зеркала,
И вечно остается неделим;

Оттуда сходит в низшие начала,
Из круга в круг, и под конец творит
Случайное и длящееся мало;

Я под случайным мыслю всякий вид
Созданий, всё, что небосвод кружащий
Чрез семя и без семени плодит.

Их воск изменчив, наравне с творящей
Его средой, и потому чекан
Дает то смутный оттиск, то блестящий.

Вот почему, при схожести семян,
Бывает качество плодов неравно,
И разный ум вам от рожденья дан.

Когда бы воск был вытоплен исправно
И натиск силы неба был прямой,
То блеск печати выступал бы явно.

Но естество его туманит мглой,
Как если б мастер проявлял уменье,
Но действовал дрожащею рукой.

Когда ж Любовь, расположив Прозренье,
Его печатью Силы нагнела,
То возникает высшее свершенье¹.

Так некогда земная персть могла
Стать совершеннее, чем всё живое;
Так приснодева в чреве понесла.

И в том ты прав, что естество земное
Не ведало носителей таких
И не изведает, как эти двое.

И если бы на этом я затих:
«Так чем его премудрость несравненна?» —
Гласило бы начало слов твоих.

Но чтоб открылось то, что сокровенно,
Помысли, кем он был и чем влеком,
Он, услышав: «Проси!» — молил смиренно.

Я выразил не темным языком,
Что он был царь, о разуме неложном
Просивший, чтобы истым быть царем;

¹ Речь идет о триедином божестве: Боге-отце (*Всемогущий, Светодавец, Сила*), Боге-сыне (*Мысль, Свет, Прозренье*) и Боге-духе (*Любовь*),

Не чтобы знать, в числе их непреложном,
Всех движителей; можно ль заключить
К *necesse* при *necesse*¹ и возможном;

И можно ль *gratum motum* допустить;
Иль треугольник в поле полукружья,
Но не прямоугольный, начертить.

Так вот и прежде речь клонил к тому ж я:
Я в царственную мудрость направлял,
Сказав про мудрость, острие оружья.

И ты, взглянув ясней на «восставал»,
Поймешь, что это значит — меж царями;
Их — множество, а круг хороших мал.

Вот, что моими сказано словами;
Их смысл с твоим сужденьем совместим
О праотце и о любимом нами.

Да будет то свинцом к стопам твоим,
Чтобы ты шел неспешно, как усталый,
И к «да», и к «нет», когда к ним путь незрим;

Затем что между шалых — самый шалый,
Кто утверждать берется наобум
Иль отрицать с оглядкой слишком малой.

Ведь очень часто торопливость дум
На ложный путь заводит безрассудно;
А там пристрастья связывают ум.

И хуже, чем напрасно, ладит судно
И не таким, как был, свершит возврат
Тот рыбарь правды, чье уменье скудно.

Примерами перед людьми стоят
Брис, Парменид, Мелисс² и остальные,
Которые блуждали наугад,

¹ «Необходимое». И далее — «первоначальный толчок» (лат.).

² *Брис*, *Парменид*, *Мелисс* — древнегреч. философы. Далее упо-
мин.: *Савелий* и *Арий* — ересиархи (III—IV вв.).

Савелий, Арий и глупцы иные,
Что были как мечи для Божьих книг
И искривляли лица их прямые.

Никто не думай, что он столь велик,
Чтобы судить; никто не числи жита,
Покуда колос в поле не поник.

Я видел, как угрюмо и сердито
Смотрел терновник, за зиму застыв,
Но миг — и роза на ветвях раскрыта;

Я видел, как, легок и горделив,
Бежал корабль далекою путиной
И погибал, уже входя в залив.

Пусть донна Берта или сэра Мартино,
Раз кто-то щедр, а кто-то любит красть,
О них не судят с Богом заедино;

Тот может встать, а этот может пасть».

ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В округлой чаше от каймы к середине
Спешит вода иль изнутри к кайме,
Смущенная извне иль в сердцевине.

Мне этот образ вдруг мелькнул в уме,
Когда умолкло славное светило
И Беатриче тотчас вслед Фоме

В таких словах начать благоволила,—
Настолько совершенно к их речам
Уподобленье это подходило:

«Он хочет, хоть и не открылся вам
Ни голосом, ни даже помышленьем,
В одной из истин снизойти к корням.

Скажите: свет, который стал цветеньем
Природы вашей, будет ли всегда
Вас окружать таким же излученьем?»

И если вечно будет, то, когда
Вы станете опять очами зримы,
Как зренью он не причинит вреда?»

Как, налетевшей радостью стремимы,
Те, кто крутится в пляске круговой,
Поют звончей и вновь неутомимы,

Так, при словах усердной просьбы той,
Живей сказалась душ святых отрада
Кружением и звуков красотой.

Кто сетует, что смерть изведать надо,
Чтоб в горних жить,— не знает, не вкусив,
Как вечного дождя сладка прохлада.

Единый, двое, трое, тот, кто жив
И правит вечно, в трех и в двух единый,
Всё, беспредельный, в свой предел вместив,

Трикратно был воспет святой дружиной
Тех духов, и напев так нежен был,
Что всем наградам мог бы стать вершиной.

И вскоре, в самом дивном из светил
Меньшого круга, голос благочестный,
Как, верно, ангел деве говорил,

Ответил так: «Доколе Рай небесный
Длит праздник свой, любовь, что в нас живет,
Лучится этой ризою чудесной.

Ее свеченье пылу вслед идет,
Пыл — зренью вслед, а зренье — до предела,
Который милость сверх заслуг дает.

Когда святое в новой славе тело
Нас облечет, то наше существо
Прекрасней станет, завершась всецело:

Окрепнет свет, которым божество
По благодати своей нас одарило,
Свет, нам дающий созерцать его;

И зрения тогда окрепнет сила,
Окрепнет пыл, берущий мощность в нем,
Окрепнет луч, рождаемый от пыла.

Но словно уголь, пышущий огнем,
Господствует над ним своим накалом,
Неодолим в сиянии своем,

Так пламень, нас обвивший покрывалом,
Слабее будет в зримости, чем плоть,
Укрытая сейчас могильным валом.

И этот свет не будет глаз колоть:
Орудья тела будут в меру сильны
Для всех услад, что нам пошлет Господь».

Казались оба хора так умильны,
Стремясь «Аминь!» проговорить скорей,
Что им был явно дорог прах могильный,—

Быть может, и не свой, а матерей,
Отцов и всех, любимых в мире этом
И ставших вечной чередой огней.

И вот кругом, сияя ровным светом,
Забрезжил блеск над окаймлявшим нас,
Подобный горизонту пред рассветом.

И как на небе в предвечерний час
Рождаются мерцанья, чуть блистая,
Которым верит и не верит глаз,

Я видел — новых бестелесных стая
Окрест меня сквозит со всех сторон,
Два прежних круга третьим окружая.

О Духа пламень истинный! Как он
Разросся вдруг, столь огнезарно ясно,
Что взгляд мой не стерпел и был сражен!

Но Беатриче так была прекрасна
И радостна, что это воссоздать
Мое воспоминание не властно.

В ней силу я нашел глаза поднять
И увидел, что вместе с ней мгновенно
Я в высшую вознесся благодать.

Что я поднялся, было несомненно,
Затем что глубь звезды, раскалена,
Смеялась рдяней, чем обыкновенно.

Всем сердцем, речью, что во всех одна,
Создателю свершил я всеожженье
За то, что эта милость мне дана;

Еще в груди не кончилось горенье
Творимой жертвы, как уже я знал,
Что Господу угодно приношенье;

Затем что сонм огней так ярко ал
Предстал мне в двух лучах, что, созерцая:
«О Гелиос, как дивно!» — я сказал.

Как, меньшими и бóльшими мерца
Огнями, Млечный Путь светло горит
Меж остий мира, мудрецов смущая,

Так в недрах Марса, звездами увит,
Из двух лучей слагался знак священный,
Который в рубежах квадрантов скрыт.

Здесь память победила разум бранный;
Затем что этот крест сверкал Христом
В красе, ни с чем на свете не сравненной.

Но взявший крест свой, чтоб идти с Христом,
Легко простит мне упущенья речи,
Узрев тот блеск, пылающий Христом.

Сияньем озарив и ствол, и плечи,
Стремилась пламена, искрясь сильней
При прохожденье мимо и при встрече.

Так, впрямь и вкривь, то тише, то быстрее,
Подобные изменчивому рою,
Крупинки тел, короче и длинней,

Плывут в луче, секущем полосую
Иной раз мрак, который, хоронясь,
Мы создаем искусною рукою.

Как струны арф и скрипок, единясь,
Звонят отрадным гудом неразымно
Для тех, кому невнятна в звуках связь,

Так в этих светах, блещущих взаимно,
Песнь вдоль креста столь дивная текла,
Что я пленился, хоть не понял гимна.

Что в нем звучит высокая хвала,
Я понял, слыша: «Для побед воскресни»,
Но речь невнятной разуму была.

Я так влюбился в голос этой песни,
И так он мной всецело овладел,
Что я вовек не ведал уз чудесней.

Мне скажут, что язык мой слишком смел
И я принизил очи заревые,
В которых всем мечтам моим предел;

Но взвесивший, что в высоте живые
Печати всех красот мощней царят,
А там я к ним поздней воззрел впервые,

Простит мне то, в чем я виниться рад,
Чтоб быть прощенным, и воздаст мне верой;
Святой восторг отсюда не изъят,

Затем что он всё чище с каждой сферой.

ПЕСНЬ ПЯТНАДЦАТАЯ

Сочувственная воля, истекая
Из праведной любви, как из дурной
И ненасытной истекает злая,

Прервала пенье лиры неземной,
Святые струны замиряя властно,
Настроенные вышнею рукою.

Возможно ль о благом просить напрасно
Те сущности, которые, чтоб дать
Мне попросить, умолкли так согласно?

По праву должен без конца страдать
Тот, кто, прельщен любовью недостойной,
Такой любви отринул благодать.

Как в воздухе прозрачном ночи знойной
Скользнет внезапный пламень иногда
И заставляет дрогнуть взор спокойный,

Как будто передвинулась звезда,
Хоть там, где вспыхнул он, светил держава
Цела, а сам он гаснет без следа,—

Так от плеча, простершегося вправо,
Скользнула вниз, вдоль по кресту нисшед,
Одна из звезд, чья там блистает слава.

И с ленты не сорвался самоцвет,
А в полосе луча промчался, светел,
Как блещущий за алебастром свет;

Так дух Анхиза страстно сына встретил,
В чем высшая нас уверяет муза,
Когда его в Элисии заметил.

«O sanguis meus, o superinfusa
Gratia Dei, sicut tibi cui
Bis unquam coeli ianua reclusa?»¹

Так этот свет; внимательно к нему я
Возвел глаза; потом возвел к моей
Владычице, и здесь, и там ликуя:

Столь радостен был блеск ее очей,
Что мне казалось — благодати Рая
Моим очам нельзя познать полней.

¹ «О кровь моя, о свыше излитая милость Божия, кому, как тебе, была когда-либо дважды открыта дверь неба?» (лат.)

А дух, мой слух и зренье услаждая,
Продолжил речь, но смысл был так глубок,
Что я ему внимал, не понимая.

Он не нарочно мглой себя облек,
А поневоле: взлет его суждений
Для цели смертных слишком был высок.

Когда же лук столь жарких изъявлений
Был вновь ослаблен, так что речь во всем
Сошла до нашей умственной мишени,

То сразу же я различил потом:
«Благословен в трех лицах совершенный,
Столь милостивый в семени моем!»

И дальше: «Голод давний и блаженный,
Той книгою великой данный мне,
Где белое и черное нетленны,

Ты в этом, сын мой, утолил огне,
Где говорю я, и да восхвалится
Та, что тебя возносит к вышине!

Ты веруешь, что мысль твоя стремится
Ко мне из Первой так, как пять иль шесть
Из единицы ведомой лучится;

И ты вопрос не хочешь произнести,
Кто я, который больше, чем вся стая
Счастливых духов, рад тебя обрести.

Ты в этой вере прав: здесь обитая,
Большой и малый в Зеркало глядят,
Где видима заране мысль любая.

Но чтоб любви, которой я объят,
Бессонно зрящий и всегда взволнован,
Как сладкой жаждой, не было преград,

Пусть голос твой, уверен, смел, нескован,
Мне явит волю, явит мне вопрос,
Которому ответ предуготован!»

Тогда я Беатриче взор вознес;
Та, слыша мысль, улыбкой отвечала,
И, окрыленный, мой порыв возрос.

Я начал так: «Вы — те, кому предстало
Все равенство; меж чувством и умом
Для вас неравновесия не стало;

Затем что в Солнце, светом и теплом
Вас озарившем и согревшем, оба
Вне всех подобий в равенстве своем.

Но мысль и воля в смертных жертвах гроба,
Чему ясна причина вам одним,
В своих крылах оперены особо;

И я, как смертный, свыкшийся с таким
Неравенством, творю благодаренье
За отчий праздник сердцем лишь своим.

Тебя молю я, в это украшеньё
Столь дивно вправленный топаз живой,
По имени твоём уйми томленьё».

«Листва моя, возлюбленная мной
Сквозь ожиданье,— так он, мне в угоду,
Ответ свой начал,— я был корень твой»¹.

Потом сказал мне: «Тот, кто имя роду
Дал твоему и кто сто с лишним лет
Идет горой по первому обводу,

Мне сыном был, а им рожден твой дед;
И надо, чтоб делами довременно
Ты снял с него томительный запрет.

Флоренция, меж древних стен, бессменно
Ей подающих время терц и нон²,
Жила спокойно, скромно и смиренно.

¹ Речь идет о Каччагвидо Альдигьеро, или Альгьеро, по имени которого его потомки стали называться Алигьери.

² Терца — девять часов утра; нона — полдень.

Не знала ни цепочек, ни корон,
Ни юбок с вышивкой, и поясочки
Не затмевали тех, кто обряжен.

Отцов, рождаясь, не страшили дочки,
Затем что и приданое, и срок
Не расходились дальше должной точки.

Пустых домов назвать никто не мог;
И не было еще Сарданапала,
Дабы явить, чем может стать чертог.

Еще не взнесся выше Монтемало
Ваш Птичий Холм, который победил
В подъеме и обгонит в час развала.

На Беллинчоне Берти пояс был
Ременный с костью; с зеркалом прощалась
Его жена, не наведя белил.

На Нерли и на Веккьо¹ красовалась
Простая кожа, без затей гола;
Рука их жен кудели не гнушалась.

Счастливицы! Всех верная ждала
Гробница, ни единая на ложе
Для Франции забыта не была.

Одна над люлькой вторила всё то же
На языке, который молодым
Отцам и матерям всего дороже.

Другая, пряжу прядучи, родным
И домочадцам речь вела часами
Про славу Трои, Фьезоле и Рим.

Казались бы Чангелла между нами
Иль Сальтерелло чудом дивных стран,
Как Квинций иль Корнелия — меж вами.

¹ *Берти*, *Нерли* и *Веккьо* — знатные флорентийцы. Далее упомин.: *Чангелла* — знатная вдова, отличавшаяся легкостью поведения; *Сальтерелло* — юрист и поэт, ведущий роскошный образ жизни; *Корнелия* — мать рим. народных трибунов Гракхов (II в. до н. э.), образец добродетельной женщины; *Куррадо* — герм. король Конрад III.

Такой прекрасный, мирный быт граждан,
В гражданственном живущих единенье,
Такой приют отрадный был мне дан

Марией, громко призванной в мученье;
И, в древнем вашем храме восприят,
Я Каччагвидой стал в святом крещенье.

Моронто — брат мне, Элизео — брат;
Супругу взял я из долины Падо;
Отсюда прозвище ее внучат.

Я следовал за кесарем Куррадо,
И мне он пояс рыцарский надел,
Затем что я служил ему, как надо.

С ним вышел я, как мститель злобных дел,
На тех, кто вашей вотчиной законной,
В чем пастыри повинны, завладел.

Там, племенем нечистым отрешенный,
Покинул я навеки лживый мир,
Где дух столь многих гибнет, загрязненный,

И после мук вкушаю этот мир».

ПЕСНЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ

О скудная вельможность нашей крови!
Тому, что гордость ты внушаешь нам
Здесь, где упадок истинной любви,

Вовек не удивлюсь; затем что там,
Где суетою дух не озабочен,
Я мыслю — в небе, горд был этим сам.

Однако плащ твой быстро укорочен;
И если, день за днем, не добавлять,
Он ножницами времени подточен.

На «вы», как в Риме стали величать,
Хоть их привычка остается зыбкой,
Повел я речь, заговорив опять;

Что́ Беатриче, в стороне, улыбкой
Отметила, как кашель у другой
Был порожден Джиневриной ошибкой.

Я начал так: «Вы — прародитель мой;
Вы мне даете говорить вам смело;
Вы дали мне стать больше, чем собой.

Чрез столько устий радость овладела
Моим умом, что он едва несет
Ее в себе, счастливый до предела.

Скажите мне, мой корень и оплот,
Кто были ваши предки и который
В рожденье ваше помечался год;

Скажите, велика ль была в те поры
Овчарня Иоаннова и в ней
Какие семьи привлекали взоры».

Как уголь на ветру горит сильнее,
Так этот светоч вспыхнул блеском ясным,
Внимая речи ласковой моей;

И как для глаз он стал вдвойне прекрасным,
Так он еще нежней заговорил,
Но не наречьем нашим повсечасным:

«С тех пор, как «Ave» ангел возвестил,
По день, как матью, теперь святою,
Я, плод ее, подарен свету был,

Вот этот пламень, должной чередою,
Пятьсот и пятьдесят и тридцать крат
Зажегся вновь под Львиною пятою.

Дома, где род наш жил спокон, стоят
В том месте, где у вас из лета в лето
В последний округ всадники спешат.

О прадедах моих скажу лишь это;
Откуда вышли и как звали их,
Не подобает мне давать ответа.

От Марса к Иоанну, счет таких,
Которые могли служить в дружине,
Был пятой долей нынешних живых.

Но кровь, чей цвет от примеси Феггине,
И Кампи, и Чертальдо помутнел,
Была чиста в любом простолюдине.

О, лучше бы ваш город их имел
Соседями и приходился рядом
С Галлуццо и Треспяно ваш предел,

Чем чтобы с вами жил пропахший смрадом
Мужик из Агульоне иль иной
Синьзеец, взятку стерегущий взглядом!

Будь кесарю не мачехой дурной
Народ, забывший всё, что в мире свято,
А доброй к сыну матерью родной,

Из флорентийцев, что живут богато,
Иной бы в Симифонти поспешил,
Где дед его ходил с сумой когда-то.

Досель бы графским Монтемурло слыл,
Дом Черки оставался бы в Аконе,
Род Буондельмонти бы на Грече жил.

Смешение людей в едином лоне
Бывало городам всего вредней,
Как от излишней пищи плоть в уроне.

Ослепший бык повалится скорей
Слепого агнца; режет острой сталью
Единый меч верней, чем пять мечей.

Взглянув на Луни и на Урбисалью,
Судьба которых также в свой черед
И Кьюзи поразит, и Синигалью,

Ты, слыша, как иной пресекался род,
Мудреной в этом не найдешь загадки,
Раз города, и те кончина ждет.

Всё ваше носит смертные зачатки,
Как вы,— хотя они и не видны
В ином, что длится, ибо жизни кратки.

Как берега, вращаясь, твердь луны
Скрывает и вскрывает неустанно,
Так судьбы над Флоренцией властны.

Поэтому звучать не может странно
О знатных флорентийцах речь моя,
Хоть память их во времени туманна.

Филиппи, Уги, Гречи видел я,
Орманни, Кателлини, Альберики —
В их славе у порога забытья.

И видел я, как древни и велики
Дель Арка и Саннелла рядом с ним,
Ардинги, Сольданьери и Бостики.

Вблизи ворот, которые таким
Нагружены предательством, что дале
Корабль не может плавать невредим,

В то время Равиньяни обитали,
Чтоб жизнь потом и графу Гвидо дать,
И тем, что имя Беллинчоне взяли.

Умели Делла Пресса управлять;
И уж не раз из Галигаев лучший
Украсил позолотой рукоять.

Уже высок был белый столб, могучи
Фифанти, те, кто кадкой устыжен,
Саккетти, Галли, Джуоки и Баруччи.

Ствол, давший ветвь Кальфуччи, был силен;
Род Арригуччи был среди привлеченных
К правлению, род Сиции почтён.

В каком величье видел я сраженных
Своей гордыней! Как сиял для всех
Блеск золотых шаров непосрамленных!

Такими были праотцы и тех,
Что всякий раз, как церковь опустеет,
В капитуле жиреют всем на смех.

Нахальный род, который свирепеет
Вслед беглецу, а чуть ему поднести
Кулак или кошель,— ягненком блеет,

Уже тогда всё выше начал лезть;
И огорчался Убертин Донато,
Что с ними вздумал породниться тесть.

Уже и Капонсакко на Меркато
Сошел из Фьезоле; и процвели
И Джуда меж граждан, и Инфангато.

Невероятной истине внемли:
Ворота в малый круг во время оно
От Делла Пера имя повели.

Кто носит герб великого барона,
Чью честь и память, празднуя Фому,
Народ оберегает от урона,

Те рыцарством обязаны ему;
Хоть ищет плотью от народной плоти
Стать тот, кто этот щит замкнул в кайму.

Я Импортуни знал и Гвальтеротти;
И не прибавься к ним иной сосед,
То Борго жил бы не в такой заботе.

Дом, ставший корнем ваших горьких бед,
Принесший вам погибель, в злобе правой,
И разрушенье бестревожных лет,

Со всеми сродными почтён был славой.
О Буондельмонте, ты в недобрый час
Брак с ним отверг, приняв совет лукавый!

Тот был бы весел, кто скорбит сейчас,
Низринь тебя в глубь Эмы всемогущий,
Когда ты в город ехал в первый раз.

Но ущербленный камень, мост блюдущий,
Кровавой жертвы от Фьоренцы ждал,
Когда кончался мир ее цветущий.

При них и им подобных я видал
Фьоренцу жившей столь благоустановно,
Что всякий повод к плачу отпадал;

При них народ господствовал так славно
И мудро, что ни разу не была
Лилея опрокинута стремглавно

И от вражды не делалась ала».

ПЕСНЬ СЕМНАДЦАТАЯ

Как спросить Климену, слыша новость,
Его встревожившую, поспешил
Тот, кто в отцах родил к сынам суровость,

Таков был я, и так я понят был
И госпожой, и светочем священным,
Который место для меня сменил.

И Беатриче: «Пусть не будет пленным
Огонь желанья; дай ему пылать,
Отбив его чеканом сокровенным;

Не потому, чтобы ты мог сказать
Нам новое, а чтобы приучиться,
Томясь по влаге, жажды не скрывать».

«Мой ствол, чей взлет в такие выси мчится,
Что, как для смертных истина ясна,
Что в треугольник двум тупым не влиться,

Так ты провидишь всё, чему дана
Возможность быть, взирая к Средоточью,
В котором все совместны времена,—

Когда Вергилий мне являл воочью
Утес, где дух становится здоров,
И мертвый мир, объятый вечной ночью,

Немало я услышал тяжких слов
О том, что в жизни для меня настанет,
Хотя к ударам рока я готов;

Поэтому мои желанья манит
Узнать судьбу моих грядущих лет;
Стрела, которой ждешь, ленивей ранит».

Так я промолвил, вопрошая свет,
Вещавший мне; так, повинуюсь строго,
Я Беатриче выполнил завет.

Не притчами, в которых вязло много
Глупцов, когда еще не пал, заклан,
Грехи людей принявший агнец Бога,

Но ясной речью был ответ мне дан,
Когда отец, пекущийся о чаде,
Сказал, улыбкой скрыт и осиян:

«Возможное, вмещаясь в той тетради,
Где ваше начерталось вещество,
Отражено сполна в предвечном взгляде,

Не став необходимым оттого,
Как и ладьи вниз по реке движенье —
От взгляда, отразившего его.

Оттуда так, как в уши входит пенье
Органых труб, всё то, что предстоит
Тебе во времени, мне входит в зренье.

Как покидал Афины Ипполит¹,
Злой мачехой гонимый в гневе яром,
Так и тебе Флоренция велит.

Того хотят, о том хлопочут с жаром
И нужного достигнут без труда
Там, где Христос вседневным стал товаром.

¹ *Ипполит* — в ант. миф. сын Тезея, оклеветанный своей мачехой Федрой и вынужденный покинуть Афины.

Вину молва возложит, как всегда,
На тех, кто пострадал; но злодеянья
Изобличатся правдой в час суда.

Ты бросишь всё, к чему твои желанья
Стремилась нежно; эту язву нам
Всего быстрее наносит лук изгнанья.

Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.

Но худшим гнетом для тебя отныне
Общенье будет глупых и дурных,
Поверженных с тобою в той долине.

Безумство, злость, неблагодарность их
Ты сам познаешь; но виски при этом
Не у тебя зардеют, а у них.

Об их скотстве объявят перед светом
Поступки их; и будет честь тебе,
Что ты остался сам себе клеветом.

Твой первый дом в скитальческой судьбе
Тебе создаст Ломбардец ¹ знаменитый,
С орлом святым над лестницей в гербе.

Тебя укроет сень такой защиты,
Что будут просьба и ответ у вас
В порядке необычном перевиты.

С ним будет тот, кто принял в первый час
Такую мощь от этого светила,
Что блеском дел прославится не раз.

Его толпа еще не отличила
По юности, и небо вечный свод
Вокруг него лишь девять лет кружило;

¹ *Ломбардец* — Бартоломео делла Скала, синьор Вероны с 1301 г. Далее упомин.: его младший брат, правивший Вероной с 1312 по 1329 г., а также *Гасконец* — папа Климент V, приветствовавший вступление *Арриго* (Генриха VII) в Италию, а затем начавший с ним борьбу.

Но раньше, чем Гасконец проведет
Высокого Арриго, безразличье
К богатствам и к невздам в нем сверкнет.

Так громко щедрое его величье
Прославится, что даже у врагов
Оно развяжет их косноязычье.

Отдайся смело под его покров;
Через него судьба преобразится
Для многих богачей и бедняков.

В твоём уме о нём да впечатлится,
Но ты молчи...» — и тут он мне открыл
Невероятное для очевидца.

Затем добавил: «Сын, я пояснил
То, что тебе сказали; козни эти
Круговорот недалёкий затаил.

Но не завидуй тем, кто ставил сети:
Давно отмщенной будет их вина,
А ты, как прежде, будешь жить на свете».

Когда я понял, что завершена
Речь праведной души и что основа,
Которую я подал, заткана,

Я произнес, как тот, кто от другого
Совета ждёт, наставника ценя,
В желаньях, в мыслях и в любви прямого:

«Я вижу, мой отец, как на меня
Несется время, чтоб я в прах свалился,
Раз я пойду, себя не охраняя.

Пора, чтоб я вперед вооружился,
Дабы, расставшись с краем, всех милей,
Я и других чрез песни не лишился.

В безмерно горьком мире, и поздней,
Вдоль круч, с которых я, из рощ услады,
Внесен очами госпожи моей,

И в небе, от лампы до лампы,
Я многое узнал, чего вкусить
Не все, меня услышав, будут рады;

А если с правдой побоюсь дружить,
То средь людей, которые бы звали
Наш век старинным, вряд ли буду жить».

Свет, чьи лучи улыбку облекали
Мной найденного клада, засверкал,
Как отблеск солнца в золотом зеркале,

И молвил так: «Кто совесть запятнал
Своей или чужой постыдной славой,
Тот слов твоих почувствует ужал.

И всё-таки, без всякой лжи лукавой,
Всё, что ты видел, объяви сполна,
И пусть скребется, если кто лишавый!

Пусть речь твоя покажется дурна
На первый вкус и ляжет горьким гнетом,—
Усвоясь, жизнь оздоровит она.

Твой крик пройдет, как ветер по высотам,
Клоня сильней большие деревья;
И это будет для тебя почетом.

Тебе явили в царстве торжества,
И на горе, и в пропасти томленья
Лишь души тех, о ком живет молва,—

Затем что ум не чует утоленья
И плохо верит, если перед ним
Пример, чей корень скрыт во тьме забвенья,

Иль если довод не воочью зрим».

ПЕСНЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Замкнулось вновь блаженное зеркало
В безмолвной думе, а моя жила
Во мне и горечь сладостью смягчала;

И женщина, что ввысь меня вела,
Сказала: «Думай о другом; не я ли
Вблизи того, кто оградит от зла?»

Я взгляд возвел к той, чьи уста звучали
Так ласково; как нежен был в тот миг
Священный взор,— молчат мои скрижали.

Бессилен здесь не только мой язык:
Чтоб память совершила возвращенье
В тот мир, ей высший нужен проводник.

Одно могу сказать про то мгновенье,—
Что я, взирая на нее, вкушал
От всех иных страстей освобожденье,

Пока на Беатриче упал
Луч Вечной Радости и, в ней сияя,
Меня вторичным светом утолял.

«Оборотись и слушай,— побеждая
Меня улыбкой, молвила она.—
В моих глазах — не вся отрада Рая».

Как здесь в обличьях иногда видна
Бывает сила чувства, столь большого,
Что вся душа ему подчинена,

Так я в пыланье светоча святого
Познал, к нему глазами обращен,
Что он еще сказать мне хочет слово.

«На пятом из порогов,— начал он,—
Ствола, который, черпля жизнь в вершине,
Всегда — в плодах и листьям осенен,

Ликуют духи, чьи в земной долине
Столь громкой славой прогремели дни,
Что муз обогащали бы доныне.

И ты на плечи крестные взгляни:
Кого я назову — в их мгле чудесной
Мелькнут, как в туче быстрые огни».

И видел я: зарница глубию крестной,
Едва был назван Иисус ¹, прошла;
И с действием казалась речь совместной.

На имя Маккавея проплыла
Другая, как бы коло огневое,—
Бичом восторга взвита яюла.

Великий Карл с Орландом, эти двое
Мой взгляд умчали за собой вослед,
Как сокола паренье боевое.

Потом Гульельм и Реноард свой свет
Перед моими пронесли глазами,
Руберт Гвискар и герцог Готофред.

Затем, смешавшись с прочими огнями,
Дух, мне вещавший, дал постигнуть мне,
Как в небе он искусен меж певцами.

Я обернулся к правой стороне,
Чтобы мой долг увидеть в Беатриче,
В словах иль знаках явленный вовне;

Столь чисто было глаз ее величье,
Столь радостно, что блеском превзошло
И прежние, и новое обличье.

Как в том, что дух всё более светло
Ликует, совершив благое дело,
Мы видим знак, что рвенье возросло,

Так я постиг, что большего предела
Совместно с небом огибаю круг,—
Столь дивно Беатриче просветлела.

И как меняют цвет почти что вдруг
У белолицей женщины ланиты,
Когда стыдливый с них сбежит испуг,

¹ *Иисус*, сын Навина — по библ. легенде, вождь евр. народа, завоеватель Земли Обетованной. Далее упомин.: *Иуда Маккавей* — освободитель евр. народа от сирийск. ига (II в. до н. э.); *Гульельм* (Гильом) и *Реноард* (Ренуар) — герои средневек. фр. эпоса; *Готофред* — герцог Готфрид Бульонский, вождь первого крестового похода.

Так хлынула во взор мой, к ней раскрытый,
Шестой звезды благая белизна,
Куда я погрузился, с нею слитый,

Была планета Диева полна
Искрящейся любовью, чьи частицы
Являли взору наши письма.

И как, поднявшись над побережьем, птицы,
Обрадованы корму, создают
И круглые, и всякие станицы,

Так стаи душ, что в тех огнях живут,
Летая, пели и в своем движенье
То D, то I, то L сплетали тут.

Сперва они кружили в песнопенье;
Затем, явив одну из букв очам,
Молчали миг-другой в оцепененье.

Ты, Пегасея¹, что даришь умам
Величие во времени далеком,
А те — тобой — краям и городам,

Пролей мне свет, чтоб, виденные оком,
Я мог их начертанья воссоздать!
Дай мощь твою коротким этим строкам!

И гласных, и согласных семью пять
Предстало мне; и зренья отмечало
За частью часть, чтоб в целом сочетать.

«DILIGITE JUSTITIAM», — сначала
Глагол и имя шли в скрижали той;
«QUI JUDICATIS TERRAM»², — речь кончало.

И в M последнего из слов их строй
Пребыл недвижимым, и Юпитер мнился
Серебряным с насечкой золотой.

¹ Пегасея — в ант. миф. общее название муз, обитающих на Геликоне, где струятся источники вдохновения, выбитые копытами крылатого коня Пегаса.

² «Любите справедливость, судящие землю» (библ.).

И видел я, как новый сонм спустился
К вершине М, на ней почить готов,
И пел того, к чьей истине стремился.

Вдруг, как удар промеж горящих дров
Рождает вихрь искрящегося пыла,—
Предмет гаданья для иных глупцов,—

Так и оттуда стая светов взмыла
И вверх к различным высям всплыла,
Как Солнце, их возжегшее, судило.

Когда она недвижно замерла,—
В той огненной насечке, ясно зримы,
Возникли шея и глава орла.

Так чертит мастер неруководимый;
Он руководит, он дает простор
Той силе, коей гнезда сотворимы.

Блаженный сонм, который до сих пор
В лилее М не ведал превращений,
Слегка содвигшись, завершил узор.

О чистый светоч! Свет каких камней,
И скольких, мне явил, что правый суд
Нисходит с неба, в чьей ты блещешь сени!

Молю тот Разум, где исток берут
Твой бег и мощь, взглянуть на клубы дыма,
Которые твой ясный луч крадут,

И вновь разгневаться неукротимо
На то, что местом торга сделан храм,
Из крови мук возникший нерушимо.

О рать небес, представшая мне там,
Молись за тех, кто бродит, обаянный
Дурным примером, по кривым путям!

В былом сражались, меч подъявля бранный;
Теперь — отнять стараясь где-нибудь
Хлеб, любящим Отцом всем людям данный.

Но ты, строчащий, чтобы зачеркнуть,
Знай: Петр и Павел, вертоград спасая,
Тобой губимый, умерли, но суть.

Ты, впрочем, скажешь: «У меня такая
Любовь к тому, кто одиноко жил
И пострадал, от плясок умирая,

Что и Ловца и Павла я забыл».

ПЕСНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Парил на крыльях, широко раскрытых,
Прекрасный образ и в себе вмещал
Веселье душ, в отрадном *fruit*¹ слитых.

И каждая была как мелкий лал,
В котором словно солнце отражалось,
И жгучий луч в глаза мне ударял.

И то, что мне изобразить осталось,
Ни в звуках речи, ни в чертах чернил,
Ни в снах мечты вовек не воплощалось.

Я видел и внимал, как говорил
Орлиный клюв, и «я» и «мой» звучало,
Где смысл реченья «мы» и «наш» сулил.

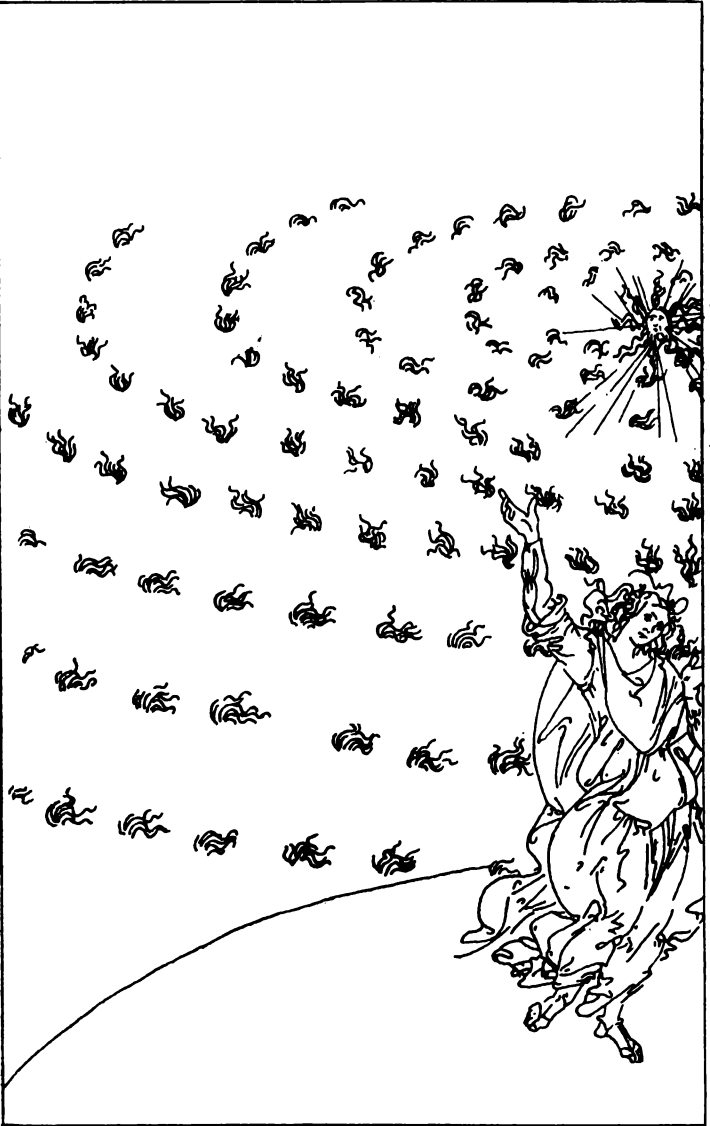
«За правосудье, — молвил он сначала, —
И праведность я к славе вознесен,
Для коей одного желанья мало.

Я памятен среди земных племен,
Но мой пример в народах извращенных,
Хоть и хвалим, не ставится в закон».

Так пышет в груди углей раскаленных
Единый жар, как были здесь слиты
В единый голос сонмы просветленных.

И я тогда: «О вечные цветы
Нетленной неги, чьи благоуханья
Слились в одно, отрадны и чисты,

¹ Здесь: «вкушение» (лат.).





Повейте мне, чтоб я не знал алканья,
Которым я терзаюсь так давно,
Не обретая на земле питанья!

Хоть в небесах другой стране дано
Служить зеркалом правосудью Бога,
Оно от вашей не заслонено.

Вы знаете, как я вам внемлю строго,
И знаете сомненье, тайных мук
Моей душе принесшее столь много».

Как сокол, если снять с него клобук,
Вращает голову, и бьет крылами,
И горд собой, готовый взвиться вдруг,

Так этот образ, сотканный хвалами
Щедротам Божьим, мне себя явил
И песни пел, неведомые нами.

Потом он начал: «Тот, кто очертил
Окружность мира, где и сокровенный,
И явный строй вещей распределил,

Не мог запечатлеть во всей вселенной
Свой разум так, чтобы ее предел
Он не превысил в мере несравненной.

Тот первый горделивец, кто владел
Всем, что доступно созданному было,
Не выждав озаренья, пал, незрел.

И всякому, чья маломощней сила
То Благо охватить возбранено,
Что, без границ, само себе — мерило.

Зато и наше зренье,— а оно
Лишь как единый из лучей причастно
Уму, которым всё озарено,—

Не может быть само настолько властно,
Чтобы его Исток во много раз
Не видел дальше, чем рассудку ясно.

И разум, данный каждому из вас,
В смысл вечной справедливости вникая,
Есть как бы в море устремленный глаз:

Он видит дно, с побережия взирая,
А над пучиной тщетно мечет взгляд;
Меж тем дно есть, но застит глубь морская.

Свет — только тот, который восприят
От вечной Ясности; а всё иное —
Мрак, мгла телесная, телесный яд.

Отныне правосудие живое
Тебе раскрыл я и вопрос пресек,
Не оставявший мысль твою в покое.

Ты говорил: «Родится человек
Над берегом Инда; о Христе ни слова
Он не слышал и не читал вовек;

Он был всегда, как ни судить сурово,
В делах и в мыслях к правде обращен,
Ни в жизни, ни в речах не делал злого.

И умер он без веры, не крещен.
И вот, он проклят; но чего же ради?
Чем он виновен, что не верил он?»

Кто ты, чтобы, в судейском сев наряде,
За много сотен миль решать дела,
Когда твой глаз не видит дальше пяди?

Все те, чья мысль со мной бы вглубь пошла,
Когда бы вас Писанье не смиряло,
Сомненьям бы не ведали числа.

О стадо смертных, мыслящее вяло!
Благая воля изначала дней
От благодати своей не отступала.

То — справедливо, что созвучно с ней;
Не привлекаясь бренными благами,
Она творит их из своих лучей».

Как аист, накормив птенцов, кругами
Витая над гнездом, чертит простор,
А выкормок следит за ним глазами,

Так воспарял,— и так вздымал я взор,—
Передо мною образ благодатный,
Чьи крылья подвигал такой собор.

Он пел, кружа, и молвил: «Как невнятны
Тебе мои слова, так искони
Пути Господни смертным непонятны».

Когда недвижны сделались огни
Святого духа, всё как знак чудесный,
Принесший Риму честь в былые дни,

Он начал вновь: «Сюда, в чертог небесный,
Не восходил не веривший в Христа
Ни ранее, ни позже казни крестной.

Но много и таких зовет Христа,
Кто в день возмездья будет меньше ргоре ¹
К нему, чем те, кто не знал Христа.

Они родят презренье в эфиопе,
Когда кто здесь окажется, кто — там,
Навек в богатом или в нищем скопе.

Что скажут персы вашим королям,
Когда листья раскроются для взора,
Где полностью записан весь их срам?

Там узрят, средь Альбертова ² позора,
Как пражская земля разорена,
О чем перо уже помянет скоро;

Там узрят, как над Сеной жизнь скудна,
С тех пор как стал поддельщиком металла
Тот, кто умрет от шкуры кабана;

¹ «Близко» (лат.).

² Речь идет о герм. императоре Альбрехте, разорившем Чехию; далее — о королях: фр. Филиппе IV, погибшем на охоте; шотл. Роберте Брюсе; англ. Эдуарде I или Эдуарде II; исп. Фердинанде IV и др.

Там узрят, как гордыня обуяла
Шотландца с англичанином, как им
В своих границах слишком тесно стало.

Увидят, как верны грехам земным
Испанец и богемец, без печали
Мирящийся с бесславием своим;

Увидят, что заслуги засчитали
Хромцу ерусалимскому чрез I,
А через M — обратное вписали;

Увидят, как живет в скупой грязи
Тот, кто над жгучим островом вельможен,
Где для Анхиза был конец стези;

И, чтобы показать, как он ничтожен,
О нем напишут с сокращеньем слов,
Где многий смысл в немного строчек вложен.

И обличатся в мерзости грехов
И брат, и дядя, топчущие рьяно
Честь прадедов и славу двух венцов.

И не украсят царственного сана
Норвежец, португалец или серб,
Завистник венецейского чекана.

Блаженна Венгрия, когда ущерб
Свой возместит! И счастлива Наварра,
Когда горами оградит свой герб!

Ее остерегают от удара
Стон Никосии, Фамагосты крик,
Которых лютей зверь терзает яро,

С другими неразлучный ни на миг».

ПЕСНЬ ДВАДЦАТАЯ

Как только тот, чьим блеском мир сияет,
Покинет нами зримый небосклон,
И ясный день повсюду угасает,

Твердь, чьи высоты озарял лишь он,
Вновь проступает в яркости мгновенной
Несчетных светов, где один зажжен.

Я вспомнил этот стройный чин вселенной,
Чуть символ мира и его вождей
Сомкнул, смолкая, клюв благословенный;

Затем что весь собор живых огней,
Лучистой вспыхнув, начал песнопенья,
Утраченные памятью моей.

О жар любви в улыбке озаренья,
Как ты пылал в свирельном звоне их,
Где лишь святые дышат помышленья!

Когда в лучах камней дорогих,
В шестое пламя вправленных глубоко,
Звук ангельского пения затих,

Я вдруг услышал словно шум потока,
Который, светлый, падает с высот,
Являя мощность своего истока.

Как звук свое обличие берет
У шейки цитры или как дыханью
Отверстье дудки звонкость придает,

Так, срока не давая ожиданью,
Тот шум, вздымаясь вверх, пророкотал,
Как полостью, орлиною гортанью.

Там в голос превратясь, он зазвучал
Из клюва, как слова, которых знойно
Желало сердце, где я их вписал.

«Та часть моя, что видит и спокойно
Выносит солнце у орлов земли,—
Сказал он,— взоров пристальных достойна.

Среди огней, что образ мой сплели,
Те, чьим сверканьем глаз мой благороден,
Всех остальных во славе превзошли.

Тот, посредине, что с зеницей сходен,
Святого духа некогда воспел
И нес, из веси в весь, ковчег Господень¹.

Теперь он знает, сколь благой удел
Он выбрал, дух обрекши славословью,
Затем что награжден по мере дел.

Из тех пяти, что изогнулись бровью,
Тот, что над клювом ближе помещен,
По мертвом сыне скорбь утешил вдовью.

Теперь он знает, сколь велик урон —
Нейти с Христом, и негой несказанной,
И участью обратной искушен.

А тот, кто в этой дужке, мной названной,
Вверх по изгибу продолжает ряд,
Отсрочил смерть молитвой покаянной.

Теперь он знает, что навеки свят
Предвечный суд, хотя мольбы порою
Сегодняшнее завтрашним творят.

А тот, за ним, с законами и мною,
Стремясь к добру, хоть это к злу вело,
Стал греком, пастыря даря землею.

Теперь он знает, как родивший зло
Похвальным делом — принят в сонм счастливый,
Хоть дело это гибель в мир внесло.

Тот, дальше книзу, свет благочестивый
Гульельмом был, чей край по нем скорбит,
Скорбя, что Карл и Федерико живы,

Теперь он знает то, как небо чтит
Благих царей, и блеск его богатый
Об этом ярко взору говорит.

¹ Речь идет о библии, царя Давиде, перенесшем в Иерусалим «ковчег завета»; далее — об императоре Траяне; библии, царя Езекии; римского императора Константина, который перенес в Византию свою столицу, законы и императорский орел; короле Сцилии и Апулии *Гульельмо II* Добрым и герое «Энеиды» *Рифее*, павшем при взятии Трои.

Кто бы поверил, дольной тьмой объятый,
Что здесь священных светов торжество
Рифей-троянец разделил как пятый?

Теперь он знает многое, чего
Вам не постигнуть в милости бездонной,
Неисследимой даже для него».

Как жаворонок, в воздух вознесенный,
Песнь пропоет и замолчит опять,
Последнею отрадой утоленный,

Такою мне представилась печать
Той изначальной воли, чьи веленья
Всему, что стало, повелели стать.

И хоть я был для моего сомненья
Лишь как стекло, прикрывшее цвета,
Оно не потерпело промедленья,

Но: «Как же это?» — сквозь мои уста
Толкнуло грузно всем своим напором;
И вспыхнула сверканий красота.

Тогда, еще светлей пылая взором,
Ответил мне благословенный стяг,
Чтоб разум мой не мучился раздором:

«Хоть ты уверовал, что это так,
Как я сказал, — твой ум не постигает;
И ты, поверив, не рассеял мрак.

Ты — словно тот, кто имя вещи знает,
Но сущности ее не разберет,
Пока другой помочь не пожелает.

Regnum coelorum¹ принужденья ждет
Живой надежды и любви возжженной,
Чтобы Господней воли пал оплот.

Она, — не как боец, бойцом сраженный, —
Сама желает быть побеждена,
И побеждает благодать побежденной.

¹ «Царство небес» (лат.).

Тебе в брови и первая странна,
И пятая душа, и то, что в стане
Бесплотных сил горят их пламена.

Из тел они взошли как христиане,
Не как язычники, в пронзенье ног
Тот как в былое веря, тот — заране.

Одна из Ада, где замкнут порог
Раскаянью, в свой прах опять вступила;
И тем воздал живой надежде Бог,

Живой надежде, где черпалась сила
Мольбы к творцу — воззвать ее в свой час,
Чтоб волю в ней подвинуть можно было.

Тот славный дух, о ком идет рассказ,
На краткий срок в свое вернувшись тело,
Уверовал в того, кто многих спас;

И, веруя, зажегся столь всецело
Огнем любви, что в новый смертный миг
Был удостоен этого предела.

Другой, по благодати, чей родник
Бьет из таких глубин, что взор творенья
До первых струй ни разу не проник,

Направил к правде все свои стремленья;
И Бог, за светом свет, ему открыл
Грядущую годину искупленья;

И с той поры он в этой вере жил,
И не терпел языческого смрада,
И племя развращенное корил.

Он крестник был трех жен Господня сада ¹,
Идущих рядом с правым колесом,—
Сверх десяти столетий до обряда.

О предопределение, в каком
Скрыт недре корень твой от глаз туманных,
Не видящих причину целиком!

¹ Имеется в виду: вера, надежда, любовь.

Ваш суд есть слово судей самозванных,
О смертные! И мы, хоть Бога зрим,
Еще не знаем сами всех избранных.

Мы счастливы неведением своим;
Всех наших благ превыше это благо —
Что то, что хочет Бог, и мы хотим».

Так милостью божественного стяга,
Чтоб озарить мой близорукий взгляд,
Мне подалась целительная влага.

И как певцу искусный лирник в лад
Бряцает на струнах и то, что спето,
Звучит приятнее во много крат,

Так, речи вторя,— ясно помню это,—
Подобно двум мигающим очам,—
Я видел,— оба благодатных света

Мерцали огоньками в лад словам.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Уже моя властительница снова
Мои глаза и дух мой призвала,
И я отторгся от всего иного.

Она, не улыбаясь, начала:
«Ты от моей улыбки, как Семела,
Распался бы, распавшись, как зола.

Моя краса, которая светлела
На ступенях чертогов божества,
Как видел ты, к пределу от предела,

Когда б не умерялась, такова,
Что, смертный, испытав ее сверканье,
Ты рухнул бы, как под грозой листва.

Мы на седьмое вознеслись сиянье,
Которое сейчас под жгучим Львом
С ним излучает слитное влиянье.

Вослед глазам последовав умом,
Преобрази их в зеркала видений,
Встающих в этом зеркале большом».

Кто ведал бы, как много упоений
В лице блаженном почерпал мой взгляд,
Когда был призван к смене впечатлений,

Тот понял бы, как я свершить был рад
Всё то, что госпожа повелевала,
Когда б он взвесил чаши двух услад.

В глубинах мирокружного кристалла,
Который как властитель наречен,
Под чьей державой мертвым зло лежало,

Всю словно золото, где луч зажжен,
Я лестницу увидел восходящей
Так высоко, что взор мой был сражен.

И рать огней увидел нисходящей
По ступеням, и мнилось — так светла
Вся яркость славы, в небесах горящей.

И как грачи, едва заря взошла,
Обычай свой блюдя, гурьбой толкуются,
Чтоб отогреть застывшие крыла,

Потом летят, одни — чтоб не вернуться,
Другие — чтоб вернуться поскорей,
А третьи всё над тем же местом выются,

Так поступал и этот блеск огней,
К нам с высоты стремившийся согласно,—
Столкнувшись на одной из ступеней.

И к нам ближайший просиял так ясно,
Что в мыслях я промолвил: «Этот знак
Твоей любви понятен мне безгласно».

Но мне внушавшая, когда и как
Сказать и промолчать, тиха; желанье
Я подавляю, и мой выбор благ.

Она увидела мое молчанье,
Его провидя в видящем с высот,
И мне сказала: «Утоли алканье!»

Я начал: «По заслугам я не тот,
Чья речь достойна твоего ответа.
Но, ради той, кто мне просить дает,

О жизнь блаженная, ты, что одета
Своею радостью, скажи, зачем
Ты стала близ меня в сиянье света;

И почему здесь, в этой тверди, нем
Напев, который в нижних кругах Рая
Звучит так сладко, не сравним ни с чем».

«Твой слух, как зренье, смертен,— отвечая,
Он молвил.— Потому здесь не поют,
Не улыбнулась путница святая.

Я, снизошед, остановился тут,
Чтоб радостным почтить тебя приветом
Слов и лучей, в которых я замкнут.

Не бóльшая любовь сказалась в этом:
Такой и большей пламенеют там,
Вверху, как зримо по горящим светам;

Но высшая любовь, внушая нам
Служить тому, кто правит всей вселенной,
Здесь назначает, как ты видишь сам».

«Мне ясно,— я сказал,— о свет священный,
Что вольною любовью побужден
Ваш сонм идти за Волей сокровенной;

Но есть одно, чем разум мой смущен:
Зачем лишь ты средь стольких оказался
К беседе этой предопределен».

Еще последний слог мой не сказался,
Когда, средину претворяя в ось,
Огонь, как быстрый жернов, завращался,

И из любви, в нем скрытой, раздалось:
«Свет благодати на меня стремится,
Меня облекший, пронизав насквозь,

И, с ним соединясь, мой взор острится,
И сам я так взнесен, что мне видна
Прасущность, из которой он струится.

Так пламенная радость мне дана,
И этой зоркости моей чудесной
Воспламененность риз моих равна.

Но ни светлейший дух в стране небесной,
Ни самый вникший в Бога серафим
Не скажут тайны, и для них безвестной.

Так глубоко ответ словам твоим
Скрыт в пропасти предвечного решенья,
Что взору сотворенному незрим.

И ты, вернувшись в смертные селенья,
Скажи об этом, ибо там спешат
К ее краям тропю дерзновенья.

Ум, здесь светящий, там укутан в чад;
Суди, как на земле в нем сила бrenна,
Раз он бессилен, даже небом взят».

Свои вопросы я пресек мгновенно,
Стесняемый преградой этих слов,
И лишь — кто он, спросил его смиренно.

«Есть кряж меж италийских берегов,
К твоей отчизне близкий и namного
Взнесенный выше грохота громов;

Он Катрию отводит в виде рога,
Сходящего к стенам монастыря,
Который служит почитанью Бога».

Так в третий раз он начал, говоря.
«Там, — продолжал он мне, благоречивый, —
Я так окреп, Господень труд творя,

Что, добавляя к пище сок оливы,
Легко сносил жары и холода,
Духовным созерцанием счастливый.

Скит этот небу приносил всегда
Обильный плод; но истощился рано,
И ныне близок день его стыда.

В той киновии был я Пьер Дамьяно ¹,
И грешный Петр был у Адрийских вод,
Где инокам — Мариин дом охрана.

Когда был близок дней моих исход,
Мне дали шляпу противу желанья,
Ту, что от худа к худшему идет.

Ходили Кифа и Сосуд Избранья
Святого духа, каждый бос и худ,
Питаясь здесь и там от подаянья.

А нынешних святителей ведут
Под локотки, да спереди вожатый,—
Так тяжелы! — да сзади хвост несут.

И конь и всадник мантией объаты,—
Под той же шкурой целых два скота,
Терпенье Божье, скоро ль час расплаты!»

При этом слове блески, больше ста,
По ступеням, кружась, спускаться стали,
И, что ни круг, росла их красота.

Потом они умолкшего обстали
И столь могучий испустили крик,
Что здесь подобье сыщется едва ли.

Слов я не понял; так был гром велик.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Объят смятеньем, я направил взоры
К моей вожатой, как малыш спешит
Всегда туда, где верной ждет опоры;

¹ Пьер Дамьяно — Петр Дамиана, богослов XI в.

Она, как мать, чей голос так звучит,
Что мальчик, побледневший от волненья,
Опять веселый обретает вид,

Сказала мне: «Здесь горние селенья.
Иль ты забыл, что свят в них каждый миг
И всё исходит от благого рвенья?»

Суди, как был бы искажен твой лик
Моей улыбкой и поющим хором,
Когда тебя так потрясает крик,

Непонятый тобою, но в котором
Предвозвещалось мщенье, чей приход
Ты сам еще увидишь смертным взором.

Небесный меч ни медленно сечет,
Ни быстро, разве лишь в глазах иного,
Кто с нетерпеньем иль со страхом ждет.

Теперь ты должен обернуться снова;
Немало душ, одну другой славней,
Увидишь ты, мое исполнив слово».

Я оглянулся, повинуюсь ей;
И мне станица мелких сфер предстала,
Украшенных взаимностью лучей.

Я был как тот, кто притупляет жало
Желания и заявить о нем
Не смеет, чтоб оно не раздражало.

Но подплыла всех налитей огнем
И самая большая из жемчужин
Унять меня в томлении моем.

В ней я услышал: «Будь твой взор так дружен,
Как мой, с любовью, жгущей нашу грудь,
Вопрос твой был бы в слове обнаружен.

Но я, чтоб не замедлен был твой путь
К высокой цели, не таю ответа,
Хоть ты уста боишься разомкнуть.

Вершину над Касино в оны лета
Толпами посещал в урочный час
Обманутый народ, противник света.

Я — тот, кто там поведал в первый раз,
Как назывался миру ниспославший
Ту истину, что так возносит нас;

По милости, мне свыше воссиявшей,
Я всю округу вырвал из тенет
Нечистой веры, землю соблазнявшей.

Все эти светы были, в свой черед,
Мужи, чьи взоры созерцали Бога,
А дух рождал священный цвет и плод.

Макарий здесь, здесь Ромоальд, здесь много
Моих собратий, чей в монастырях
Был замкнут шаг и сердце было строго».

И я ему: «Приязнь, в твоих словах
Мне явленная, и благоволенье,
Мной видимое в ваших пламенах,

Моей души раскрыли дерзновенье,
Как розу раскрывает солнца зной,
Когда всего сильнее ее цветенье.

И я прошу; и ты, отец, открой,
Могу ли я пребыть в отрадной вере,
Что я узрю воочью образ твой».

И он мне: «Брат, свершится в высшей сфере
Всё то, чего душа твоя ждала;
Там все, и я, блаженны в полной мере.

Там свершена, всецела и зрела
Надежда всех; там вечно пребывает
Любая часть недвижимой, как была.

То — шар вне места, остий он не знает;
И наша лестница, устремлена
В его предел, от взора улетает.

Пред патриархом Яковом она
Дотуда от земли взнеслась когда-то,
Когда предстала, ангелов полна.

Теперь к ее ступеням не поднята
Ничья стопа, и для сынов земли
Писать устав мой — лишь бумаге трата.

Те стены, где монастыри цвели, —
Теперь вертепы; превратились рясы
В дурной мукой набитые кули.

Не так враждебна лихва без прикрасы
Всевышнему, как в нынешние дни
Столь милые монашеству запасы.

Всё, чем владеет церковь, — искони
Наследье нищих, страждущих сугубо,
А не родни иль якобы родни.

Столь многое земному телу люблю,
Что раньше минет чистых дум пора,
Чем первый желудь вырастет у дуба.

Петр начинал без злата и сребра,
А я — молитвой и постом упорным;
Франциск смиреньем звал на путь добра.

И ты, сравнив с почином благотворным
Тот путь, каким преемники идут,
Увидишь сам, что белый цвет стал черным.

Хоть в том, как Иордан был разомкнут
И вскрылось море, промысл объявился
Чудесней, чем была бы помощь тут».

Так он сказал и вновь соединился
С собором, и собор слился тесней;
Затем, как вихорь, разом кверху взвился.

Моя владычица вдоль ступеней
Меня взметнула легким мановеньем,
Всесильным над природою моей;

Ни вверх, ни вниз естественным движеньем
Так быстро не спешат в земном краю,
Чтобы с моим сравниться окрыленьем.

Читатель, верь,— как то, что я таю
Надежду вновь обрести усладу Рая,
Которой ради, каясь, перси бью,—

Ты не быстрее обжег бы, вынимая,
Свой перст в огне, чем предо мной возник
Знак, первый вслед Тельцу, меня вбирая.

О пламенные звезды, о родник
Высоких сил, который возлелеял
Мой гений, будь он мал или велик!

Всходил меж вас, меж вас к закату реял
Отец всего, в чем смертна жизнь, когда
Тосканский воздух на меня повеял;

И мне, чудесно взятому туда,
Где ходит свод небесный, вас кружащий,
Быть в вашем царстве выпала череда.

К вам устремляю ныне вздох молящий,
Дабы мой дух окреп во много крат
И трудный шаг свершил, его манящий.

«Так близок ты к последней из отрад,—
Сказала Беатриче мне,— что строгий
Быть должен у тебя и чистый взгляд.

Пока ты не вступил в ее чертоги,
Вниз посмотри,— какой обширный мир
Я под твои уже повергла ноги;

Чтоб уготовать в сердце светлый пир
Победным толпам, что сюда несутся
С веселием сквозь круговой эфир».

Тогда я дал моим глазам вернуться
Сквозь семь небес — и видел этот шар
Столь жалким, что не мог не усмехнуться;

И чем в душе он меньший будит жар,
Тем лучше; и к другому обращенный
Беспорнейшую мудрость принял в дар.

Я дочь Латоны видел озаренной
Без тех теней, чье прежде естество
Искал в среде густой и разреженной.

Я вынес облик сына твоего,
О Гиперион; и постиг круженье,
О Майя и Диона, близ него.

Я созерцал смягченное горенье
Юпитера меж сыном и отцом;
Мне уяснилось их перемещенье.

И быстроту свою, и свой объем
Все семеро представили мне сами,
И как у всех — уединенный дом.

С нетленными вращаясь Близнецами,
Клочок, родящий в нас такой раздор,
Я видел весь, с горами и реками.

Потом опять взглянул в прекрасный взор.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Как птица, посреди листвы любимой,
Ночь проведя в гнезде птенцов родных,
Когда весь мир от нас укрыт, незримый,

Чтобы увидеть милый облик их
И корм найти, которым сыты детки,—
А ей отраден тяжкий труд для них,—

Час упреждая на открытой ветке,
Ждет, чтобы солнцем озарилась мгла,
И смотрит вдаль, чуть свет забрезжит редкий,—

Так Беатриче, выпрямясь, ждала
И к выси, под которой утомленный
Шаг солнца медлит, очи возвела.

Ее увидя страстно поглощенной,
Я уподобился тому, кто ждет,
До времени надеждой утоленный.

Но только был недолог переход
От ожидания до того мгновенья,
Как просветляться начал небосвод.

И Беатриче мне: «Вот ополченья
Христовой славы, вот где собран он,
Весь плод небесного круговращения!»

Казался лик ее воспламенен,
И так сиял восторг очей прекрасных,
Что я пройти в безмолвье принужден.

Как Тривия в час полнолуний ясных
Красуется улыбкою своей
Средь вечных нимф, на небе неугасных,

Так, видел я, над тысячей огней
Одно царило Солнце, в них сияя,
Как наше — в горних светочах ночей.

В живом свеченье Сущность световая,
Сквозя, струила огнезарный дождь
Таких лучей, что я не снес, взирая.

О Беатриче, милый, нежный вождь!
Она сказала мне: «Тебя сразила
Ничем не отражаемая мощь;

Затем что здесь — та Мудрость, здесь — та Сила,
Которая, вослед векам тоски,
Пути меж небом и землей открыла».

Как пламень, ширясь, тучу рвет в куски,
Когда ему в ее пределах тесно,
И падает, природе вопреки,

Так, этим пиршеством взращён чудесно,
Мой дух прорвался из своей брони,
И, что с ним было, памяти неизвестно.

«Открой глаза и на меня взгляни!
Им было столько явлено, что властны
Мою улыбку выдержать они».

Я был как тот, кто, пробудясь, неясный
Припоминает образ, но, забыв,
На память возлагает труд напрасный,—

Когда я услышал ее призыв,
Такой пленительный, что на скрижали
Минувшего он будет вечно жив.

Хотя б мне в помощь все уста звучали,
Которым млека сладкого родник
Полимния¹ и сестры изливали,

Я тысячной бы доли не достиг,
Священную улыбку воспевая,
Которой воссиял священный лик;

И потому в изображение Рая
Святая повесть скачет иногда,
Как бы разрывы на пути встречая.

Но столь велики тягости труда,
И так для смертных плеч тяжка натуга,
Что им подчас и дрогнуть — нет стыда.

Морской простор не для худого струга —
Тот, что отважным кораблем вспенен,
Не для пловца, чья мысль полна испуга.

«Зачем ты так в мое лицо влюблен,
Что красотой сада неземного,
В лучах Христа расцветшей, не прельщен?»

Там — роза, где божественное Слово
Прияло плоть; там веянье лилей,
Чей запах звал искать пути благого».

Так Беатриче; повинуюсь ей,
Я обратился сызнова к сраженью,
Нелегкому для немощных очей.

¹ Полимния — муза лирич. поэзии.

Как под лучом, который явлен зренью
В разрыве туч, порой цветочный луг
Сиял моим глазам, укрытым тенью,

Так толпы светов я увидел вдруг,
Залитые лучами огневыми,
Не видя, чем так озарен их круг.

О благодная мощь, светя над ними,
Ты вознеслась, свой облик затеня,
Чтоб я очами мог владеть моими.

Весть о цветке, чье имя у меня
И днем и ночью на устах, стремилась
Мой дух к лучам крупнейшего огня.

Когда мое мне зренье отразило
И яркость и объем звезды живой,
Вверху царящей, как внизу царила,

Спустился в небо светоч огневой
И, обвиваясь как венок текучий,
Замкнул ее в свой вихорь круговой.

Сладчайшие из всех земных созвучий,
Чья прелесть больше всех душе мила,
Казались бы как треск раздранной тучи,

В сравненье с этой лирой, чья хвала
Венчала блеск прекрасного сапфира,
Которым твердь светлейшая светла.

«Я вьюсь, любовью чистых сил эфира,
Вкруг радости, которую нам шлет
Утроба, несшая надежду мира;

И буду виться, госпожа высот,
Пока не взйдешь к сыну и святые
Не осветит просторы твой приход».

Такой печатью звоны кольцевые
Запечатлелись; и согласный зов
Взлетел от всех огней, воззвав к Марии.

Всех свитков мира царственный покров,
Дыханьем Божьим жарче оживляем
И к Богу ближе остальных кругов,

Нас осенял своим исподним краем
Так высоко, что был еще незрим
И там, где я стоял, неразличаю;

Я был бессилён зрением моим
Последовать за пламенем венчанным,
Вознесшимся за семенем своим.

Как, утоленный молоком желанным,
Младенец руки к матери стремится,
С горячим чувством, внешне излианным,

Так каждый из огней был кверху взвит
Вершиной, изъясняя ту отраду,
Которую Мария им дарит.

Они недвижно представляли взгляду,
«Regina coeli»¹ воспевая так,
Что я донныне чувствую усладу.

О, до чего прекрасный собран злак
Ларями этими, и как богато,
И как посев их на земле был благ!

Здесь радуется сокровище, когда-то
Стяжанное у Вавилонских вод
В изгнание слезном, где отверглось злато,

Здесь древний сонм и новый сонм цветет,
И празднует свой подвиг величавый,
Под сыном Бога и Марии, тот,

Кто наделен ключами этой славы.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

«О, сонм избранных к вечере великой
Святого агнца, где утолено
Алканье всех! Раз всеблагим владыкой

¹ «Царица небесная» (лат.) — пасх. гимн.

Вот этому вкусить уже дано
То, что с трапезы вашей упадет,
Хоть время жизни им не свершено,—

Помыслив, как безмерно он желает,
Ему росы пролейте! Вас поит
Родник, дарящий то, чего он чает».

Так Беатриче; радостный синклит
Стал вьющимися на осях кругами
И, как кометы, пламенем повит.

И как в часах колеса ходят сами,
Но в первом — ход неразличим извне,
А крайнее летит перед глазами,

Так эти хороводы, движась не-
однообразно, медленно и скоро,
Различность их богатств являли мне.

И вот из драгоценнейшего хора
Такой блаженный пламень воспарил,
Что не осталось ярче в нем для взора;

Вкруг Беатриче трижды он проплыл,
И вспомнить о напеве, им пропетом,
Воображенье не находит сил;

Скакнув пером, я не пишу об этом;
Для этих складок самые мечты,
Не только речь, чрезмерно резки цветом.

«Сестра моя святая, так чисты
Твои мольбы, что с чередой блаженной
Меня любовью разлучила ты».

Остановясь, огонь благословенный,
Направляя к госпоже моей полет
Дыханья, дал ответ вышереченный.

И та: «О свет, в котором вечен тот,
Кому Господь от этого чертога
Вручил ключи, принесши их с высот,

Из уст твоих, насколько хочешь строго,
Да будет он о вере вопрошен,
Тебя по морю ведшей, волей Бога.

В любви, в надежде, в вере — прям ли он,
Ты видишь сам, взирая величаво
Туда, где всякий помысл отражен.

Но так как граждан горняя держава
Снискала верой, пусть он говорит,
Чтобы, как должно, воздалась ей слава».

Как бакалавр, вооружась, молчит
И ждет вопроса по тому предмету,
Где он изложит, но не заключит,

Так точно я, услыша просьбу эту,
Вооружал всем знаньем разум мой
Перед таким учителем к ответу.

«Скажи, христианин, свой лик открой:
В чем сущность веры?» Я возвел зеницы
К огню, который веял предо мной;

Потом, взглянув, увидел проводницы
Поспешный знак — словесному ручью
Излиться дать из мысленной криницы.

«Раз мне дано, чтоб веру я мою
Пред мощным первоборцем исповедал,
Пусть мысль мою я внятно разовью! —

Сказал я. — Как о вере нам поведал
Твой брат, который с помощью твоей
Идти путем неверным Риму не дал,

Она — основа чаемых вещей
И довод для того, что нам незримо;
Такую сущность полагаю в ней».

И он: «Ты мыслишь неопровержимо,
Коль верно понял смысл, в каком она
Им как основа и как довод мнима».

И я на это молвил: «Глубина
Вещей, мне явленных в небесной сфере,
Для низменного мира столь темна,

Что там их бытие — в единой вере,
Дающей упованью прочно стать;
Чрез то она — основа в полной мере.

Нам подобает умозаключать
Из веры там, где знание невластно;
И доводом ее нельзя не звать».

И я услышал: «Если б все так ясно
Усваивали истину, познав,—
Софисты ухищрялись бы напрасно».

Горящая любовь, так продышав,
Добавила: «Неуличим в изъяне
Испытанной монеты вес и сплав;

Но есть ли у тебя она в кармане?»
И я: «Да, есть, блестяща и кругла.
И я не усомнюсь в ее чекане».

Опять, вещая, голос издала
Глубь света: «Этот бисер, всех дороже,
Рождающий все добрые дела,

Где ты обрел?» Я молвил: «Дождь погожий
Святого духа, щедро пролитой
Равно по ветхой и по новой коже,

Есть силлогизм, с такою остротой
Меня приведший к правильным основам,
Что мнится мне тупым любой иной».

И я услышал: «В ветхом или в новом
Сужденье — для рассудка твоего
Что ты нашел, чтоб счесть их Божьим словом?»

Я молвил: «Доказательство того —
Дела; для них железа не калило
И молотом не било естество».

Ответ гласил: «А в том, что это было,
Порука где? Чтó доказательств ждет,
То самое свидетельством служило».

«Вселенной к христианству переход,—
Сказал я,— без чудес, один, бесспорно,
Все чудеса стократно превзойдет;

Ты, нищ и худ, принес святые зерна,
Чтобы взошли ростки благие там,
Где вместо лоз теперь колючки терна».

Когда я смолк, по огненным кругам
Песнь «Бога хвалим» раздалась святая,
И горний тот напев неведом нам.

И этот князь, который, увлекая
От ветви к ветви, чтобы испытать,
Меня в листве довел уже до края,

Так речь свою продолжил: «Благодать,
Любя твой ум, доныне отверзала
Твои уста, как должно отверзать,

И я одобрил то, что вверх всплывало.
Но самой этой веры в чем предмет
И в чем она берет свое начало?»

«Святой отец и дух, узревший свет,
В который верил так, что в гроб спустился,
Юнейших ног опережая след,—

Я начал,— ты велишь, чтоб я открылся,
В чем эта вера твердая моя
И почему я в вере утвердился.

Я отвечаю: в Бога верю я,
Что движет небеса, единый, вечный,
Любовь и волю, недвижим, дая.

И в физике к той правде безупречной,
И в метафизике приходим мы,
И мне ее же с выси бесконечной

Льют Моисей, пророки и псалмы,
Евангелъе и то, что вы сложили,
Когда вам дух воспламенел умы.

И верю в три лица, что вечно были,
Чья сущность столь едина и тройна,
Что «суть» и «есть» они равно вместили.

Глубь тайны Божьей, как она дана
В моих словах, в мой разум пролитая,
Евангельской печатью скреплена.

И здесь — начало, искра здесь живая,
Чье пламя разрослось, пыланьем став
И, как звезда небес, во мне сверкая».

Как господин, отраднѡй вести вняв,
Слугу, когда тот смолк, за извещенье
Душой благодарит, его обняв,

Так, смолкшему воспев благословенье,
Меня кругом до трех обвеял крат
Апостольский огонь, чье вняв веленье

Я говорил; так был он речи рад.

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Коль в некий день поэмою священной,
Отмеченной и небом и землей,
Так что я долго чах, в трудах согбенный,

Смирится гнев, пресекавший доступ мой
К родной овчарне, где я спал ягненком,
Немил волкам, смутившим в ней покой,—

В ином руне, в ином величье звонком
Вернусь, поэт, и осенюсь венцом
Там, где крещенье принимал ребенком;

Затем что в веру, души пред Творцом
Являющую, там я облачился
И за нее благословлен Петром.

И вот огонь, к нам движась, отделился
От тех огней, откуда старшина
Наместников Христовых появился;

И Беатриче, радости полна:
«Смотри! Смотри! Вот витязь, чьим заслугам
Такая честь в Галисье воздана!»

Как если голубь сядет рядом с другом,
И, нежностью взаимною делясь,
Они воркуют и порхают кругом,

Так, видел я, один высокий князь
Встречал другого ласковым приветом
И брашна горние хвалил, дивясь.

Приветствия закончились на этом,
И каждый согат те¹, недвижим, нем,
Так пламенел, что взгляд сражен был светом.

И Беатриче молвила затем
С улыбкой: «Славный дух и возвеститель
Того, как щедр небесный храм ко всем,

Надеждой эту огласи обитель.
Ведь ею ты бывал в людских глазах,
Когда трох² из вас почтил Спаситель».

«Вздыми чело, превозмоги свой страх;
Из смертного предела вознесенный
Здесь должен в наших созреть лучах».

Так говорил душе моей смущенной
Второй огонь; и я возвел к горам
Взгляд, гнетом их чрезмерным преклоненный.

«Раз наш властитель изволяет сам,
Чтоб ты среди чертога потайного,
Еще живой, предстал его князьям

¹ «Преодо мною» (лат.).

² Речь идет о трех апостолах — Петре, Якове и Иоанне.

И, видев правду царства неземного,
Надежду, что к благой любви ведет,
В себе и в остальных упрочил снова,

Поведай, что́ — она, и как цветет
В твоей душе, и как в нее вступила». —
Так молвил снова тот огонь высот.

И та, что перья крыл моих стремил
В их воспаренье до таких вершин,
Меня в ответе так предупредила:

«В воинствующей церкви ни один
Надеждой не богаче, — как то зримо
В пресветлом Солнце неземных дружин;

За то увидеть свет Ерусалима
Он из Египта ¹ этот путь свершил,
Еще воинствуя неутомимо.

Другие два вопроса (ты спросил
Не чтоб узнать, а с тем, что он изложит,
Как эту добродетель ты почтил)

Ему оставлю я; на оба может
Легко и не хвалясь ответить он;
И Божья милость пусть ему поможет».

Как школьник, на уроке вопрошен,
Свое желая обнаружить знанье,
Рад отвечать про то, в чем искушен:

«Надежда, — я сказал, — есть ожиданье
Грядущей славы; ценность прежних дел
И благодать — его обоснованье.

От многих звезд я этот свет узрел;
Но первый мне его пролил волною
Тот, кто всех выше высшего воспел.

¹ Свет Ерусалима — т. е. свет Рая; из Египта — т. е. из страны земной неволи.

«Да уповают на тебя душою,—
Он пел,— кто имя ведает твое!»
И как не ведать, веруя со мною?

Ты ею сердце оросил мое
В твоём посланье; полн росы блаженной,
Я и других кроплю дождем ее.

Пока я говорил, в груди нетленной
Того пожара колебался свет,
Как вспышки молний, частый и мгновенный.

«Любовь, которой я досель согрет,—
Дохнул он,— к добродетели, до края
Борьбы за пальму шедшей мне вослед,

Велит мне вновь дохнуть тебе, взирая,
Как ты ей рад, дабы ты мне сказал,
Чего ты ожидаешь, уповая».

«Я это понял,— так я отвечал,—
Из Нового и Ветхого завета,
Цель душ познав, тех, что Господь избрал.

В две ризы будет каждая одета
В земле своей,— Исайя возвестил.
А их земля — жизнь сладостная эта.

Еще ясней, по мере наших сил,
Твой брат, сказав про белые уборы,
Нам откровенье это изложил».

Когда я кончил,— огласив просторы,
«Sperant in te»¹ раздалось в вышине;
На что, кружа, откликнулись все хоры.

И так разросся свет в одном огне,
Что, будь у Рака сходный перл, зимою
Бывал бы месяц о едином дне.

Как девушка встает, идет и, к рою
Плясуний примыкая, воздаст
Честь новобрачной, не кичась собою,

¹ «Да уповают на тебя» (лат.).

Так, видел я, всплывший пламень тот
Примкнул к двоим, которых, с нами рядом,
Любви горящей мчал круговорот.

Он слился с песнопением и ладом;
Недвижна и безмолвна, госпожа
Их, как невеста, озидала взглядом.

«Он, с Пеликаном¹ нашим возлежа,
К его груди приник; и с выси крестной
Приял великий долг, ему служа».

Так Беатриче; взор ее чудесный
Ее словами не был отвлечен
От созерцанья красоты небесной.

Как тот, чей взгляд с усильем устремлен,
Чтоб видеть солнце затемненным частно,
И он, взирая, зрения лишен,

Таков был я пред вспыхнувшим столь ясно
И услышал: «Зачем слепишь ты взор,
Чтоб видеть то, чего искать напрасно?»

Я телом — прах во прахе до тех пор,
Пока число не завершится наше,
Как требует предвечный приговор.

В двух ризах здесь, и всех блаженных краше,
Лишь два сиянья, взнесшиеся вдруг;
И с этим ты вернешься в царство ваше».

При этом слове огнезарный круг
Затих, и с ним — рождавшийся в пречистом
Смешенье трех дыханий нежный звук;

Так, на шабаш иль в месте каменистом,
Строй вёсел, только что взрезавших вал,
Враз замирает, остановлен свистом.

¹ Пеликан — подразумевается Христос; существовало поверье, что пеликан, ранив себя клювом в грудь, воскрешает своей кровью умерших птенцов.

О, что за трепет душу мне объял,
Когда я обернулся к Беатриче
И ничего не видел, хоть стоял

Вблизи нее и в мире всех величий!

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Пока я был смущен угасшим взором,
Осиливший его костер лучей
Повеял дуновением, в котором

Послышалось: «Доколе свет очей,
Затменный мной, к тебе не возвратится,
Да возместит утрату звук речей.

Итак, начни; скажи, куда стремится
Твоя душа, и отстрани испуг:
Взор у тебя не умер, а мутится.

В очах у той, что ввысь из круга в круг
Тебя стезею дивной возносила,
Таится мощь Ананиных рук».

«С терпеньем жду,— моим ответом было,—
Целенья глаз, куда, как в недра врат,
Она с огнем сжигающим вступила.

Святое Благо неземных палат
Есть альфа и омега книг, чьи строки
Уста любви мне шепчут и гласят».

И голос тот, которым я, безокий,
Утешился в нежданной слепоте,
Вновь налагая на меня уроки,

Сказал: «Тебя на частом решете
Проверю я. Какие побужденья
Твой лук направили к такой мете?»

И я: «Чрез философские ученья
И через то, что свыше внушено,
Я той любви приял напечатленья;

Затем что благо, чуть оценено,
Дает вспылать любви, тем боле властной,
Чем больше в нем добра заключено.

Поэтому к Прасути, столь прекрасной,
Что все блага, которые не в ней,—
Ее луча всего лишь свет неясный,

Должна с любовью льнуть всего сильнее
Душа того, кто правду постигает,
Проникшую мой довод до корней.

Ту правду предо мною расстилает
Мне показавший первую Любовь
Всего, что вековечно пребывает;

Правдивый голос расстилает вновь,
Сам о себе сказавший Моисею:
«Узреть всю славу дух твой приготовь»;

И расстилаешь ты, когда своею
Высокой речью миру оглашен
Смысл вышних тайн так громко, как ничьею»,

«Земным рассудком,—вновь повеял он,—
И подтверждающими голосами
Жарчайший пыл твой к Богу обращен.

Но и другими, может быть, ремнями
К нему влеком ты. Сколькими, открой,
Твоя любовь язвит тебя зубами?»

Не утаился умысел святой
Орла Христова, так что я заметил,
Куда ответ он направляет мой.

«Все те укусы,— я ему ответил,—
Что нас стремят к владыке бытия,
Крепят любовь, которой дух мой светел.

Жизнь мирозданья, как и жизнь моя,
Смерть, что он принял, жить мне завещая,
Всё, в чем надежда верящих, как я,

И сказанная истина живая —
Меня из волн дурной любви спасли,
На берегу неложной утверждая.

И все те листья, что в саду выросли
У вечного садовника, люблю я,
Поскольку к ним его дары сошли».

Едва я смюлк, раздался, торжествуя,
Напев сладчайший в небе: «Свят, свят, свят!»
И Беатриче вторила, ликуя.

Как при колючем свете сон разъят
Тем, что стремится зрительная сила
На луч, пронзающий за платом плат,

И зренье пробужденному немило,
Настолько смутен он, вернувшись в быль,
Пока сознание ум не укрепило,—

Так Беатриче с глаз моих всю пыль
Прочь согнала очей своих лучами,
Сиявшими на много тысяч миль;

Я даже стал еще острей глазами;
И спросил, смущенный, про того,
Кто как четвертый свет возник пред нами.

И Беатриче мне: «В лучах его
Душа, всех прежде созданная, славит
Создателя и Бога своего».

Как сень ветвей, когда ее придавит
Идущий ветер, никнет, тяжела,
Потом, вознесшись, вновь листву расправит,—

Таков был я, пока та речь текла,
Дивясь; потом, отвагу вновь обретши
В той жажде молвить, что мне душу жгла,

Я начал: «Плод, единый, что, не цветши,
Был создан зрелым, праотец людей,
Дошь и сноху в любой жене нашедший,

Внемли мольбе усерднейшей моей,
Ответь! Вопрос ты ведаешь заране,
И я молчу, чтоб внять тебе скорей».

Когда зверек накрыт обрывком ткани,
То, оболочку эту полоша,
Он выдает всю явь своих желаний;

И точно так же первая душа
Свою мне радость сквозь лучи покрова
Изобличала, благостью дыша.

Потомдохнула: «В нем я и без слова
Уверенней, чем ты уверен в том,
Что несомненное всего иного.

Его я вижу в Зеркале святом,
Которое, всё отражая строго,
Само не отражается ни в чем.

Ты хочешь знать, давно ль я, волей Бога,
Вступил в высокий сад, где в должный миг
Тебе открылась горняя дорога,

Надолго ль он в глазах моих возник,
И настоящую причину гнева,
И мною изобретенный язык.

Знай, сын мой: не вкушение от древа,
А нарушение воли Божества
Я искупал, и искупала Ева.

Четыре тысячи и триста два
Возврата солнца твердь меня манила
Там, где Вергилий свыше внял слова;

Оно же все попутные светила
Повторно девятьсот и тридцать раз,
Пока я жил на свете, посетило.

Язык, который создал я, угас
Задолго до немислимого дела
Тех, кто Немвродов исполнял приказ;

Плоды ума зависимы всецело
От склонностей, а эти — от светил,
И потому не делятся без предела.

Естественно, чтоб смертный говорил;
Но — так иль по-другому, это надо,
Чтоб не природа, а он сам решил.

Пока я не сошел к томленью Ада,
«И» в дольном мире звался Всеблагой,
В котором вечная моя отрада;

Потом он звался «Эль»; и так любой
Обычай смертных сам себя сменяет,
Как и листва сменяется листвою.

На той горе, что выше всех всплывает,
Я пробыл и святым, и несвятым
От утра и до часа, что вступает,

Чуть солнце сменит четверть, за шестым».

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

«Отцу, и Сыну, и Святому Духу» —
Повсюду — «слава!» — раздалось в Раю,
И тот напев был упоеньем слуху.

Взирая, я, казалось, взором пью
Улыбку мирозданья, так что зримый
И звучный хмель вливался в грудь мою.

О, радость! О, восторг невыразимый!
О, жизнь, где всё — любовь и всё — покой!
О, верный клад, без алчности хранимый!

Четыре свечоча ¹ передо мной
Пылали, и, мгновенье за мгновеньем,
Представший первым силил пламень свой;

И стал таким, каким пред нашим зреньем
Юпитер был бы, если б Марс и он,
Став птицами, сменились опереньем.

¹ Четыре свечоча — т. е. Петр, Яков, Иоанн и Адам,

Та власть, которой там распределен
Черед и чин, благословенным светам
Велела смолкнуть, и угас их звон,

Когда я внял: «Что я меняюсь цветом,
Не удивляйся; внемля мой глагол,
Все переменят цвет в соборе этом.

Тот, кто, как вор, воссел на мой престол,
На мой престол, на мой престол, который
Пусть перед сыном Божиим, возвел

На кладбище моем сплошные горы
Кровавой грязи; сверженный с высот,
Любуясь этим, утешает взоры».

Тот цвет, которым солнечный восход
Иль час заката облака объемлет,
Внезапно охватил весь небосвод.

И словно женщина, чья честь не дремлет
И сердце стойко, чувствует испуг,
Когда о чем-либо проступке внемлет,

Так Беатриче изменилась вдруг;
Я думаю, что небо так затмилось,
Когда Всесильный поникал средь мук.

Меж тем всё дальше речь его стремилась,
И перемена в голосе была
Не меньшая, чем в облике явилась.

«Невеста Божья не затем выросла
Моею кровью, кровью Лина, Клета,
Чтоб золото стяжалось без числа;

И только чтоб стяжать блаженство это,
Сикст, Пий, Калист и праведный Урбан¹,
Стеня, пролили кровь в былые лета.

Не мы хотели, чтобы христиан
Преемник наш пристрастною рукою
Делил на правый и на левый стан;

¹ Имена рим. епископов первых веков христианства.

Ни чтоб ключи, полученные мною,
Могли гербом на ратном стяге стать,
Который на крещеных поднят к бою;

Ни чтобы образ мой скреплял печать
Для льготных грамот, покупных и лживых,
Меня краснеть неволя и пылать!

В одежде пастырей — волков грызливых
На всех лугах мы видим средь ягнят.
О Божий суд, восстань на нечестивых!

Гасконцы с каорсинцами хотят
Пить нашу кровь; о доброе начало,
В какой конечный впало ты разврат!

Но промысел, чья помощь Рим спасала
В великой Сципионовой борьбе,
Спасет, я знаю, — и пора настала.

И ты, мой сын, сойдя к земной судьбе
Под смертным грузом, смелыми устами
Скажи о том, что я сказал тебе!»

Как дольный воздух мерзлыми парами
Снежит к земле, едва лишь Козерог
К светилу дня притронется рогами,

Так здесь эфир себя в красу облек,
Победные взвевая испаренья,
Помедлившие с нами долгий срок.

Мой взгляд следил всё выше их движенья,
Пока среда чрезмерной высоты
Ему не преградила восхожденья.

И госпожа, когда от той меты
Я взор отвел, сказала: «Опуская
Глаза, взгляни, куда пронесся ты!»

И я увидел, что с тех пор, когда я
Вниз посмотрел, над первой полосой
Я от середины сдвинулся до края.

Я видел там, за Гадесом, шальной
Улиссов путь; здесь — берег, на котором
Европа стала ношей дорогой.

Я тот клочок обвел бы шире взором,
Но солнце в бездне упреждало нас
На целый знак и больше, в беге скором.

Влюбленный дух, который всякий час
Стремился пламенно к своей богине,
Как никогда ждал взора милых глаз;

Всё, чем природа или кисть доныне
Пленили взор, чтоб уловлять сердца,
Иль в смертном теле, или на картине,

Казалось бы ничтожным до конца
Пред дивной радостью, что мне блеснула,
Чуть я увидел свет ее лица;

И мощь, которой мне в глаза пахнуло,
Меня, рванув из Ледина гнезда,
В быстрейшее из всех небес метнула.

Так однородна вся его среда,
Что я не ведал, где я оказался,
Моей вожатой вознесен туда.

И мне, чтоб я в догадках не терялся,
Так радостно сказала госпожа,
Как будто Бог в ее лице смеялся:

«Природа мира, всё, что есть, кружа
Вокруг ядра, которое почило,
Идет отсюда, как от рубежа.

И небо это Божья мысль вместила,
Где и любовь, чья власть его влечет,
Берет свой пыл, и скрытая в нем сила.

Свет и любовь объемлют этот свод,
Как всякий низший кружит, им объятый;
И те высоты их Творец блюдет.

Движенье здесь не мерят мерой взятой,
Но все движенья меру в нем берут,
Как десять — в половине или в пятой.

Как время, в этот погружаясь сосуд
Корнями, в остальных живет вершиной,
Теперь понять тебе уже не в труд.

О жадность! Не способен ни единый
Из тех, кого ты держишь, поглотив,
Поднять зеницы над твоей пучиной!

Цвет доброй воли в смертном сердце жив;
Но ливней беспрестанные потоки
Роят уродцев из хороших слив.

Одни младенцы слушают уроки
Добра и веры, чтоб забыть вполне
Их смысл скорей, чем опухатся щеки.

Кто, лепеча, о постном помнил дне,
Вкушает языком, возросшим в силе,
Любую пищу при любой луне.

Иной из тех, что, лепеча, любили
И чтили мать, — владея речью, рад
Ее увидеть поскорей в могиле.

И так вот кожу белую чернят,
Вняв обольщеньям дочери прекрасной
Дарующего утро и закат.

Размысли, и причина станет ясной:
Ведь над землею власть упразднена,
И род людской идет стезей опасной.

Но раньше, чем январь возьмет весна
Посредством сотой, вами небреженной,
Так хлынет светом горняя страна,

Что вихрь, уже давно предвозвещенный,
Носы туда, где кормы, повернет,
Помчав суда дорогой неуклонной;

И за цветком поспеет добрый плод».

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Когда, скорбя о жизни современной
Несчастных смертных, правду вскрыла мне
Та, что мой дух возносит в рай блаженный,—

То как, узрев в зеркальной глубине
Огонь свечи, зажженной где-то рядом,
Для глаз и дум негаданный вполне,

И обратясь, чтобы проверить взглядом
Согласованье правды и стекла,
Мы видим слитность их, как песни с ладом,—

Так и моя мне память сберегла,
Что я так сделал, взоры погружая
В глаза, где пути мне любовь сплела.

И я,— невольно зренье обращая
К тому, что можно видеть в сфере той,
Ее от края оглянув до края,—

Увидел Точку, лившую такой
Острейший свет, что вынести нет мочи
Глазам, ожженным этой остротой.

Звезда, чью малость еле видят очи,
Казалась бы луной, соседя с ней,
Как со звездой звезда в просторах ночи.

Как невдали обвит кольцом лучей
Небесный свет, его изобразивший,
Когда несущий пар всего плотней,

Так Точку обнял круг огня, круживший
Столь быстро, что одолевался им
Быстрейший бег, вселенную обвивший.

А этот опоясан был другим,
Тот — третьим, третий в свой черед — четвертым,
Четвертый — пятым, пятый, вновь,— шестым.

Седьмой был вширь уже настоль простертым,
Что никогда б его не охватил
Гонец Юоны круговым развертом.

Восьмой кружил в девятом; каждый плыл
Тем более замедленно, чем дале
По счету он от единицы был.

Чем ближе к чистой Искре, тем пылали
Они ясней, должно быть оттого,
Что истину ее полней вбирали.

При виде колебанья моего:
«От этой Точки,— молвил мой вожатый,—
Зависят небеса и естество.

Всмотришься в тот круг, всех ближе к ней прижатый:
Он потому так быстро устремлен,
Что кружит, страстью пламенной объятый».

И я в ответ: «Будь мир расположен,
Как эти круговратные обводы,
Предложенным я был бы утолен.

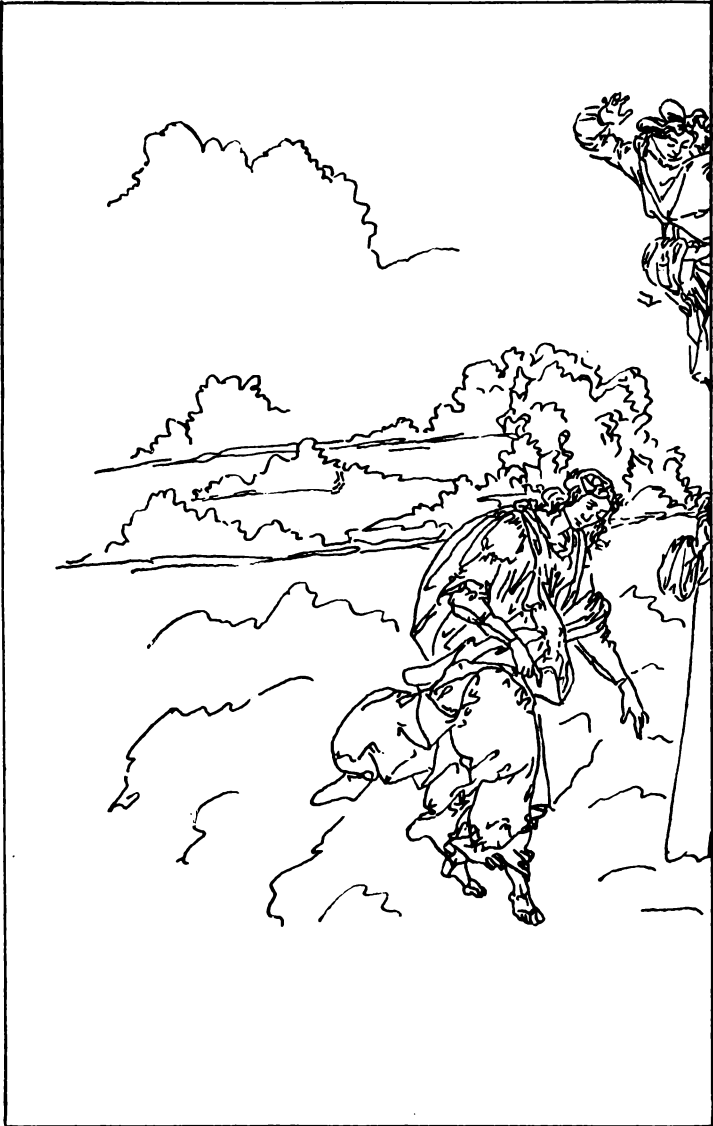
Но в мире ощущаемой природы
Чем выше над серединой взор воздет,
Тем всё божественнее небосводы.

Поэтому мне надобен ответ
Об этом дивном ангельском чертоге,
Которому предел — любовь и свет:

Зачем идут не по одной дороге
Подобье и прообраз? Мысль вокруг
Витает и нуждается в подмоге».

«Что этот узел напряженью рук
Не поддается,— ты не удивляйся:
Он стал, никем не тронут, слишком туг».

Так госпожа; и дальше: «Насыщайся
Тем, что воспримешь из моих речей,
И-мыслию над этим изощрайся.





Плотские своды — шире иль тесней,
Смотря по большей или меньшей силе,
Разлитой на пространстве их частей.

По мере силы — мера изобилий;
Обилье больше, где большой объем
И нет частей, что б целому вредили.

Наш свод, влекущий в вихре круговом
Всё мирозданье, согласован дружно
С превысшим в знанье и в любви кольцом.

И ты увидишь,— ибо мерить нужно
Лишь силу, а не видимость того,
Что здесь перед тобой стремится кружно,—

Как в каждом небе дивное сродство
Большого — с многим, с малым — небольшого
Его связует с Разумом его».

Как полушарье воздуха земного
Яснее вдруг, когда Борей дохнет
Щекой, которая не так сурова,

И, тая, растворяется налет
Окрестной мглы, чтоб небо озарилось
Неисчислимостью своих красот,—

Таков был я, когда со мной делилась
Своим ответом ясным госпожа
И правда, как звезда в ночи, открылась.

Чуть речь ее дошла до рубежа,
То так железо, плавясь в мощном зное,
Искрит, как кольца брызнули, кружа.

И все те искры мчались в общем рое,
И множились несметней их огни,
Чем шахматное поле, множась вдвое.

Я слышал, как хвалу поют они
Недвижной Точке, вокруг нее стремимы
Из века в век, как было искони.

И видевшая разум мой томимый
Сказала: «В первых двух кругах кружат,
Объемля Серафимов, Херувимы.

Покорны узам, бег они стремят,
Уподобляясь Точке, сколько властны;
А властны — сколько вознесен их взгляд.

Ближайший к ним любви венец прекрасный
Сплели Престолы Божьего лица;
На них закончен первый сонм трехчастный.

Знай, что отрада каждого кольца —
В том, сколько зренья в Истину вникает,
Где разум утоляем до конца.

Мы видим, что блаженство возникает
От зренья, не от любви; она
Лишь спутницей его сопровождает;

А зренью мощь заслугами дана,
Чьи корни — в милости и в доброй воле;
Так лестница помалу пройдена.

Три смежных сонма, зеленея в доле
Вовеки нескончаемой весны,
Где и ночной Овен не властен боле,

«Осанною» всегда оглашены
На три напева, что в тройной святыне
Поют троеобразные чины.

В иерархии этой — три богини:
Сперва — Господства, дальше — Сил венец,
А вслед за ними — Власти, в третьем чине.

В восторгах предпоследних двух колец
Начала и Архангелы витают;
И Ангельская радость, наконец.

Все эти сонмы к высоте взирают
И, книзу власть победную ляя,
Влекомы к Богу, сами увлекают.

И Дионисий в тайну бытия
Их степеней так страстно погружался,
Что назвал их и различил, как я.

Григорий с ним потом не соглашался;
Зато, чуть в небе он глаза раскрыл,
Он сам же над собою посмеялся.

И если столько тайных правд явил
Пред миром смертный, чуда в том не много:
Здесь их узревший — их ему внушил

Средь прочих истин этого чертога».

ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Когда чету, рожденную Латоной,
Здесь — знак Овна, там — знак Весов хранит,
А горизонт связует общей зоной,

То миг, когда их выровнял зенит,
И миг, в который связь меж ними пала
И каждый в новый небосвод спешит,

Разлучены не дольше, чем молчала
С улыбкой Беатриче, всё туда
Смотря, где Точка взор мой побеждала.

Она промолвила: «Мне нет труда
Тебе ответить, твой вопрос читая
Там, где слились все «где» и все «когда».

Не чтобы стать блаженной, — цель такая
Немыслима, — но чтобы блеск лучей,
Струимых ею, молвил «Есмь», блистая, —

Вне времени, в предвечности своей,
Предвечная любовь сама раскрылась,
Безгранная, несчетностью любвей.

Она и перед этим находилась
Не в косном сне, затем что божество
Ни «до», ни «после» над водой носилось

Врозь и совместно, суть и вещество
В мир совершенства свой полет помчали,—
С тройного лука три стрелы его.

Как в янтаре, стекле или кристалле
Сияет луч, причем его приход
И заполненье целого совпали,

Так и Творца троеобразный плод
Излился, как внезапное сиянье,
Где никакой неразличим черед.

Одновременны были и создание,
И строй существ; над миром быть дано
Вершиной тем, в ком — чистое деянье,

А чистую возможность держит дно;
В середине — связью навсегда нетленной
С возможностью деянье сплетено.

Хоть вам писал Иероним¹ блаженный,
Что ангелы за долгий ряд веков
Сотворены до остальной вселенной,

Но истину на множестве листов
Писцы Святого Духа возвестили,
Как ты поймешь, вникая в смысл их слов,

И разум видит сам, поскольку в силе,
Что движители вряд ли долго так
Без подлинного совершенства были.

Теперь ты знаешь, где, когда и как
Сотворены любви их собора,
И трех желаний жар в тебе иссяк.

До двадцати не сосчитать так скоро,
Как часть бесплотных духов привела
В смятенье то, в чем для стихий опора.

Другая часть, оставшись, начала
Так страстно здесь кружиться, что начатый
Круговорот прервать бы не могла.

¹ Иероним — христ. святой, богослов (IV—V вв.).

Причиною паденья был в проклятой
Гордыне тот, кто пред собой предстал,
Всем гнетом мира отовсюду сжатый.

Сонм, зримый здесь, смиренно признавал
Себя возникшим в Благости бездонной,
Чей свет ему познание даровал.

За это, по заслугам вознесенный
Через озаряющую благодать,
Он преисполнен воли непреклонной.

И ты, не сомневаясь, должен знать,
Что благодать нисходит по заслуге
К любви, раскрытой, чтоб ее принять.

Теперь ты сам об этом мудром круге,
Раз мой урок тобою воспринят,
Немалое домыслишь на досуге.

Но так как вам ученые твердят,
Природу ангелов изображая,
Что те, мол, мыслят, помнят и хотят,

Скажу еще, чтобы тебе прямая
Открылась правда, на земле у вас
Двусмысленным ученьем повитая.

Бесплотные, возрадовавшись раз
Лицу Творца, пред кем без утаенья
Раскрыто всё, с него не сводят глаз;

И так как им не пресекает зренья
Ничто извне, они и не должны
Припоминать отъятые виденья.

У вас же и не спят, а видят сны,
Кто веря, а кто нет — своим рассказам;
В одном — и срама больше, и вины.

Там, на земле, не направляют разум
Одной тропой настолько вас влекут
Страсть к внешности и жажда жить показом.

Всё ж это с меньшим гневом терпят тут,
Чем если слово Божье суесловью
Приносят в жертву или вкривь берут.

Не думают, какую куплен кровью
Его посев и как тому, кто чтит
Его смиренно, воздают любовью.

Для славы каждый что-то норовит
Измыслить, чтобы выдумка блеснула
С амвона, а Евангелие молчит.

Иной гласит, что вспять луна шагнула
В час мук Христовых и сплошную сень
Меж солнцем и землю протянула,—

И лжет, затем что сам затмился день:
Как лег на иудеев сумрак чудный,
Так индов и испанцев скрыла тень.

Нет стольких Лапо во Фьоренце людной
И стольких Биндо¹, сколько басен в год
Иной наскажет пастырь безрассудный;

А стадо глупых с пастбища бредет,
Насытись ветром; ни один не ведал,
Какой тут вред, но это не спасет.

Христос наказа первым верным не дал:
«Идите, суесловьте!», но свое
Ученье правды им он заповедал,

И те, провозглашая лишь ее,
Во имя веры подымали в схватке
Евангелие, как щит и как копье.

Теперь в церквах лишь на остроты падки
Да на ужимки; если громок смех,
То куколь пыжится, и всё в порядке.

¹ *Лапо* и *Биндо* — распространенные имена во Флоренции времен Данте.

А в нем сидит птенец, тайком от всех,
Такой, что чернь, увидев, поняла бы,
Какая власть ей отпускает грех;

Все до того рассудком стали слабы,
Что люди верят всякому вранью,
И на любой посул толпа пришла бы.

Так кормит плут Антоньеву свинью¹
И разных прочих, кто грязней намного,
Платя деньгу поддельную свою.

Но это всё — окольная дорога,
И нам пора на прежний путь опять,
Со временем сообразуясь строго.

Так далеко восходит эта рать
Своим числом, что смертной речи сила
И смертный ум не могут не отстать.

И в самом откровенье Даниила
Число не обозначено точней:
В его тьмах тем оно себя укрыло.

Первоначальный Свет, разлитый в ней,
Воспринят ею столь же разнородно,
Сколь много сочетанных с ним огней.

А так как от познания производно
Влечение, то искони времен
Любовь горит и тлеет в ней несходно.

Суди же, сколь пространно вознесен
Предвечный, если столькие зеркала
Себе он создал, где дробится он,

Единый сам в себе, как изначала».

ПЕСНЬ ТРИДЦАТАЯ

Примерно за шесть тысяч миль пылает
От нас далекий час шестой, и тень
Почти что к плоскости земля склоняет,

¹ У ног св. Антония изображалась свинья, символ побежденного дьявола.

Когда небес, для нас глубинных, сень
Становится такой, что луч напрасный
Часть горних звезд на эту льет ступень;

По мере приближения прекрасной
Служанки солнца, меркнет глубина
От славы к славе, вплоть до самой ясной.

Так празднество, чьи выются пламена,
Объемля Точку, что меня сразила,
Вмещаемым как будто вмещена,

За мигом миг свой яркий свет гасило;
Тогда любовь, как только он погас,
Вновь к Беатриче взор мой обратила.

Когда б весь прежний мой о ней рассказ
Одна хвала, включив, запечатлела,
Ее бы мало было в этот раз.

Я красоту увидел, вне предела
Не только смертных; лишь ее творец,
Я думаю, постиг ее всецело.

Здесь признаю, что я сражен вконец,
Как не бывал сражен своей задачей,
Трагед иль комик, ни один певец;

Как слабый глаз от солнца, не иначе,
Мысль, вспоминая, что за свет сиял
В улыбке той, становится незрячей.

С тех пор как я впервые увидал
Ее лицо здесь на земле, всечасно
За ней я в песнях следом попевал;

Но ныне я старался бы напрасно
Достигнуть пеньем до ее красот,
Как тот, чье мастерство уже не властно.

Такая, что о ней да воспоем
Труба звучней моей, не столь чудесной,
Которая свой труд к концу ведет:

«Из наибольшей области телесной,—
Как бодрый вождь, она сказала вновь,—
Мы вознеслись в чистейший свет небесный,

Умопостижный свет, где всё — любовь,
Любовь к добру, дарящая отраду,
Отраду слаще всех, пьянящих кровь.

Здесь райских войск увидишь ты громаду,
И ту, и эту рать; из них одна
Такой, как в день суда, предстанет взгляду».

Как вспышкой молнии поражена
Способность зренья, так что и к предметам,
Чей блеск сильней, бесчувственна она,—

Так я был осиян ярчайшим светом,
И он столь плотно обволок меня,
Что всё исчезло в озаренье этом.

«Любовь, от века эту твердь храня,
Вот так приветствует, в себя приемля,
И так свечу готовит для огня».

Еще словам коротким этим внемля,
Я понял, что прилив каких-то сил
Меня возносит, надо мной подъемля;

Он новым зреньем взор мой озарил,
Таким, что выдержать могло бы око,
Какой бы яркий пламень ни светил.

И свет предстал мне в образе потока,
Струистый блеск, волшебною весной
Вдоль берегов расцветенный широко.

Живые искры, взвившись над рекой,
Садилась на цветы, кругом порхая,
Как яхонты в оправе золотой;

И, словно хмель в их запахе впивая,
Вновь погружались в глубь чудесных вод;
И чуть одна нырнет, взлетит другая.

«Порыв, который мысль твою влечет
Постигнуть то, что пред тобой предстало,
Мне тем милей, чем больше он растет.

Но надо этих струй испить сначала,
Чтоб столь великой жажды зной утих». —
Так солнце глаз моих, начав, сказало;

И вновь: «Река, топазов огневых
Взлет и паденье, смех травы блаженный —
Лишь смутные предвестья правды их.

Они не по себе несовершенны,
А это твой же собственный порок,
Затем что слабосилен взор твой бранный».

Так к молоку не рвется сосунок
Лицом, когда ему порой случится
Проспать намного свой обычный срок,

Как устремился я, спеша склониться,
Чтоб глаз моих улучшить зеркала,
К воде, дающей в лучшем утвердиться.

Как только влаги этой испила
Каемка век, река, — мне показалось, —
Из протяженной сделалась кругла;

И как лицо, которое скрывалось
Личиною, — чуть ложный вид исчез,
Становится иным, чем представлялось,

Так превратились в большой пир чудес
Цветы и огоньки, и я увидел
Воочью оба воинства небес.

О Божий блеск, в чьей славе я увидел
Всеистинной державы торжество, —
Дай мне сказать, как я его увидел!

Есть горний свет, в котором божество
Является очам того творенья,
Чей мир единый — созерцать его;

Он образует круг, чьи измерения
Настоль огромны, что его обвод
Обвода солнца шире без сравненья.

Его обличье луч ему дает,
Верх озаряя тверди первобежной,
Чья жизнь и мощь начало в нем берет.

И как глядится в воду холм прибрежный,
Как будто чтоб увидеть свой наряд,
Цветами убран и травую нежной,

Так, окружая свет, над рядом ряд,—
А их сверх тысячи,— в нем отразилось
Всё, к высотам обретшее возврат.

Раз в нижний круг такое бы вместилось
Светило, какова же ширина
Всей этой розы, как она раскрылась?

Взор не смущали глубь и высота,
И он вбирал весь этот праздник ясный
В количестве и в качестве сполна.

Там близь и даль давать и брать не властны:
К тому, где Бог сам и один царит,
Природные законы непричастны.

В желть вечной розы, чей цветок раскрыт
И вширь, и ввысь и негой благовонной
Песнь Солнцу вечно вешнему творит,

Я был введен,— как тот, кто смолк, смущенный,—
Моей владычицей, сказавшей: «Вот
Сонм, в белые одежды облеченный!»

Взгляни, как мощно град наш вкруг идет!
Взгляни, как переполнены ступени
И сколь немногих он отныне ждет!

А где, в отличие от других сидений,
Лежит венец, твой привлекая глаз,
Там, раньше, чем ты вступишь в эти сени,

Воссядет дух державного среди вас
Арриго ¹, что, Италию спасая,
Придет на помощь в слишком ранний час.

Так одуряет вас корысть слепая,
Что вы — как новорожденный в беде,
Который чахнет, мамку прочь толкая.

В те дни увидят в Божием суде
Того, кто явный путь и сокровенный
С ним поведет по-разному везде.

Но не потерпит Бог, чтоб сан священный
Носил он долго; так что канет он
Туда, где Симон-волхв казнится, пленный;

И будет вглубь Аланец ² оттеснен».

ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Так белой розой, чей венец раскрылся,
Являлась мне святая рать высот,
С которой агнец кровью обручился;

А та, что, рея, видит и поет
Лучи того, кто дух ее влюбляет
И ей такую мощной быть дает,

Как войско пчел, которое слетает
К цветам и возвращается потом
Туда, где труд их сладость обретает,

Витала низко над большим цветком,
Столь многолистным, и взлетала снова
Туда, где их Любви всевечный дом.

Их лица были из огня живого,
Их крылья — золотые, а наряд
Так бел, что снега не найти такого.

¹ *Арриго* (ок. 1275—1313) — герм. император Генрих VII, предпринявший поход в Италию; в нем Данте видел объединителя Италии и восстановителя всемирной империи.

² *Аланец* — папа Бонифаций VIII (см. с. 87).

Внутри цветка они за рядом ряд
Дарили миром и отрадой пыла,
Которые они на крыльях мчат.

То, что меж высью и цветком парила
Посреди такая густота,
Ни зрению, ни блеску не вредило;

Господня слава всюду разлита
По степени достоинства вселенной,
И от нее не может быть щита.

Весь этот град, спокойный и блаженный,
Полн древнею и новою толпой,
Взирал, любя, к одной мете священной,

Трехликий свет, ты, что одной звездой
Им в очи блещешь, умиротворяя,
Склони свой взор над нашею грозой!

Раз варвары, пришедшие из края,
Где с милым сыном в высях горних стран
Кружит Гелика, день за днем сверкая,

Увидев Рим и как он в блеск убран,
Дивились, созерцая величавый
Над миром вознесенный Латеран,—

То я, из тлена в свет небесной славы,
В мир вечности из времени вступив,
Из стен Фьоренцы в мудрый град и здравый,

Какой смущенья испытал прилив!
Душой меж ним и радостью раздвоен,
Я был охотно глух и молчалив.

И как паломник, сердцем успокоен,
Осматривает свой обетный храм,
Надеясь рассказать, как он устроен,—

Так, в ярком свете дав блуждать очам,
Я озирал ряды ступеней стройных,
То в высоту, то вниз, то по кругам.

Я видел много лиц, любви достойных,
Украшенных улыбкой и лучом,
И обликов почтенных и спокойных.

Когда мой взор, всё обошед кругом,
Воспринял общее строенье Рая,
Внимательней не медля ни на чем,

Я обернулся, волей вновь пылая,
И госпожу мою спросить желал
О том, чего не постигал, взирая.

Мне встретилось не то, что я искал;
И некий старец ¹ в ризе белоснежной
На месте Беатриче мне предстал.

Дышали добротою безмятежной
Взор и лицо, и он так ласков был,
Как только может быть родитель нежный.

Я тотчас: «Где она?» — его спросил;
И он: «К тебе твоим я послан другом,
Чтоб ты свое желанье завершил.

Взглянув на третий раз под верхним кругом,
Ее увидишь ты, еще светлей,
На троне, ей сужденном по заслугам».

Я, не ответив, поднял взоры к ней,
И мне она явилась осененной
Венцом из отражаемых лучей.

От области, громами оглашенной,
Так отдален не будет смертный глаз,
На дно морской пучины погруженный,

Как я от Беатриче был в тот час;
Но это мне не затмевало взгляда,
И лик ее в сквозной среде не гас.

«О госпожа, надежд моих ограда,
Ты, чтобы помощь свыше мне подать,
Оставившая след свой в глубях Ада,

¹ *Старец* — Бернард Клервоский, богослов-мистик (XI в.).

Во всем, что я был призван созерцать,
Твоих щедрот и воли благородной
Я признаю и мощь и благодать.

Меня из рабства на простор свободный
Они по всем дорогам провели,
Где власть твоя могла быть путеводной.

Хранить меня и впредь благоволи,
Дабы мой дух, отныне без порока,
Тебе угодным сбросил тлен земли!»

Так я воззвал; с улыбкой, издалека,
Она ко мне свой обратила взгляд;
И вновь — к сиянью Вечного Истока.

И старец: «Чтоб свершился без преград
Твой путь,— на то и стал с тобой я рядом,
Как мне и просьба и любовь велят,—

Паря глазами, свыкнись с этим садом;
Тогда и луч божественный смелей
Воспримешь ты, к нему взлетая взглядом.

Владычица небес, по ком я всей
Горю душой, нам всячески поможет,
Вняв мне, Бернарду, преданному ей».

Как тот, кто из Кроации, быть может,
Придя узреть нерукотворный лик,
Старинной жаждой умиленья множит

И думает, чуть он пред ним возник:
«Так вот твое подобие какое,
Христе Исусе, Господи владык!» —

Так я взирал на рвение святое
Того, кто, окруженный миром зла,
Жил, созерцая, в неземном покое.

«Сын милости, как эта жизнь светла,
Ты не постигнешь, если к горней сени,—
Так начал он,— не вознесешь чела.

Но если взор твой минет все ступени,
Он в высоте, на троне, обретет
Царицу этих верных ей владений».

Я поднял взгляд; как утром небосвод
В восточной части, озаренной ало,
Светлей, чем в той, где солнце западет,

Так, словно в гору движа из провала
Глаза, я увидел, что часть каймы
Всё остальное светом побеждала.

И как сильнее пламень там, где мы
Ждем дышло, Фаэтону роковое,
А в обе стороны — всё больше тьмы,

Так посредине пламя заревое
Та орифламма ¹ мирная лила,
А по краям уже не столь живое.

И в той средине, распластав крыла,—
Я видел,— сонмы ангелов сияли,
И слава их различною была.

Пока они так пели и играли,
Им улыбалась Красота, дая
Отраду всем, чьи очи к ней взирали.

Будь даже равномошна речь моя
Воображенью,— как она прекрасна,
И смутно молвить не дерзнул бы я.

Бернард, когда он увидел, как властно
Сковал мне взор его палящий пыл,
Свои глаза к ней устремил так страстно,

Что и мои сильней воспламенил.

ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

В свою отраду вникший созерцатель
Повел святую речь, чтоб всё сполна
Мне пояснить, как мудрый толкователь:

¹ *Орифламма* — алая боевая хоругвь фр. королей.

«Ту рану, что Марией сращена,
И нанесла, и растравила ядом
Прекрасная у ног ее жена.

Под ней Рахиль ты обнаружишь взглядом,
Глаза ступенью ниже опустив,
И с ней, как видишь, Беатриче рядом.

Вот Сарра, вот Ревекка, вот Юдифь,
Вот та, чей правнук, обращаясь к Богу,
Пел «Misereere»¹, скорбь греха вкусив.

Так, от порога нисходя к порогу,
Они идут, как я по лепесткам
Цветок перебираю понемногу.

И ниже, от седьмого круга к нам,
Еврейки занимают цепь сидений,
Расчесывая розу пополам.

Согласно с тем, как вера поколений
Взирала ко Христу, они — как вал,
Разъемлющий священные ступени.

Там, где цветок созрел и распластал
Все листья, восседает сонм, который
Пришествия Христова ожидал.

Там, где пустые врублены просторы
В строй полукружий, восседают те,
Чьи на Христе пришедшем были взоры.

Престол царицы в дивной высоте
И все под ним престолы, как преграда,
Их разделяют по прямой черте.

Напротив — Иоанн, вершина ряда,
Всегда святой, пустынный, после мук
Два года пребывавший в недрах Ада;

Раздел здесь вверен цепи Божьих слуг,
Франциску, Бенедикту, Августину
И прочим, донизу, из круга в круг.

¹ «Помилуй меня» (лат.) — покаянный псалом.

Измерь же провидения пучину:
Два взора веры обнимает сад,
И каждый в нем заполнит половину.

И знай, что ниже, чем проходит ряд,
Весь склон по высоте делящий ровно,
Не ради собственных заслуг сидят,

А по чужим, хотя не безусловно;
Здесь — души тех, кто взнесся к небесам,
Не зная, что — похвально, что — греховно.

Ты в этом убедиться можешь сам,
К ним обратив прилежней слух и зренье,
По лицам их и детским голосам.

Но ты молчишь, тая недоуменье;
Однако я расторгну узел пут,
Которыми тебя теснит сомненье.

Простор державы этой — не приют
Случайному, как ни скорбей, ни жажды,
Ни голода ты не увидишь тут;

Затем что всё, здесь зримое, однажды
Установил незыблемый закон,
И точно пригнан к пальцу перстень каждый.

И всякий в этом множестве племен,
Так рано поспешивших в мир нетленный,
Не sine causa ¹ раз но наделен.

Царь, чья страна полна такой блаженной
И сладостной любви, какой никак
Не мог желать и самый дерзновенный,—

Творя сознанья, радостен и благ,
Распределяет милость самовластно;
Мы можем только знать, что это так.

¹ «Без причины» (лат.).

И вам из книг священных это ясно,
Где как пример даны два близнеца ¹,
Еще в утробе живших несогласно.

Раз цвет волос у милости Творца
Многообразен, с ним в соотношенье
Должно быть и сияние венца.

Поэтому на разном возвышенье
Не за дела награда им дана:
Всё их различье — в первом озаренье.

В первоначальнейшие времена
Душа, еще невинная, бывала
Родительскою верой спасена.

Когда времен исполнилось начало,
То мальчиков невинные крыла
Обрезание силой наделяло.

Когда же милость миру снизошла,
То, не крестясь крещением Христовым,
Невинность вверх подняться не могла.

Теперь взгляни на ту, чей лик с Христовым
Всего сходней; в ее заре твой взгляд
Мощь обретет воззреть к лучам Христовым».

И я увидел: дождь таких отрад
Над нею изливала рать святая,
Чьи сонмы в этой высоте парят,

Что ни одно из откровений Рая
Так дивно мне не восхищало взор,
Подобье Бога так полно являя.

И дух любви, низведший этот хор,
Воспев: «Ave, Maria, gratia plena!» ²,—
Свои крыла пред нею распростер,

¹ По библ. легенде, *два близнеца*, Исав и Яков, еще в утробе боролись за первородство.

² «Радуйся, благодатная Мария!» (лат.)

Всё, что гласит святая кантилена,
За ним воспев, еще светлей процвел
Блаженный град, не ведающий тлена.

«Святой отец, о ты, что снизошел
Побыть со мной, покинув присужденный
Тебе от века сладостный престол,

Кто этот ангел, взором погруженный
В глаза царицы, что слетел сюда,
Любовью, как огнем, воспламененный?»

Так, чтоб узнать, я спросил тогда
Того, чей лик Марией украшаем,
Как солнцем предрассветная звезда.

«Насколько дух иль ангел наделяем
Красой и смелостью, он их вместил,—
Мне был ответ.— Того и мы желаем;

Ведь он был тот, кто с пальмой поспешил
К владычице, когда наш груз телесный
Господень сын понестъ благоволил.

Но предприми глазами путь, совместный
С моею речью, обходя со мной
Патрициев империи небесной.

Те два, счастливей, чем любой иной,
К Августе¹ приближенные соседи,—
Как бы два корня розы неземной.

Левей — источник всех земных наследий,
Тот праотец, чей дерзновенный вкус
Оставил людям привкус горькой снеди;

Правее — тот, кем утвержден союз
Христовой церкви, старец, чьей охране
Ключи от розы вверил Иисус.

¹ *Августа* — титул рим. императрицы; здесь: дева Мария (т. к. речь идет об империи небесной). Далее говорится об Адаме, апостоле Петре, апостоле Иоанне, Моисее и Анне, матери девы Марии.

Тот, кто при жизни созерцал заране
Дни тяжкие невесты, чей приход
Гвоздями куплен и копьем страданий,—
Сел рядом с ним; а рядом с первым — тот,
Под чьим вожденьем жил, вкушая манну,
Строптивный, черствый и пустой народ.
Насупротив Петра ты видишь Анну,
Которая глядит в дочерний лик,
Глаз не сводя, хоть и поет «Осанну»;
А против старшины домовладык
Сидит Лючия, что тебя спасала,
Когда, свергаясь, ты челом поник.
Но мчится время сна, и здесь пристало
Поставить точку, как хороший швей,
Кроящий скупое, если ткани мало;
И к Пралюбви возденем взор очей,
Дабы, взирая к ней, ты мог вонзиться,
Насколько можно, в блеск ее лучей.
Но чтобы ты, в надежде углубиться,
Стремя крыла, не отдалился вспять,
Нам надлежит о милости молиться,
Взывая к той, кто милость может дать;
А ты сопутствуй мне своей любовью,
Чтоб от глагола сердцем не отстать».
И, молвив, приступил к молитвословью.

ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

«О дева мать, дочь своего же сына,
Смиренней и возвышенной всего,
Предызбранная промыслом вершина,
В тебе явилось наше естество
Столь благородным, что его творящий
Не пренебрег твореньем стать его.

В твоей утробе стала вновь горящей
Любовь, чьим жаром райский цвет возник,
Раскрывшийся в тиши непреходящей.

Здесь ты для нас — любви полдневный миг;
А в дольном мире, смертных напоая,
Ты — упования живой родник.

Ты так властна, и мощь твоя такая,
Что было бы стремить без крыл полет —
Ждать милости, к тебе не прибегая.

Не только тем, кто просит, подает
Твоя забота помощь и спасенье,
Но просьбы исполняет наперед.

Ты — состраданье, ты — благоволенье,
Ты — всяческая щедрость, ты одна —
Всех совершенств душевных совмещенье!

Он, человек, который ото дна
Вселенной вплоть досюда, часть за частью,
Селенья духов обозрел сполна,

К тебе зовет о наделенье властью
Столь мощною очей его земных,
Чтоб их вознесть к Верховнейшему Счастью.

И я, который ради глаз моих
Так не молил о вспоможенье взгляду,
Взношу мольбы, моля услышать их:

Развей пред ним последнюю преграду
Телесной мглы своей мольбой о нем
И высшую раскрой ему Отраду.

Еще, царица, властная во всем,
Молю, чтоб он с пути благих исканий,
Узрев столь много, не сошел потом.

Смири в нем силу смертных порываний!
Взгляни: вслед Беатриче весь собор,
Со мной прося, сложил в молитве длани!►

Возлюбленный и чтимый Богом взор
Нам показал, к молящему склоненный,
Что милостивым будет приговор;

Затем вознесся в Свет Неомраченный,
Куда нельзя и думать, чтоб летел
Вовеки взор чей-либо сотворенный.

И я, уже предчувствуя предел
Всех вожелений, поневоле, страстно
Предельным ожиданьем пламенел.

Бернард с улыбкой показал безгласно,
Что он меня взглянуть наверх зовет;
Но я уже так сделал самовластно.

Мои глаза, с которых спал налет,
Всё глубже и всё глубже уходили
В высокий свет, который правда льет.

И здесь мои прозренья упредили
Глагол людей; здесь отступает он,
А памяти не снести таких обилий.

Как человек, который видит сон
И после сна хранит его волненье,
А остального самый след сметен,

Таков и я, во мне мое виденье
Чуть теплится, но нега всё жива
И сердцу источает наслажденье;

Так топит снег лучами синева;
Так легкий ветер, листья взвив гурьбою,
Рассеивал Сибиллины слова ¹.

О Вышний Свет, над мыслию земною
Столь вознесенный, памяти моей
Верни хоть малость виденного мною

¹ По рассказу Вергилия, пророчица *Сибилла* писала свои предсказания на листьях и складывала их на полу в своей пещере; когда вход отворялся, ветер рассеивал листья, и смысл слов нельзя было восстановить.

И даруй мне такую мощь речей,
Чтобы хоть искру славы заповедной
Я сохранил для будущих людей!

В моем уме ожив, как отсвет бледный,
И сколько-то в стихах моих звуча,
Понятней будет им твой блеск победный.

Свет был так резок, зренья не мрача,
Что, думаю, меня бы ослепило,
Когда я взор отвел бы от луча.

Меня, я помню, это окрылило,
И я глядел, доколе в вышине
Не вскрылась Нескончаемая Сила.

О щедрый дар, подавший смелость мне
Вонзиться взором в Свет Неизреченный
И созерцанье утолить вполне!

Я видел — в этой глуби сокровенной
Любовь как в книгу некую сплела
То, что разлистано по всей вселенной:

Суть и случайность, связь их и дела,
Всё — слитое столь дивно для сознанья,
Что речь моя как сумерки тускла.

Я самое начало их слиянья,
Должно быть, видел, ибо вновь познал,
Так говоря, огромность ликованья.

Единый миг мне большей бездной стал,
Чем двадцать пять веков — затее смелой,
Когда Нептун тень Арго увидал.

Так разум мой взирал, оцепенелый,
Восхищен, пристален и недвижим
И созерцанием опламенелый.

В том Свете дух становится таким,
Что лишь к нему стремится неизменно,
Не отвращаясь к зрелищам иным;

Затем что всё, что сердцу вожделенно,
Всё благо — в нем, и вне его лучей
Порочно то, что в нем всесовершенно.

Отныне будет речь моя скудней,—
Хоть и немного помню я,— чем слово
Младенца, льнущего к сосцам груди,

Не то, чтоб свыше одного простого
Обличия тот Свет живой вмещал:
Он всё такой, как в каждый миг былого;

Но потому, что взор во мне крепчал,
Единый облик, так как я при этом
Менялся сам, себя во мне менял.

Я увидел, объят Высоким Светом
И в ясную глубинность погружен,
Три равноемких круга, разных цветом.

Один другим, казалось, отражен,
Как бы Ирида от Ириды встала;
А третий — пламень, и от них рожден.

О, если б слово мысль мою вмещало,—
Хоть перед тем, что взор увидел мой,
Мысль такова, что мало молвить: «Мало»!

О Вечный Свет, который лишь собой
Излит и постижим и, постигая,
Постигнутый, лелеет образ свой!

Круговорот, который, возникая,
В тебе сиял, как отраженный свет,—
Когда его я обозрел вдоль края,

Внутри, окрашенные в тот же цвет,
Явил мне как бы наши очертанья;
И взор мой жадно был к нему воздет.

Как геометр, напрягший все старанья,
Чтобы измерить круг, схватить умом
Искомое не может основанья,

Таков был я при новом диве том:
Хотел постичь, как сочетаны были
Лицо и круг в слиянии своем;

Но собственных мне было мало крылий;
И тут в мой разум грянул блеск с высот,
Неся свершенье всех его усилий.

Здесь изнемог высокий духа взлет;
Но страсть и волю мне уже стремилла,
Как если колесу дан ровный ход,

Любовь, что движет солнце и светила.



О г л а в л е н и е

АД	5
ЧИСТИЛИЩЕ	162
РАЙ	321

Литературно-художественное издание

ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ
БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ

Печатается по изданию:
Данте Алигьери. Божественная комедия. —
М.: Московский рабочий, 1986.

Редактор *И. Остапенко*
Художественный редактор *С. Можавва*
Художник *А. Филиппов*
Технический редактор *В. Чувашов*
Корректоры *З. Селюк,*
Г. Борсук, Л. Крамаренко

ИБ № 2271

Сдано в набор 17.11.93. Подписано в печать 24.02.94.
Формат 84×108¹/₃₂. Бум. тип. № 2. Гарнитура литератур-
ная. Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 26,48.
Уч.-изд. л. 23,108. Тираж 100 000 экз. Заказ № 5850. С-7.

Издательство «Пермская книга». 614600, г. Пермь, ГСП,
ул. К. Маркса, 30. АО «Звезда». 614600, г. Пермь,
ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

Алигьери Данте

Д 19 Божественная комедия/Перевод с ит. М. Лозин-
ского. Илл. Боттичелли.— Пермь: Пермская книга,
1994.—479 с.

ISBN 5-7625-0380-1

Знаменитая поэма великого итальянского поэта, оказав-
шая огромное влияние на развитие европейской культуры.

Д $\frac{4703010100-7}{M152(03)-94}$ 94

ББК 84.4 Ит.





ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ
БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

